

АЙБЕК
Собрание сочинений

АШБЕК

Собрание сочинений в пяти томах

Ташкент
Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма
1985

ДИЪВЖ

Собрание сочинений

Том первый

СВЯЩЕННАЯ КРОВЬ

Роман

Ташкент
Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма
1985

Уз
А 37

Редколлегия:

Сарвар Азимов, Джуманияз Джаббаров, Наим Каримов,
Мухаммад Али, Борис Пармузин, Шухрат Ризаев, Зарифа
Саиднасырова, Хамиль Якубов.

Составители:

Саиднасырова З. С., Каримов Н. Ф.

А $\frac{4702570200-40}{М352(04-85)}$ 106-85

Уз

© Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма,
1985г., (оформление, составление, предисловие)

ДУХОВНЫЙ МИР АЙБЕКА

Народный писатель Айбек (1905—1968) — один из выдающихся писателей Узбекистана, значительно обогативший своими произведениями советскую литературу. Он проявил себя в разнообразных художественных жанрах: создал лирические стихотворения, баллады и поэмы, рассказы и очерки, пьесы, повести и романы, написал ряд публицистических и критических статей, научно-исследовательских работ по истории и современной узбекской литературе. Особенно велики его заслуги в области большой прозы. Социально-психологические романы Айбека свидетельствуют о его глубоком и проникновенном знании жизни и внутреннего мира человека и явились осмысленным путем, пройденным узбекским народом в переломные моменты его истории в прошлом и за годы Советской власти.

Айбек (Муса Ташмухамедов) родился 10 января 1905 г. в г. Ташкенте в семье кустаря-ткача. С ранних лет он учился в старометодной школе. После Октябрьской социалистической революции жажда знаний привела молодого Айбека сначала в начальную советскую школу имени «Намуна» (1918 г.), а затем в педагогический техникум имени Навои, который он закончил в 1925 г. Работая педагогом, он поступил на экономическое отделение факультета общественных наук Среднеазиатского государственного университета (САГУ — ныне ТашГУ им. В. И. Ленина).

Однако его потянуло в Россию, он хотел глубже изучить русский язык и русскую культуру и он продолжает свое образование в Институте народного хозяйства им. Плеханова в Ленинграде, а вернувшись оттуда в 1930 г. заканчивает САГУ и преподает здесь политическую экономию. Затем работает в институте языка и литературы (впоследствии получившем имя А. С. Пушкина) в должности зав. отделом и старшего научного сотрудника.

Учеба в Ленинграде, педагогическая, научно-исследовательская и общественная деятельность действовали на формирование мировоззрения Айбека, выработке его взглядов на поэтическое и литературное творчество.

Но писать начал Айбек еще будучи учащимся техникума (первое его стихотворение «Звуки лиры» было опубликовано в литературном сборнике «Армуган» («Дар») в 1922 г. «Школьные годы, — пишет Айбек, спустя почти 40 лет в статье-беседе «История, литература, современность», — подарили мне восточную классику, а в ней главной

моей любовью сделались великий гератец Навои и Физули, удивительный лирик, один из титанов азербайджанской литературы. Они-то и дали мне первые уроки поэтики... К поискам лирической простоты впервые обратили меня страницы новой турецкой поэзии». Затем он подчеркивает роль учебы у русской и мировой литературы: «...начал всерьез заниматься русским, знакомиться с русской и мировой классикой и «открытия»... ринулись на меня ошеломляющим потоком. Среди них, однако, нетрудно выделить самое для меня важное; им — по крайней мере, в мире поэзии — было знакомство с Александром Блоком... Блок навсегда, по сей день, остался моей главной поэтической привязанностью»¹.

В другом месте Айбек указывает на воздействие на его творчество национальной традиции, современной узбекской литературной среды: «Мы все,— говорит Айбек в автобиографии,— начинали с поэзии, имевшей в узбекской литературе многовековую традицию... Революция видоизменила и жанры поэзии, советские поэты ушли от древнеклассического размера «аруз» и стали писать размером фольклорных народных песен — эпоса «бармак», практиковавшимся уже нашим замечательным писателем, основоположником узбекской советской литературы во всех ее жанрах Хамзой Хаким-заде. Бармаком начал писать и я»².

Таким образом, Айбек вступает на литературное поприще в 20-е годы. Бурная эпоха революционной ломки и первых социалистических преобразований наложила специфический отпечаток на всю литературную жизнь 20-х годов. Предельно обострившиеся классовые противоречия нашли выражение и в сложных формах борьбы с буржуазно-националистической идеологией на поэтическом фронте. В один ряд с такими выдающимися мастерами слова старшего поколения, как Хамза Хаким-заде Ниязи, С. Айни, А. Кадыри, Суфизаде и др. встают свежие силы — Бату, Гайрати, Гафур Гулям, Айбек, Хамид Алимджан, Уйгун, Ясен и др. В трудных условиях борьбы с враждебными идейными течениями, в поисках художественного своеобразия, индивидуальных стилей, иногда преодолевая ошибки роста, эта загорная поэтическая молодежь набирает силы и пробивает широкую дорогу к народу, воспекает в поэзии революционные преобразования.

Творческий путь Айбека в эти годы был сложным и противоречивым. В первом сборнике молодого поэта «Чувства», куда вошло 43 стихотворения, наряду со строками, проникнутыми пафосом революции («Чья земля?», «Слово бедняков», «Рабочему», «Волны революции», «Пусть воспрянет молодежь», «Проснись» и др.), иной раз встречаются сентиментальные стихи, не имеющие общественного значения, пропозитивные беспросветной грустью. Но подобные пессимистические настроения, вызванные сложной обстановкой эпохи и противоречивыми литературными влияниями, были у поэта вскоре преодолены. В лучших произведениях ранней лирики молодой поэт воспевал родину и революцию, они волновали и вдохновляли его.

Стихотворение Айбека «Чья земля?» (1925), написанное в связи с земельной реформой в Узбекистане, созвучно произведениям Хамзы Хаким-заде Ниязи «Земельная реформа». В нем поэт выражает ра-

¹ М. Т. Айбек. Полное собрание сочинений в XIX томах (на узбекском языке, т. XIX (на русском языке), Издательство «Фан» Т., 1982, 271—273 стр. Далее указываются в скобках лишь страницы этого тома.

² Журн. «Вопросы литературы», 1959, № 4, стр. 193.

дось по поводу предоставления земли батракам и беднякам-дехканам, призывает их, получивших землю и свободу, к труду:

Эй, дехкани! Работай смелей,
Землю эту засеи и полей.
Собирай урожай и трудись
На земле — она стала твоей.

Перевод С. Виленского

Потрясенный смертью В. И. Ленина, поэт написал стихотворение «Воспоминание», в котором выражает горе народа, лишившегося «великого солнца на горизонте, героя, осветившего тьму». Поэт возмечивает имя и дело вождя, славит партию, которая продолжает дело Ленина и потому будет жить вечно.

Во второй половине 20-х годов поэта властно влекла гражданская и политическая тематика. Его интересуют те социальные вопросы, которые настойчиво выдвигала революционная эпоха. В идейных и творческих поисках Айбека все более укрепляется здоровый, оптимистический взгляд на действительность, он все острее чувствует красоту борьбы за новую жизнь. Это отражено в стихотворениях «Письмо сестре», «За Узбекистан», «На берегах Невы», «Мой голос», «Праздник Октября» и других, вошедших в сборник «Мелодии души» (1929). В стихотворении «Мой голос» (1928) поэт, четко выражая свою позицию, тесно связанную с судьбой народа, заявляет, что он «... ясно понял, где заря и где обманчивый мир, что он будет» в одном ряду, в одном строю» с рабочим классом, с тем, у кого «в руках молот».

Активное участие Айбека в строительстве социалистической культуры и острой идейной борьбе, овладение традициями национальной поэзии, серьезное изучение лучших произведений русской и мировой классики и советской литературы и многие другие факторы социалистической действительности способствовали творческому росту писателя, формированию его коммунистического мировоззрения. Айбек становится зрелым поэтом-лириком. В 30-х годах он вдохновляется сознательным трудом народа, строящего новый мир, вводит в узбекскую поэзию темы творческого труда, овладения знаниями, освобождения женщины, индустриализации страны, коллективизации кишлака и плодотворно работает над созданием образов строителей новой жизни. Чувства и мысли поэта, современника великой эпохи, были выражены в стихах «В поход за науку», «Комсомольская песня», «Пятилетний план», «Женщина-кондуктор», «Комсомолке-работнице», «Днепрострой», вошедших в сборник «Светоч» (1932), и в последующих поэтических произведениях Айбека, опубликованных на страницах периодической печати.

В стихах начала и середины 30-х годов Айбек придает особое значение раскрытию социалистической природы того нового, что появилось в жизни и характере узбекского народа, изображает красоту свободного труда, умножившего счастье и благосостояние народа. В ростках нового, побеждающего старое, отжившее, он находит высокий смысл, величие и вдохновение.

Однако личность поэта в его лирике не растворяется во времени, не теряет свою самобытность. Он только отбирает в жизненном опыте, в своем духовном мире наиболее существенное, общезначимое, народное. Выявляя свое поэтическое «я», Айбек тем самым выражает и все то, что обогатило его личность, говорит не только о себе, но и о времени, преобразовании жизни советскими людьми.

За многолетний период формирования и развития лирики Айбека в ней выявилось и сложилось множество разнообразных форм воссоздания лирического характера. В ней обобщенное лирическое «я» воплощается в конкретном образе нового человека (явления или вещи мира), в соотношении «я» и эпохи.

Лирически окрашенные, глубоко эмоциональные стихи Айбека характеризуются широтой тематического диапазона, богатством образов, полнотой мысли и чувства, художественным лаконизмом, полифоническим звучанием ритмической инструментовки. В изображении поэта — Узбекистан:

Это такая страна — в ней золото всюду цветет.
Это такая страна — в ней зимою щебет весны.
Это такая страна — где даль бесконечно ясна.
Бьется энергия в ней, пробудившись от вечного сна.
К счастью преграду она силой своей разобьет:
Спячки извечной змея раздавлена навсегда.

Спину свою распрямил многострадальный народ.
Нынче простой человек гордые песни поет.
Новой истории солнице над Узбекистаном встает.
Счастье и радость звучат в песне великой труда.

(Перевод А. Ромова)

В стихотворениях Айбека образы солнца и весны часто сопутствуют лирическому характеру. Сияние солнца и весны поэт хранит в своем сердце. Он проклинает тех, кто в прошлом лишил народ солнца, воспеваает стремление лучших сынов народа к свету; все достижения, все победы советского человека в большинстве случаев ассоциируются в поэзии Айбека с образами весны и солнца. Самые дорогие воспоминания, самые священные мечты связываются в лирике Айбека с образом солнца. Поэт возвеличивает партию, которая подарила народу «весну страны — солнце», «подвесив к небесам новые солнца, осветила ночи мира». Он видит «солнце в глазах» счастливого советского человека.

Каждый раз обращаясь к образу солнца, поэт находит в нем новые чудесные качества, так же, как постоянно находит он новые качества, новые светлые стороны в революции и жизни народа. В стихотворении, посвященном двадцатой годовщине Великой Октябрьской революции, поэт воспеваает солнце, которое уже двадцать лет сияет в глазах советского человека, и будет сиять вечно. Солнце никогда не померкнет, как не померкнут идеи Коммунистической партии и великого Ленина — такова основная мысль стихотворения.

Говоря о деятельности Ленина, Айбек снова обращается к образу солнца и весны. Стихотворение «В мавзолее Ленина» начинается строками:

Не иссякнет ключ тот вдохновенный,
В нем истоки жизнь сама берет.
Наше солнце — дух его нетленный —
Двигет он историю вперед.
Ленин —

...гремел, как первый гром весенний,—
Молодела старая земля.

(Перевод О. Ивинской)

Любовь великого вождя к трудящимся поэт сравнивает с «благодатным солнцем и улыбкой прекрасной весны», Ленин, по выражению поэта, «великое солнце жизни», «свет его зажигает ночь».

Созданные Айбеком яркие, жизненные образы пропихнуты духом времени, пафосом социалистического созидания, верой в победу коммунистических идеалов. Эти образы поэт освещает «солнцем, что в нашей груди».

Айбек создает стихотворные пейзажи, зарисовки и любовную лирику. В 1936 г. в Чингане, где он переводит «Евгения Онегина», поэт пишет стихи, воссоздающие чудесную природу тех мест. Картины природы, нарисованные поэтом, полны внутренней динамики. Мы всегда видим в них присутствие автора-жизнелюба, оптимиста, человека нового мира, тонко чувствующего его красоту. Природа предстает перед поэтом очищенной от хищников-хозяев. Айбек идет навстречу вечно создающей и обновляющейся жизни, и встреча эта волнует его. При виде «двенадцати родников» в его груди «сразу бьют фонтаном двенадцать стихов, грудь сразу наполняется двенадцатью вснами».

Рисую картины родной природы, как бы пропущенной через призму восприятия лирического героя, поэт выражает красоту духовного мира советского человека — его любовь и ненависть, горе и радость, вдохновение и восторг.

В стихотворениях, созданных в 30-х годах, Айбек воспел богатство и красоту духовного мира советского человека, строящего социализм, неодолимую силу идей социалистического гуманизма.

В годы Великой Отечественной войны советского народа Айбек, вооруженный отточенным поэтическим оружием, создает лирические произведения, исполненные суровой правды и мужества, воплотившие в себе стойкий характер лирического героя поэзии. В стихотворениях «Смерть врагу», «К йнгитам» и во многих других Айбек с большой силой выразил негибаемую волю советских людей, их непоколебимую веру в победу.

Выступая в первый день войны со стихотворением «Смерть врагу», поэт с гневом говорит о своей ненависти к фашистам — «кроважидным хищникам, черным гадюкам», выражает свою веру в могущество советского народа — «огромного и великого, как необъятная гора», в несокрушимую силу и мощь Советской Армии. В стихотворении «К йнгитам» автор, используя образы народно-поэтического творчества, призывает бойцов вдохновляться героическими подвигами отцов и прадедов, беспощадно расправившихся с жестокими захватчиками.

Тема Родины разрабатывается в эти годы Айбеком глубже и шире, чем в предшествующий период. Любовь к отчизне тесно связана у поэта с любовью к родной истории, со славными традициями его народа.

Вместе с «перестройкой» лирической поэзии Айбека на военный лад многообразнее и богаче становятся ее формы. В лирике Айбека наряду со стихами публицистического звучания сохраняются душевно-интимные интонации, в ней звучат мотивы любви и нежности солдата к семье, возлюбленной, родному краю («Яблоко покраснело полосами», «Родные остались, передавая приветствия», «Твои глаза я

поцеловал...», «Жду с нетерпением, сердце мое всегда с тобой», «Ушел любимый, остались слезы моих очей», «Мечты бойца» и др.).

После войны, в период мирного строительства он создает ряд ярких стихотворений на любовные и гражданские темы. И борьба за мир, и укрепление дружбы между народами, и трудовые победы советских людей, и их нитимные чувства — все оставляет горячий след на страницах его лирических произведений.

В стихотворении «Поджигатели войны» любовь и ненависть поэта призваны защищать мир и подлинный гуманизм. Вдохновенно пишет поэт о жизни, о силе и мощи социализма, о негибимой воле народов защищать мир и справедливость во всем мире. Чувство исторической перспективы, страстный оптимизм пронизывают его стихотворения.

Поэт умеет открыть и показать людям новые, ранее не замеченные черты неисчерпаемой красоты природы и человека. Природа у Айбека не только несет внешние приметы современности, но и выражает внутреннее поступательное развитие, отражает смысл и значение созидательного труда народа.

В стихотворениях о В. И. Ленине («В мавзолее Ленина», «В сердце народа»), родине («О, Родина Ленина», «По ленинскому пути»), партии («Сердце полно любовью к тебе, моя партия»), дружбе («Дружба наша вечна») поэт воплощает свое стремление глубже исследовать современность, проникнуть в нее поэтическим взором. В этих стихах бьется напряженная мысль, четко выражающая партийную позицию автора, в них гармонически сочетаются рациональное и эмоциональное начала.

Одновременно рассказывая «о времени и о себе», Айбек с большим мастерством сочетает нитимно-лирическое содержание с гражданскими, общенародными мотивами.

Лиризм настойчиво проникает в миниатюрные поэмы Айбека. В этом отношении характерны поэмы малой формы «Наступят дни светлые...» (1933), «Избавление» (1935), «Беседа с двадцатилетним» (1937), «История одного счастья» (1937), «Лагерь переселенцев» (1952, из «Пакистанской тетради»). В них нет сквозной коллизии, сюжетные связи выражаются через отношение героя-автора, от имени которого воспринимается и «познается» движение времени и смысл событий. Эпизоды из истории страны и народа преподносятся в этих миниатюрных поэмах не в эпически-повествовательном плане, а пропускаясь через авторское восприятие, передаются в лирических монологах. Такой лиризм, отражая и эмоционально «осваивая» явления объективной действительности, содействует воссозданию обобщенного образа социальной жизни в историческом аспекте и в перспективе, целостному показу революционных действий, героизма, стремлений народных масс, классов, коллектива и отдельных личностей (в «Истории одного счастья»).

Баллады Айбека передают не только мысли и чувства поэта, в них есть и сюжет, т. е. изображение события, вызвавшего переживания поэта. Обычно отдельный жизненный эпизод героического, возвышенного характера в балладах Айбека получает яркое воплощение в индивидуализированных образах. Таковы, например, его баллады «Лирическая прогулка», «Тансики», «Храбрец из храбрецов», «Тетя Айша», «Там, где цветет джида», «Правдонскателн»¹, «Скрипач» и др., написанные в разное время. В балладах «Тетя Айша» и «Там, где цветет

¹ Кроме этой баллады, у Айбека имеется поэма того же названия, но другого поэтического содержания.

ждида...» поэт изображает жизнь в момент наивысшего напряжения, показывает героические, необычайные, благородные черты характера; возвышенно-романтическая окраска повествования цементируется сильной лирической струей.

Органическая связь творчества Айбека с жизнью народа и накопленный поэтический опыт уже в начале 30-х годов обусловили появление его эпических поэм. Он все чаще и смелее пробует свои силы в трудной и сложной эпической форме.

Создание характера нового человека было одной из главнейших задач узбекской литературы тех лет. С успехами строительства социализма все большее значение приобретали вопросы становления новой социалистической психологии, морали, борьбы с пережитками старости в сознании людей. Айбек откликнулся на это требование времени своей поэмой «Дильбар — дочь эпохи» (1932). Это было первое его поэтическое произведение, охватывающее масштабную картину жизни, многогеройное, с единым, последовательно развертывающимся сюжетом. Это была удачная попытка создания образа положительного героя на современном материале. Выработывая навыки реалистического показа жизни в эпической форме, поэт изображает все более победоносное становление положительного (социалистического) начала в действительности Узбекистана середины 20-х годов.

В дальнейшем Айбек создает поэмы, действие которых относится к недавнему прошлому и в которых поэт рассказывает о протесте народа против своих угнетателей («Мечь», 1932; «Бахтыгуль и Сагындык», 1933). Поэма Айбека «О кузнеце Джуре» (1933) — это поэма о трудящихся отстаивавших в битвах завоевания Октябрьской социалистической революции.

Эти поэмы сыграли важную роль в формировании творческого метода Айбека. В результате длительного творческого освоения прогрессивных традиций узбекской поэзии (Навои), устно-поэтического народного творчества, а также русской литературы (учебы у Пушкина и М. Горького) в поэзии Айбека зазвучали революционно-романтические мотивы. И здесь проблема положительного героя остается для поэта основной.

В поэмах «Мечь», «Бахтыгуль и Сагындык» воспевается беспредельная, могучая любовь. Но эта любовь оборачивается трагедией, что неизбежно в обществе, разделенном на богатых и бедных.

Столкновения героев с окружающей средой придали повествованию необходимую напряженность, остроту. Рассказ об искренней, чистой и верной любви очень органично сочетается в поэмах с лирическим и публицистическим анализом происходящих событий, с философской глубиной и значительностью мыслей. Форма «объективного» повествования чередуется с живым диалогом, авторские отступления — с внутренними монологами персонажей, философские раздумья — с бытовыми описаниями.

Мастерски создавая живые образы героев, раскрывая их внутренний мир, поэт не изменяет исторической правде, убедительно показывает ограниченность борьбы за свободу в условиях того времени. Борьба героев против баев-эксплуататоров еще не организована, политически не осмыслена; герои поэм выступают лишь как мстители богачам за свои кровные обиды.

Айбек, стремясь овладеть методом социалистического реализма, долго вынашивал образ активного положительного героя. Такого героя он ищет среди людей трудового народа, участвовавших в революционных боях. Результатом этих исканий и явилась поэма «О кузнеце Джуре», которая была заметным сдвигом в творчестве Айбека

как реалиста. В этой поэме в образах кузнеца Джуры и рабочего Турсуна отражена героическая борьба узбекских трудящихся, отстаивавших в битвах с белогвардейцами и басмачами завоевания Октябрьской революции.

Романтизация образа Джуры на реалистической основе позволила поэту впечатляюще изобразить не только поступки, поведение, мысли и чувства героя, но и те обстоятельства, в которых ему пришлось действовать. Образ Джуры раскрыт в «потоке» национального и социального пробуждения трудового народа. В результате образ Джуры получился вполне правдоподобным и убедительным, хотя ему и присущи черты революционной романтики.

Эти особенности своего реалистического метода Айбек развил и углубил в поэмах из жизни разных народов и времен — «Испанской девушке» (1936) и «Навои» (1937).

В поэме «Испанская девушка» в образе отважной Эмили Айбек попытался отобразить героическую борьбу испанского народа против фашистской чумы. Здесь прозвучала вера в бессмертие подвига, в конечную победу демократии, правды и справедливости.

В поэме «Навои» гениальный поэт и государственный деятель показан как сторонник единства страны, ревностный защитник народа, враг тиранов и духовенства. Реалистически обрисованный образ Навои овеян высокой романтикой. Стремясь внутренней контрастной структурой конфликта раскрыть эволюцию в психологии поэта-мыслителя, автор поэмы вникает в духовный строй образа, в его психологические и социальные качества и вместе с тем дает возможность узнать жизненные обстоятельства, тревоги и противоречия времени, способствовавшие формированию героя, почувствовать те неповторимые черты, по которым определяется индивидуальность Навои. Именно это психологическое раскрытие судьбы, характера и творчества героя в исторической перспективе — главная отличительная черта поэмы «Навои».

Все более глубоко овладевая методом реалистического отображения жизни, Айбек в 1947 г. написал поэму «Девушки». В ней художник опоэтизировал героический труд узбекских женщин, которые в тяжелые годы Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в общенародное дело разгрома врага. Поэт нарисовал образы пяти сестер — Назмихан, Алтыной, Дильбар, Айджамаль и Гульшан, которые в годы войны самоотверженной борьбой за высокий урожай хлопка стремились приблизить победу. В подвигах этих сильных духом волевых узбечек поэт отобразил высокий патриотизм, проявленный женщинами в годы войны. Эстетический идеал поэта воплощен в образах основных персонажей поэмы. Но поэта больше интересует история характеров молодых героинь. Поэтому автор приводит довоенные биографии действующих лиц, стремится как можно глубже раскрыть их внутренний мир, показать процесс формирования личности в не совсем обычной трудовой обстановке, требующей от человека максимального напряжения физических и духовных сил.

В поэме «Девушки» Айбек создает чудесные картины яркой и своеобразной природы Узбекистана, помогающие глубже раскрыть тончайшие национальные черты характера персонажей поэмы, их любовь к родной стране, к колхозу, к своему делу. Играя активную роль в поэме, пейзаж стал действенным фактором развития сюжета, раскрытия переживаний девушек.

Памяти Хамзы Хаким-заде Ниязи, первого узбекского советского поэта, драматурга и крупного общественного деятеля, посвящена поэма «Хамза». Основой ее сюжетной линии служат события в Шахи-

мардане — антиклерикальная деятельность Хамзы и его трагическая смерть. Реалистический анализ политической обстановки сочетается в поэме с глубокой поэтической взволнованностью. В поэме много лирических отступлений, где речь идет о мыслях, переживаниях и воспоминаниях центрального героя. Лиризм поэмы усиливается также и тем, что автор как бы сам переживает с героем все трагические события, непосредственно выражая свое отношение к происходящему. Образ Хамзы, бесстрашного борца за народное дело, показан с большой теплотой. Одновременно в нем воплощено народно-героическое начало. Отдавая все свои силы, знания и энергию делу построения социализма, Хамза ясно видит прекрасное будущее народа и бесстрашно вступает в борьбу с силами мрака, стремящимися помешать победному наступлению нового.

Айбек широко известен и как литературовед и критик. Он глубоко знал историю узбекской и таджикской, русской классической, восточной и западной литератур. Его литературно-критические работы и ученые труды имели не только самостоятельное научное значение, но и служили фундаментальным подспорьем для создания таких художественных произведений, особенно прозаических полотен, как «Священная кровь», «Навон» и др. Автором написано около полусотни научных статей и трудов по литературоведению и критике, по истории и современной узбекской литературе. Среди них особое место занимают работы о жизни и творчестве Алишера Навои и о первом узбекском романисте-прозаике Абдулле Кадыри.

Исследования Айбека о Навои («Литературное наследие Навои», «Жизненный и творческий путь великого мыслителя», «Великий узбекский поэт Алишер Навои», «Тема и мотивы любви в газелях Навои», «Философская лирика Навои», «Образы «Пятерницы» — пять поэм Навои», «К вопросу мировоззрения Навои», «Мир идей Навои»¹ и др.) отличаются богатством и достоверностью фактического исторического материала, глубиной мысли, тонким анализом природы художественных образов и мастерства поэта.

Много сил отдал Айбек изучению классического наследия. Большую ценность представляет его работа «Об историческом развитии узбекской литературы», предпосланная как предисловие к «Антологии узбекской поэзии» на узбекском и русском языках. В ней в сжатом виде характеризуется исторический путь развития узбекской поэзии и устного народного творчества с древнейших времен до пятидесятих годов нашего века.

К литературным явлениям Айбек подходит конкретно-исторически. В статье «Социальные типы в произведениях Мукими» он пишет, что ценность творчества этого большого поэта-сатирика в его тесной связи с жизнью народа, в реалистичности и острой социальной направленности творчества. Одновременно он вскрывает ограниченность мировоззрения художника и исторически обусловленные причины, из-за которых Мукими не мог найти и указать путь к избавлению от гнета баев, духовенства и чиновников.

В литературно-критических исследованиях на материале узбекской советской литературы Айбек рассматривает важные вопросы социалистического реализма.)

Идейность литературы он видит в ее неразрывной связи с современностью, в высокохудожественном отображении жизни народа, его мыслей и чувств. Ценность художественного творчества Хамида Алмиджана, Уйгуна, Хасана Пулата, Шейхзаде и других поэтов он видит

¹ Эта работа написана совместно с проф. А. Дейчем.

в том, что они реалистически убедительно отображают преданность народа делу коммунизма, героизм, проявленный им в построении социалистического общества. В статьях Айбек обращал внимание писателей на важные вопросы художественного мастерства, беспощадно боролся с проявлениями вульгарного социологизма в критике. Отстаивая чистоту языка, Айбек призывал писателей широко использовать богатства живой народной речи.

Анализируя произведение, Айбек особое значение придавал правдивости художественного образа, органическому единству высокой идейности, партийности произведения с реалистическим художественным мастерством. Изучая творчество Хамзы Хаким-заде Ниязи, Абдуллы Кадыри, Хамида Алимджана и других талантливых узбекских литераторов, он всегда стремился определить индивидуальные особенности их творчества.

Литературоведческие работы Айбека оказали заметное влияние не только на рост научно-критической мысли в республике, но и на его художественное творчество, связав воедино художественную и научную деятельность писателя.

* * *

Пройдя большой жизненный и творческий путь, в конце 30-х годов Айбек принимается за создание крупных прозаических полотен. В 1940, г. вышел из печати его роман «Священная кровь», ярко отразивший события в Узбекистане, происшедшие до Октябрьской революции, национально-освободительную борьбу узбекского народа против баев и царского самодержавия.

К этому времени Айбек во многом творчески сумел усвоить основные традиции не только национального наследия классической литературы и устно-поэтического народного творчества, но и стал вникать в «тайны» создания реалистического жанра романа, учась у великих художников русской и западно-европейской литературы, новаторски обогатив их «своим» личным творческим и жизненным опытом. «Я хотел рассказать в нем о жизни узбекского народа в предреволюционный период, о нарастающем в народе стремлении бороться за свои права, вылившемся в знаменитом восстании 1916 г. Хотя в период, к которому относится действие романа, я был еще почти ребенком, теперь и я имел уже достаточный жизненный опыт, чтобы сказать: я это сам видел. Я видел быт народа, я видел темные, душные жилища бедняков и простонародья, комфортабельные дома богачей, расположенные в садах с прохладными водоемами, окруженные высокими дувалами... Уже тогда понял многие стороны социальных отношений изображенных впоследствии в моем романе. Я видел в моих героях, людях из народа, будущих революционных борцов, строителей советского общества» («Автобиография»; там же, с. 196).

Из цитированного видно, что писатель Айбек в романе «Священная кровь» в изображении предреволюционной жизни узбекского народа преимущественно опирается на свой творческий и жизненный опыт, на «виденное», показывает ее в поступательном историческом и революционном развитии; раскрывает динамику движения, столкновения и противодействия трудовых людей с имущими классами — баями и их защитниками; выявляет особенности типических обстоятельств в сложной диалектической взаимосвязи с духовно-интеллектуальными и нравственно-психологическими особенностями характеров.

Новизна романа проявляется также и в художественном освещении реалистического романного мышления в панорамно-ярких эпических картинах.

А. В. Луначарский еще в конце 20-х годов, затрагивая художественные открытия М. Горького в жанре романа писал «...он хочет быть художником показывающим. Но он является представителем художественного показа, в глубочайшем смысле — идейного... Он хочет потрясти своих слушателей и читателей вестью о жизни как она есть, какой она могла быть и какой она должна быть... Горький хочет дать не просто образ жизни — он хочет истолковать ее»¹.

Роману Айбека также характерен «художественный показ в глубочайшем смысле — идейный». Писатель не только очерчивает развернутую картину взаимосвязи и «единства мира и человека», т. е. «образ жизни», но и «истолковывает» ее. Огромным творческим напряжением, обнажая сущность и правду действительности, он «снимает» противостояния «смысла» и «изображения», «вживляет» идеи в образы в их противоборствующем единстве. «Выразительные» (т. е. смысловые) и «изобразительные» функции образа то противостоят, то неразрывно сливаясь, предстают не только в живых картинах взаимосвязи человека и общества в разветвленной системе ее частных и общих аспектов, но и дают их глубинные идейно-эстетические, нравственно-человечные оценки.

В этом развернутом «образе жизни» писатель обнажал непримиримые противоречия между трудящимися и эксплуататорами, вскрыл социальные корни классовой борьбы. Автор показывает, как скопление материальных богатств на одном полюсе порождает нищету и бесправие на другом, неизбежно будит сознание народа, обостряет классовую борьбу и, в конце концов, приводит к национально-освободительной борьбе, к восстанию народа против угнетателей. Изображение исторической роли трудящегося народа в национально-освободительном движении находит свое выражение прежде всего в развитии образа батрака Юлчи.

В образе Юлчи Айбек выразил основной пафос романа, на основе реальных исторических событий он глубоко и правдиво отобразил пробуждение классового и национального самосознания трудящихся масс узбекского народа. Этот процесс воплощен в образах Юлчи, Ураза, Каратая, Шакасима, Шакир-ата, а также в образе народа, гневно восстающего против баев. Как показывает автор, народ, закалившийся в борьбе, был готов к восприятию идей большевиков, к свершению социалистической революции.

Айбек создал яркие образы участников восстания: безземельных бедняков-дехан, батраков, мелких ремесленников.

Запоминается в романе образ Каратая, закалившегося в тяжелом труде, рыцарски честного, сохранившего, «несмотря на годы, в сердце огонь молодости и отваги». Каратай становится единомышленником Юлчи, самоотверженно помогает ему и готов, если понадобится, отдать за него жизнь. В образе Каратая писатель воплотил искренность, непосредственность и чистоту народной души.

Многообразны характеры мятежной бедноты: вот старый ремесленник Шакир-ата, а вот батрак Шакасим, по горло хлебнувший всяческих несчастий, и мужественный батрак Ораз, присоединившийся к восставшим. Все эти и другие образы людей из народа — не только гневное обвинение несправедливому общественному строю, но также

¹ Луначарский А. В. Собр. соч. в 8 томах, т. 2, М., 1964, с. 129.

свидетельство могучего духа народа, его неиссякаемого оптимизма и человечности.

В романе «Священная кровь» Айбек с любовью показывает высокие духовные качества представителей народа, с гневом и отвращением раскрывает низменное существование, духовное убожество и гнусный облик баев-эксплуататоров. В остром столкновении реакционные силы терпят поражение, будущее в изображении писателя принадлежит росткам нового, передового — революционному народу.

Создавая роман «Священная кровь», автор немало почерпнул для себя из творческого опыта передовой узбекской, русской и мировой литературы. Художественная ценность романа прежде всего выразилась в правдивом отображении жизни народа как творца истории.

В узбекской советской литературе роман «Священная кровь» явился крупным достижением социалистического реализма. Писатель, изображая типические характеры в типических обстоятельствах, предвосхищает их грядущее развитие. Художественно осваивая исторические факты, вызвавшие восстание, через характеры людей, автор запечатлевает в образах положительных героев их будущий рост. Юлчи — не только продукт определенных социальных условий, он сам оказывает преобразующее влияние. Он активный борец за торжество новых взаимоотношений, основанных на принципах справедливости, на принципах счастья народа. Для романа характерно изображение событий в их революционном развитии, освещение жизни с позиций коммунистической партийности. Утверждение неизбежности победы трудящегося народа определяет идейную и эстетическую направленность произведения.

Вслед за романом «Священная кровь» Айбек принялся за создание подлинно исторического романа «Навои». Здесь уместно говорить о принципах историзма в художественной литературе, укрепившихся в литературе с возникновением реалистического художественного метода и принявших осознанное осмысление исторического процесса в литературе социалистического реализма. Историзм проявляется в романе многообразно — прежде всего в изображении человека и социально-исторических обстоятельств его бытия. Принцип этот присущ историческим произведениям, а также произведениям о современности. Но в том и в другом случае становление историзма не отделяемо от художественного осмысления современности. В этом смысле, говорит Айбек, литература всегда история. История всегда литература... Что же главное в историческом романе? То же, что и во всяком другом: человек. Народ творец истории» (XIX т., 278). Далее он пишет: «Нужно не просто знать другую эпоху, то есть представлять, чем она отличается от нашей». Необходимо еще понять ее — то есть увидеть, что ее с нашей роднит... Историческая правда и художественная правда не могут жить в романе друг без друга» (270, 271 сс.).

Айбек и сам в романах «Священная кровь», «Великий путь» и «Навои», в их образах и образной ткани сумел воплотить историческую и художественную правду на основе осознанного принципа историзма — одного из основополагающих принципов социалистического реализма наряду с партийностью и народностью.

До создания романа «Навои» (он издан в 1944 г.) писатель очень долго трудился над первоисточниками (историческими, художественными, летописями), провел большую научно-исследовательскую работу по изучению эпохи Навои, а также жизни и творчества великого поэта.

И в этом романе новаторство писателя выразилось в том, что он,

обратившись к далекой исторической эпохе, увидел ее глазами нашего современника, в темном царстве тимуридов, раздираемом междоусобными войнами, нашел свет, излучаемый гением народа.

Автор рисует исторические лица в тесной взаимосвязи с духом и содержанием этой эпохи. В романе даны все социальные прослойки, история раскрыта в ее развитии и противоречиях. Жизнь народа, его обычаи и нравы, национальный характер, роскошная праздная жизнь двора, формы феодального угнетения XV в., междоусобные кровавые войны, народные мятежи, жизнь образованной прослойки, гарема, темницы, дворцовые интриги, пиры — изображение всего этого помогает художнику показать внутренние закономерности исторического развития. В романе жизнь и деятельность Навои изображается в органической связи с историческим процессом. Мировоззрение и гуманизм Навои, его борьба и стремления, личная жизнь и духовный мир определяются передовыми тенденциями эпохи. Образ Навои раскрывается как духовное выражение национального самосознания в решающий момент истории государства, в органической связи с современностью. Именно в «биении пульса жизни» народа находит свое выражение современный взгляд автора романа на далекое прошлое. «...Искусство, — писал В. Г. Белинский, — как выражение сознания того или иного народа и целого человечества в известную эпоху, есть как бы биение пульса жизни, а потому и развитие и история искусства тесно связаны с развитием и историей народа или человечества»¹.

Айбек в судьбе главного героя своего романа обобщает историю и судьбу народа. В характере Навои, в его деятельности, думах и мечтах отобразена созидательная сила народа, героизм и мудрость народных масс. Навои, как изображает его Айбек, в условиях общего кризиса и распада государства тимуридов ищет пути сохранения единства государства. Свою мечту, свой идеал он считает возможным осуществить через создание «справедливого государства» во главе с просвещенным падишахом, поэтому он отстаивает своей политической деятельностью и творчеством необходимость централизации государства. Он пытается предотвратить междоусобные войны, которые разоряли народ, опустошали страну, стремится благоустроить город, защищает людей науки и искусства. Он борется за единство страны и народа, стремится примирить в интересах этого единства враждующие партии двора, ради этой цели проповедует высокие идеалы дружбы и гуманизма.

Гуманист Навои искренне верит в то, что просвещение и разум способны покончить с невежеством и гнетом. Он говорит: «...где бы мы ни находились, мы должны сохранить для родины священный огонь разума. Мы подобны кузнецу. Расплавив цепи тьмы в горниле разума, мы создадим из них нужные для жизни орудия». По мысли Навои, стоящие во главе государства просвещенные люди способны преодолеть сопротивление, разбить врагов справедливости и правды, науки и просвещения, способны привести человечество к светлой и счастливой жизни. «Если люди, облеченные властью, — говорит Навои, — сделают своим девизом разум и справедливость, станут заботиться о народе, то ржавчину жизни можно превратить в золото. Но гуманизм Навои оказался несовместимым с жестокой действительностью той эпохи. Великий поэт до конца жизни остался верен своим идеалам, хотя и видел, что в данных исторических условиях они неосуществимы ибо, как он убедился, противоречия между его стремления-

¹ В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах, т. 11, М., ОГИЗ—ГИХЛ, 1948, стр. 226.

ми и социальными порядками государства были непримиримы. Поэтому в борьбе с реакцией Навои стремится претворить в жизнь хотя бы «мелкие мероприятия».

Навои мечтал о приспособлении порядков феодального государства к интересам народа. По мысли Навои, «в отношениях с народом, следует опираться не на меч, а на справедливость, необходимо избавить народ от насилия и притеснения... Если страна и народ счастливы, — аласть в безопасности». Стремясь приспособить аппарат феодального государства к служению интересам народа, поэт трудится без устали, отдает этому делу всю свою энергию, ум и талант. Во всей своей деятельности он опирается на народ, которому верит безгранично. Он говорит: «Народ — это широкое море: если оно выйдет из берегов, то не пощадит ни царского дворца, ни хижины бедняка. Это огонь: от одной его искры стогит и трава, и самое небо».

Таким образом, Айбек в романе «Навои» с большой исторической правдивостью и мастерством нарисовал широкую картину общественной жизни узбекского народа в XV в. В романе важные исторические факты и события послужили не только фоном, но и основой художественного изображения.

Написав своего «Навои», Айбек упрочил и умножил достижения узбекского исторического романа, вывел национальный роман на широкую дорогу социалистического реализма. Приобретая в процессе создания двух исторических романов большой творческий опыт, Айбек задумал роман на современную тему. При этом писатель выдвигает на первый план изображение героя в сфере послевоенного созидательного труда во имя высокой цели — строительства социализма. Таким является главный герой романа Айбека «Ветер золотой долины» (впервые изданного в 1950 г.) солдат Уктам Насыров, возвратившийся после долгих лет пребывания на фронте в родной кишлак в Ферганской долине. Роман начинается с описания картины природы, знакомой герою с детства. Только что сойдя с поезда, он шагает к родному кишлаку, где его ждет радостная встреча с родственниками, друзьями, земляками.

Раскрывая характер Уктама, автор создает галерею индивидуализированных образов тружеников и тружениц узбекского колхозного кишлака. Особенно выделяется среди них тетя Хадича: она первая сняла паранджу в своем кишлаке и первая же вступила в колхоз; Джура — сын погибшего на фронте кузнеца; уважаемый всеми мастер хлопкороб и председатель колхоза Мирхайдарата; звеньевой Сабир Эрматов, храбрый воин в недавнем прошлом, а теперь усердный труженик; прославленный хлопкороб — звеньевой Саксан-ата, смело соревнующийся с молодыми хлопкоробами; возглавляемые звеньевой Таисик девушки, вызывающие своим самоотверженным трудом всеобщее восхищение.

Этих замечательных людей соединяет общность цели, душевное благородство, упорная борьба за подъем общественного хозяйства и несокрушимый оптимизм; их вдохновляют в труде великие идеи Коммунистической партии.

В романе выведены также люди, которые все еще несут в себе отвратительные пережитки прошлого. Среди них пробравшийся в колхоз и ставший председателем совета урожайности расхититель общественного добра Каримкул, его болтливая жена и ленивая невестка; неизвестно откуда пришедший в кишлак человек с темным прошлым — Насимджан Файзуллаев; его жена — спекулянтка и рвач Мастура; маклер ослиного базара Аширмат; тушица, мошенник и паразит Бакиджан. Гнусный облик Аширмата и Бакиджана писатель раскрывает,

намеренно пользуясь сатирическими преувеличениями, высмеивая и разоблачая их, он показал ничтожество и бессилие этих жалких posledышей прошлого.

Изображение положительных и отрицательных персонажей романа во многом соприкасается с показом главного героя Уктама, с раскрытием его характера. Во взаимоотношении с этими людьми образ Уктама воссоздается в двух планах — в партийном руководстве колхозом, борьбе за подъем производства и в личной жизни: оба эти плана связаны между собой, образуя сюжет романа, где эпический основой и пружиной действий служит деловитость Уктама и выявление его характера в конкретных ситуациях.

На всем протяжении романа, опираясь на колхозную массу, Уктама преодолевает трудности, борется с пережитками в сознании людей, методом убеждения и личного примера перевоспитывает односельчан, вместе с соседними колхозами (образ Камилы) участвует в строительстве ГЭС. На этом строительстве колхозники проявляют массовый героизм, методом народной стройки в короткие сроки воздвигают здание гидроэлектростанции, закладывают основу для освоения новых земель, для достижения изобилия материальной и духовной культуры.

Духовный рост героя формируется не только в его общественно-трудовой и производственно-организаторской деятельности, но и в его личной жизни, в его взаимоотношениях с Камиллой, председателем соседнего передового колхоза. В любви этих молодых людей торжествуют нормы новой социалистической морали и новые отношения. Чувство взаимного доверия, дружбы и любви зарождается и крепнет в процессе труда и творчества.

Обновляя и обогащая традиции национальной литературы, Айбек в полном согласии с жизненной правдой показывает освобожденную женщину-узбечку активной и передовой. В образе Камилы мы видим гармоническое слияние общественных и личных интересов.

В романе нашли свое отражение мотивы дружбы народов, братской помощи, оказываемой русским народом узбекскому. Герои романа хорошо сознают неоценимую силу и значение ленинской дружбы между русским и узбекским народами. Исходя из этих идейно-творческих предпосылок, Айбек стремится воссоздать характер русского человека, во всем своем облике и поведении воплощающего достоинства русского народа. Колхозники искренне любят и уважают агротехника Акаскина, инженера-ирригатора Астахова и его жену Галию как именно русских людей. Один из персонажей романа Саксон-ата, обращаясь к Астахову, говорит: «Когда русский и узбек протягивают друг другу руку, то все трудности преодолены. Дело в единстве, сынок Астах...»

Образ Саксон-ата, немало пережившего до революции, знающего цену социализма, несет в себе большой идейный заряд. В новом мире он строит коммунизм, в нашем дне он видит еще более прекрасное и великое завтра. Он — один из инициаторов орошения и освоения новых земель. Старик произносит гордо: «В каждом нашем сегодняшнем деле я, сынок, улавливаю благодатный ветер завтрашнего. Вот поэтому сильна моя душа, руки просят дела».

Саксон-ата — обобщенный образ узбекских колхозников, безгранично преданных Коммунистической партии, проложившей путь к новой жизни.

Выразительно написан образ председателя колхоза Мирхайдарата во всей его живой противоречивости. Всецело преданный колхозному строю, ради которого он готов пожертвовать даже жизнью, он

иногда, проявляя слабость, подпадает под влияние отсталых людей, но сознание народной правды вновь овладевает его сердцем и умом, заставляет признавать и исправлять свои ошибки.

В романе «Ветер золотой долины» изображение социалистического коллектива и роста нового человека в горниле этого коллектива требовало новых принципов повествования, позволяющих раскрыть героя «в обстоятельствах дела», познать личность и коллектив в их взаимосвязи, взаимодействии и целостности. Роман этот, во многом расширявший и обогащавший эпический горизонт узбекской романтики, сыграл большую роль, будучи переведен на языки ряда народов СССР и зарубежных стран и став популярным у широкого читателя.

В 1949 г. группа советских писателей по приглашению организации прогрессивных писателей Пакистана посетила их страну. Участвовал в поездке и Айбек. Поездка вдохновила его на новые произведения. Писатель отобразил жизнь народа Пакистана, его мысли и чувства, борьбу и стремления в очерках «Пакистанские впечатления», в стихах и поэмах, а затем в повести «В поисках света».

В этой повести взволнованно рассказывается о том, что, несмотря на террор и преследования правительства, допустившего в свою страну американскую военницу, народ Пакистана все настойчивее борется за мир, за демократические преобразования и свободу. Айбек ярко и живо, в убедительных картинах народного бытия передает сущность жизни в Пакистане, характеры честных трудовых людей, их могучее стремление к правде, свету, рост их самосознания.

«Поиски света», социальной правды и народного счастья, стремление к достижению полной независимости родной земли, всеобщего просвещения и равноправия находят свое выражение в образах положительных героев повести.

Наиболее типичный путь «поисков света» в современном Пакистане писатель изображает через развитие характера Ахмада Хусейна. Много пришлось пережить и испытать Ахмаду Хусейну, прежде чем в душе его созрели семена гнева и решимости бороться. Бывший ранее типичным просветителем, он навсегда расстается со своими реформистскими иллюзиями и усваивает революционный взгляд на развитие общества. Значительную роль в становлении и росте революционного сознания этого человека сыграла его дружба с Мухаммадом Джамалом, активистом «организации прогрессивных писателей». Встреча Ахмада Хусейна с прекрасной девушкой Искандаро, беседа с ней, совместные действия во время сбора подписей под воззванием о мире, пробудившееся в его душе искреннее и глубокое чувство помогают раскрыться новым качествам его характера. Ахмад Хусейн и Искандаро борются против невежества людей, попавших под влияние ислама, развертывают пропаганду идей мира, терпеливо и настойчиво стремятся просветить сознание народа. Несмотря на усиление реакции в Пакистане, преследования сторонников демократии, арест Мухаммада Джамала, вынужденный переход в подполье рабочих организаций, несмотря на тяжелые испытания и лишения, Ахмад Хусейн еще смелее сеет семена света в народе.

«Только в борьбе народ избавится от мук и гнета. Его судьба уже безнадежна, у него есть цель, вера в то, что народ, конечно, добьется свободы, прекрасной жизни и коммунизма».

В развороте общественной и личной жизни героев повести, в своеобразии психологии и речевой характеристике многих персонажей, а также в манере изложения, в описании пейзажей Айбеком убедительно передан национальный колорит страны, которую он посетил, народной жизни, произведшей на него глубокое и сильное впечатление.

В годы Великой Отечественной войны Айбек побывал на фронтах Отечественной войны, посетил места жестоких боев. Он жил вместе с бойцами в землянках, ходил по освобожденным деревням, беседовал с населением. В минуту прощания с бойцами в глубоком волнении он обещает рассказать народу об их подвигах:

Прощай, солдат! Далек отсюда
Узбекистан цветущий мой,
Но никогда не позабуду,
Я дружбы нашей фронтовой...

Ты сквозь огонь прошел полсвета,
Себя прославил на века.
Мне хочется напомнить это
Всем тем, чья память коротка.

(Перевод С. Виленского).

Выполняя обещание, данное советским бойцам, Айбек принимается за роман «Солнце не померкнет». Отдельные главы романа были написаны по горячим следам событий, но в целом он был завершён только в 1958 году. В основе сюжета романа — судьба бойцов одного батальона.

Айбек создал яркие образы капитана Николина, узбекских бойцов — братьев Бектемира и Камала Уринбаевых, Аскара Палвана, Али Ахмедова и Хашимджана, медицинских сестер Салимы Хасановой и Алтынай, самоотверженно выполняющих на поле боя свой долг, храбрых русских бойцов Дубова и Краснова, командира партизанского отряда Курочкина, простой русской женщины Маруси, по матерински заботящейся о советских солдатах, и ее сестры партизанки Насти.

Свое основное внимание автор уделяет раскрытию характеров узбекских бойцов. Эти юноши, пришедшие на фронт с хлопковых полей Узбекистана и оказавшиеся в совершенно непривычных для них условиях, в грозной обстановке боев, плечом к плечу с солдатами других национальностей нашей страны.

После окончания школы семилетки главный герой романа Бектемир работал в поле, был чабаном. «Смекалистый и трудолюбивый», — говорили о нем в кишлаке. Но и он, несмотря на свой трудовой опыт, не сразу свыкается с тяжелыми фронтовыми условиями. Ему необходимо было преодолеть робость, овладеть искусством ведения боя. С помощью русских командиров и солдат он проходит боевую школу, становится опытным, смелым воином.

Оптимистическое восприятие жизни, природы, событий военного времени, постоянное пребывание в братском строю обогащают духовный мир героя. Не раз Бектемир выносит из пламени боя тяжелораненых. При этом жестокие испытания войны не заставляют его очерстветь. Глубокое и нежное чувство возникает у него к юной медицинской сестре Алтынай.

Бектемир не только преобразуется под влиянием коллектива, он сам оказывает положительное влияние на своих товарищей и земляков, с которыми делится своими знаниями, военным мастерством. В значительной степени под влиянием Бектемира находит правильный

путь Али, бывший прежде слабовольным, трусливым и политически отсталым человеком.

В Бектемире воплощен образ узбекского народа, проявившего в смертельной схватке с врагом свои высокие морально-политические качества.

Индивидуальные судьбы других героев романа так же раскрываются в их связи с основной темой романа — темой советского патриотизма. В героических судьбах персонажей романа проявляются высокие духовные качества советских людей, непоколебимо убежденных в неизбежности советского общественного строя, сильных нерушимой дружбой народов нашей страны, чувством интернационализма.

В 1963 г. вышла в свет автобиографическая повесть Айбеска «Детство» на узбекском и на русском языках. Следует сказать, что к воспоминаниям и впечатлениям детства Айбек вернулся, будучи зрелым мастером слова, имея за спиной более чем сорокалетний опыт выдающегося художника-писателя. Следовательно, весь рассказ о событиях жизни мальчика и подростка в повести «Детство» он отразил в новом преломлении, с точки зрения писателя социалистического реализма. Поэтому повесть «Детство» Айбека не серия картин быта, не разрозненные воспоминания мемуариста и не дневник субъективных переживаний героя-мальчика, хотя она целиком автобиографична. В ней нашел свое образное выражение тот многогранный реализм, включающий в себя одновременно и критические и утверждающие моменты, который был характерен и для романа Айбека — «Священная кровь».

«Детство» — повествование о формировании человека из трудовой народной массы, о его внутреннем росте, духовном обогащении, о становлении его идеалов. Но этот внутренний рост показан в непрестанном взаимодействии с окружающей средой, с людьми, в живом воздействии их на него.

В разворвывании событий мальчик начинает задумываться над противоречиями жизни, а тяжелая доля народа все время ставит перед маленьким героем вопросы социального и нравственно-этического порядка. Разрешая их по-своему, он проверяет свои выводы на практике, в общении с людьми разных профессий и социальных групп. Многие из этих людей (включая семью родственников и сверстников) внушают Мусе любовь к миру, труду, жизни, к людям, раскрывают ему глаза на красоту природы, искусства, народно-поэтического творчества.

Но Мусе, его духовному росту, присуща значительная внутренняя противоречивость. Жизнь вставала перед мальчиком в непрестанном боре между тьмой и светом, злом и добром. Разрешая эти разногласия идей и стремлений через тяжелые испытания и разочарования, маленький герой поднимается на высшую ступень духовного развития и житейской практики, проникается верой в человека, в его разум. Он стремится вобрать в свою душу все положительное, истинно человеческое, что он встречает в жизни, вытесняя из нее все отсталое, суеверное, собственническое. Особенно укрепляет жизнелюбие Мусы вера в созидательные силы человека.

Духовные искания героя повести совершенствуются в теснейшей внутренней связи с трудовым народом. Его мысли и чувства приобретают сознательность благодаря общению с подлинно народной мыслью. Так в конкретно-реалистическом образе изображены не только ростки будущего, черты нового, но и существенные сдвиги в общественной жизни бурного времени 1909—1918 гг., времени, подготовившего переход народных масс от стихийного недовольства существую-

щим эксплуататорским строем к сознательному революционному движению под руководством великой Коммунистической партии. В образе Мусы, его сверстников и других персонажей получило художественное «осмысление», объективное изменение самой жизни. И повесть реалистична тем, что в ней герой показан в нерасторжимом единстве с народным стремлением, которое определяет его нравственный облик, его интересы, поступки и образ мыслей; исследование характеров и общественных типов становится средством исследования самого общества, его природы, его исторических перспектив.

Повесть «Детство», романы «Священная кровь» и «Великий путь» находятся в неразрывной исторической связи. В повести «Детство» жизнь народа на определенном историческом отрезке времени живо предстает в преломлении сознания мальчика Мусы и получает художественное «осмысление»; в романе «Священная кровь» народная судьба получила широкое панорамное воплощение в представлении и действиях представителя самого трудового народа (в образе Юлчи); в последнем романе Айбека «Великий путь» (1967) прослеживается дальнейшая борьба узбекского народа за революционное преобразование действительности в период февральской (буржуазно-демократической) и Октябрьской (пролетарской) революции в образе нищего народной правды интеллигента Умарали. Таким образом, роман «Великий путь» является логическим и историческим продолжением романа «Священная кровь».

События романа, начинающиеся с описания тяжелой жизни бедняков, ведут в мир контрастов, в мир столкновений противостоящих друг другу классов, групп, семей, личностей. Зумрад, дочь Оташ, любит студента медресе (духовного училища) Умарали. Ее же сватают богачу — владельцу завода Садахмад-баю третьей по счету женой. Такое начало конфликта перерастает в социально-классовую, идеологическую и нравственно-психологическую борьбу революционного народа против его явных и скрытых врагов. В этой борьбе Умарали не сразу находит свое место.

В столкновении с баями, «благодетелями шарната», встречах и связи с демократически настроенными людьми, революционерами-большевиками формируются мироощущения Умарали, оттачиваются его политические взгляды, мысли и чувства.

В становлении характера Умарали, во взаимодействии с революционной средой получает художественно-реалистическое отображение целостный конкретно-исторический образ самой эпохи в осмыслении писателя.

Айбек — один из зачинателей многонациональной советской литературы социалистического реализма. В его художественных произведениях широко показана история узбекского народа в прошлом и настоящем, как создателя истории, движение его к коммунизму; историко-временная связь народной жизни, духовное разложение старого мира, пробуждение народного самосознания, перестройка общества на основах социализма, формирование нового человека, утверждение социалистического образа жизни. Изображение нарождающегося нового сочетается у Айбека с критикой отживающего старого.

Искусный мастер слова, как в области поэзии, так и в прозе, Айбек — один из своеобразных писателей узбекской советской литературы; своим творчеством он расширил арсенал художественно-эстетических средств, умело раскрыл новые возможности узбекского поэтического слова, проложил новаторские пути художественного познания человека и общества.

Произведения народного писателя Айбека (романы, повести, поэмы, стихи, очерки, публицистика, статьи и научные труды) пользуются заслуженным успехом у широких читательских масс. За роман «Навои» Айбек удостоен Государственной премии СССР, за повесть «Детство» награжден республиканской государственной премией им. Хамзы. На русском языке в пяти томах были изданы избранные произведения писателя, а на родном языке опубликовано Полное собрание сочинений в 20-ти томах. Его творения пользуются успехом не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Роман «Навои», например, переведен более чем на двадцать языков.

Айбек неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР и Узбекской ССР. Он являлся академиком Академии наук Узбекской ССР. Много лет (1943—1966) руководил Отделением общественных наук АН УзССР и Союзом советских писателей Узбекистана (1945—1950). За заслуги перед Родиной и советской литературой он трижды награжден орденом Ленина, дважды орденом Трудового Красного Знамени, дважды орденом «Знак почета», медалями и премиями союзного и республиканского значения.

Айбек — крупный художник — писатель, был человеком большой души, тонким психологом, глубоким философом, видным общественным и государственным деятелем.

*Хамиль Якубов,
профессор*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Время за полдень. Июльское солнце залило степь огненным зноем. Раскаленный воздух струился бесцветным, чуть заметным глазу пламенем... Редко встретишь в такую пору путника на широкой степной дороге: терпеливо покачиваясь в седле в такт ленивым движениям худой, заморенной лошаденки, запряженной в тяжелую четан-арбу, проедет возвращающийся из города дехканин в спущенном до самого носа старом войлочном колпаке; просеменит на ишаке седовласый старик — продавец винограда, охрипший от непрерывных «хых-хых», подкрепляемых ударами голых, заскорузлых пяток; пропылит по дороге стайка оборванных, чумазных ребят с перекинутыми за спину горшками из-под распроданного кислого молока...

Жара прибывала. Не чувствовалось даже слабого дуновения ветерка. Пыль, поднятая арбой, долго висела в воздухе, искрами раскаленного железа прилипала к лицу, затрудняла дыхание.

Зной сморил даже рослого, крепкого джигита, оказавшегося в дороге в эту пору. По виду — кишлачный житель, привычный и к жаре, и к холоду, он размашисто шагал, утопая крупными ступнями в хлопкой, горячей пыли. Торопясь добраться до места, нетерпеливо спрашивал редких прохожих и проезжих:

— Далеко еще до Топ-Кайрагача?

— Порядочно. Первый гузар за мостом.

Длинная, с открытым воротом рубаха и полосатый халат джигита были совсем мокрыми. Время от времени он с досадой отдирал рубаху, прилипавшую к потному телу, часто встряхивая подолом.

За первым же мостом действительно начинался гузар. По сторонам дороги расположились одна против другой две чайханы, мясная лавка, к ней прикормила маленькая мелочная лавчонка; на улице мусор, но зато она щедро полита водой, от беспорядочно разросшихся старых корявых талов падает густая тень.

Джигит опустился на широкий деревянный помост чайханы по левой стороне улицы. Полой халата он вытер запыленное, потное лицо, положил около себя небольшую сумку и попросил чаю.

Чайханщик, шуплый, сухошавый человек с узким безбородым лицом, сидел, приподняв худые костистые плечи, рядом с помятым, не раз чинившимся и ни разу не чищенным огромным самоваром. Его мало интересовали случайные гости, которые заходили и, выпив чайник чаю, уходили из чайханы. Он то проводил грязной, черной

от сажи тряпкой по боку самовара, то принимался перетирать пиалы и чайники, брал пиалу, тысячу раз побывавшую у него в руках, тарасил глаза, будто видел ее впервые, и сердито ворчал: «Ну как тут не дивиться людскому терпению! Да лучше бы мне провалиться в самоварную трубу и сгореть вместо углей! Чтобы от безбородого Джаббара осталась только горсть золы! Разве это дело, разве это жизнь? Вот и у этой дряни края выщербились. И та вон треснула!..»

— Эй, молодой арбакеш! — вдруг закричал он какому-то подростку. — Отведи подальше коня, а то возьму и соберу весь помет в твою тюбетейку!

Наконец чайханщик с глухим стуком поставил перед джигитом чайник с отбитым и надставленным белой жестью носиком и облупленную, с выщербленными краями пиалу.

Народу в чайхане было мало. Поодаль от джигита сидели два дехканина средних лет. Они толковали между собой, жалуясь на плохой сбыт овощей, на недостаток тягла. Один из них, прервав беседу, принялся рукояткой плети торопливо чесать себе загорбок, другой, показав на свой поношенный сапог с коротким, не больше четверти, рваным голенищем, сказал:

— Это когда обновим? Ты говоришь о тягле! Ото всего дехканского хозяйства никакого толку. У дехкан сил не осталось.

— Э, брат, была бы голова цела, — успокаивал его сосед.

В углу чайханы, прислонившись к стене, дремал казах, одетый, несмотря на жару, в толстый суконный халат. Приоткрыв глаза, он грубовато потребовал:

— Подай шилим!

Чайханщик, не торопясь, взял чилим, в котором оставалась одна зола, положил в него раскаленный уголек и поднес казаху.

— Докуривай, докуривай, — проговорил он насмешливо. — Чтоб ни пылинки не пропало из того, за что ты заплатил!

Казах, как заправский курильщик, попытался сделать глубокую затяжку, но тут же отвернулся и сердито проворчал:

— Ни капли дыма! Ты худший из людей, добра тебе не видеть!..

Джигита мучила жажда, и он пил торопливо, часто дуя на горячий чай. Опорожнив чайник, юноша бережно отделил от спрятанной в поясе мелочи несколько медяков, бросил их в пиалу и тотчас встал. Некоторое время, однако, он стоял в нерешительности: не знал, в какую сторону направиться. Потом, хотя и убедился в сварливом нраве чайханщика, подошел к нему.

— Вы не знаете, где тут усадьба Мирзы-Каримбая?

— А зачем тебе?

— Хотел повидаться.

— Хм... Мирзу-Каримбая не то что здесь — во всех четырех концах Ташкента знают. — Чайханщик вытянул левую руку и указал на один из переулков: — Во-он на ту улицу сворачивай. Большушие, издали заметные ворота. Искандер Зулькарнайн таких крепостей не строил!

Оглядев джигита с головы до ног, чайханщик прибавил с завистью:

— И крепок же ты, братец. Сила так и прет из всего тела! Откуда будешь, не из Сайрама ли? Везет нашему баю!..

Его перебил чей-то голос из глубины чайханы:

— Сплюнь! Сглазишь, пагубник! Мне бы так сказал — я бы тебе все зубы выбил.

— Да, если бы у меня были зубы, а у тебя сила нашлась, ходячая ты немощь, — съязвил чайханщик.

Джигит простодушно улыбнулся и вышел из чайханы.

Когда он поравнялся с огромными, выкрашенными зеленой краской, тяжелыми, резными воротами, сердце его часто забилось. Одна половина ворот оказалась открытой. Он издали заглянул во двор: прямо против него на обширной супе в тени высокого карагача сидел, обмахиваясь платочком, старик в белоснежной рубашке, с маленькой белой бородкой.

Сердце юноши забилось сильнее: «Как подойти к этому человеку, которого знает весь Ташкент?» Он робко вошел в ворота, в десяти — пятнадцати шагах от супы почтительно сложил на груди руки и с поклоном проговорил:

— Ассалам-алеюкум!

От смущения голос его прерывался, звуки с трудом выходили из горла.

Старик не двинулся с места. Приставив руку к глазам, он некоторое время по-стариковски всматривался в гостя, затем проговорил громко:

— Подойди, подойди, мой свет. Чем могу помочь?

Юноша подошел ближе, положил сумку на землю, протянул старику большие, сильные руки. Потом несмело присел на краешек супы, опустил голову. «Куда я попал? — промелькнула у него мысль. — Мирза-Каримбай это или нет? Может быть, это другой бай?»

Старик, заметив смущение юноши, спросил снова:

— Так с чем пришел, сын мой? Расскажи...

Джигит поднял голову, взглянул на старика и улыбнулся.

— Мирза-Каримбай вы будете?

Старик кивнул головой.

— Я пришел из Ходжикента.

— Из Ходжикента?

— Я сын вашей племянницы Хушрой.

— Э-э... — Мирза-Каримбай чуть пошевелился. — Племянницы моей Хушрой-биби сын, говоришь? Хвала тебе, хвала! Спасибо, что навестил, племянник. Как мать, здоровья ей и благополучия, где бы она ни была! Как звать тебя, племянник?

— Зовут меня Юлчи. Мать, слава богу, жива-здорова. Вам привет передавала.

— А отец, э-э... Шерали, как, здоров?

— Отец умер. Уже больше двух лет...

Мирза-Каримбай легонько коснулся руками бородки, делая вид, что произносит слова заупокойной молитвы.

— Очень хороший был человек, бедняга: скромный, правдивый,

рассудительный. Одно время он часто наведывался. И здесь, и в городе у меня бывал. А ты приезжал когда-нибудь?

— Помню, будто еще маленького отец с матерью как-то привозили меня.

Старик стал вспоминать прошлое. Он рассказал, как после смерти его старшей сестры остались две девочки-сиротки, из которых старшая — Хушрой — жила у отца, а младшую — Аим-биби — взял на воспитание он, Мирза-Каримбай; вспомнил, как эта младшая неожиданно умерла перед самой своей свадьбой, а Хушрой-биби тоже не посчастливилось: после смерти отца дядья выдали ее замуж в кишлак, за Шерали. Все это Юлчи уже сотни раз слышал от матери. Потом старик умолк и медленно, словно погружаясь в дремоту, закрыл маленькие живые глаза. Он забыл и кишлачную Хушрой-биби, и ее скромного, трудолюбивого покойника-мужа, и неожиданно появившегося, рослого и сильного, как лев, племянника.

Он размышлял о разных коммерческих комбинациях, которые с помощью банков рассчитывал провести в ущерб интересам своих конкурентов, о своих отношениях с должниками. Должников бай делил на три группы. С одними он будет по-прежнему поддерживать торговлю, так как у них есть капитал и хорошие связи — «руки длинные», как любил говорить старик, придет время — он с них за малое получит многое. Других припугнет, а потом спустит им залежавшуюся на складе мануфактуру по хорошей цене. Третьих... о, этим он покрепче прижмет хвост и заставит плясать, как обезьян... Потом он вспомнил о договоре на поставку хлопка, который был заключен недавно его старшим сыном Хакимом с русскими фирмами. Раскинув умом и еще раз убедившись, что в этом деле нет никакого риска, а прибыль потечет рекой, бай от удовольствия еще крепче зажмурил глаза.

Юлчи, конечно, не мог знать, почему это столь словоохотливый дядюшка вдруг закрыл глаза и погрузился в молчание. Он даже забеспокоился: «Видно, моим приходом недоволен». Однако, несколько освоившись, юноша смелее стал присматриваться и к старику и ко всему окружающему.

Мирза-Каримбай, несмотря на маленький рост и тонкие старческие руки, выглядел еще свежим и крепким. Он не очень полный, но и не худой. Небольшое, с хитрецей лицо его залито ярким, как гребень петуха, румянцем; белая борода и усы — чистые, расчесанные...

Каждый уголок квадратного двора, площадью побольше танапа, привлекал внимание юноши. Посредине двора — супа и хауз. Над супой карагач в два обхвата, с огромной шарообразной кроной, в тени которой — ни одного солнечного пятнышка. У хауза — три близко посаженные друг к другу яблони с переплетающимися ветвями. На одной из них яблоки уже отливают желтизной; на другой — крупные, с кулак величиной, но еще совсем зеленые, взглянешь на них — и на зубах появится оскомины, а рот наполнится слюной; ветви третьей под тяжестью обильных красных плодов склонились к самому хаузу, — несколько яблук плавают в воде, рубинами горят на солнце. Шагах в двадцати за хаузом — большая открытая беседка с ярко раскрашенными колоннами, поднятая над землей на высоту челове-

ческого роста. Вокруг беседки — цветник. Среди мелких цветочков, нежно переливающихся на солнце всеми красками радуги, высятся, отливая огнем драгоценной парчи, бархатно-красные мальвы.

Юлчи еще осматривался с любопытством, как вдруг из калитки внутреннего двора с веселым гомоном выбежала стайка ребят — мальчиков и девочек, одетых во все чистое, нарядное. Самый старший из них — хорошенький мальчик лет десяти, в бархатной тубетейке оливкового цвета, — поставил на землю ловушку с большой серой крысой, открыл дверку. Жирная крыса тотчас выскочила наружу и, тяжело подпрыгивая, побежала к воротам. Ребята с громким улюлюканием погнались за ней. Вскоре от ворот донесли торжествующие, радостные крики и возглас: «Обольем керосином и подожжем!»

Старый бай открыл глаза. Он погрозил внучатам пальцем и прикрикнул:

— Не балуйте со спичками, эй! — Потом, чтобы несколько загладить свою невнимательность к забытому племяннику, ласково обратился к нему: — Так, значит, нашел-таки нас, племянник. Да, расспрашивая да переспрашивая, говорят, и Мекку находят... Эй, Айниса! — окликнул бай болезненно-бледную девочку, стоявшую несколько в стороне от ребят. — Позови бабушку.

Вскоре от калитки послышался женский голос:

— Что такое?

— Иди сюда! — поманил рукой старик.

— Там же посторонний...

— Родня... Сын Хушрой, — пояснил бай.

— Какой Хушрой? Усохнуть моей памяти... А-а, из кишлака, что ли?

К ним медленно подходила женщина лет пятидесяти восьми, среднего роста, полная, с широким, уже поблекшим и обрюзгим лицом. Юлчи поднялся ей навстречу, почтительно поздоровался, передал привет от матери. Спесивая старуха, даже не дослушав гостя, обратилась к мужу:

— Это сын вашей кишлачной племянницы? С гору вырос джигит! Он и в детстве крупенький был... Я припоминаю его.

Мирза-Каримбай велел жене принести угощение. Только после этого старуха мимоходом взглянула на Юлчи с притворной сердечностью, за которой проскальзывало плохо скрытое пренебрежение, справилась о здоровье его домашних.

Бай, часто отдуваясь, принялся жаловаться на жару.

Немного погодя старуха вынесла поднос с угощением и чайник чаю. На подносе оказалось четыре маленьких хлебца и две кисти скороспелого винограда, изрядно поклеванного птицами. Юлчи протянул старухе сумку, которую принес из дома:

— Вот... Мать передала... курут...

— Ах, милая, жертвой мне стать за нее! — старуха брезгливо взяла сумку кончиками пальцев. — И зачем ей, бедняжке, было утруждать себя...

Ребята, услышав, что в сумке курут, окружили старуху:

— Бабушка, мне один!

— Бабушка, дай мне побольше!

Старуха, насупившись, прикрикнула на внучат, но в конце концов вынуждена была развязать сумку. Скривив губы, она сердито заворчала:

— Ах, козлята озорные! На курут из цельного молока смотреть не ходите, а из-за этих камешков спорите. Смотрите, какой жесткий, зубы обломаете. Этот курут все кишки вам порвет. Бой-бой, уморят меня эти ребята!

Заметив, что гость покраснел, бай, недовольный бестактностью жены, отвернулся и, чтобы прекратить болтовню старухи, сдержанно проговорил:

— Ну, довольно, иди в ичкари, уши заболели от твоей стрекотни.

Юлчи сидел, низко опустив голову: ему было обидно; он вспомнил, как мать собирала курут по соседям, как радовалась, вручая подарок для богатого дяди.

Бай разломил один хлебец, пододвинул поднос Юлчи.

— Бери, племянник, перекуси с дороги.— Старик помолчал.— Помнится, был у вас клочок земли. Уцелел он?

— Нет,— ответил Юлчи, несмело взяв с подноса кусочек хлеба,— земля продана.

Мирза-Каримбай был человеком жадным до земли. Если кто-либо из дехкан или землевладельцев оказывался в затруднительном положении, он обязательно сам или через посредников старался прибрать его землю к рукам. А бывало, когда дело касалось участка, граничившего с его угодьями, владелец и не думал продавать землю, но старик все равно добивался своего. Если нужно было, он ни перед чем не останавливался, не считался ни с честью, ни с совестью, ни с законом. Однако участок Юлчи, тем более уже проданный, не мог интересовать старика, поэтому он пустился в разглагольствования:

— Нехорошо получилось, племянник. Говорят: кто землю продает — не мужчина, мужчина земли не продаст, какая б ни была причина. Вот раскуси ядро этих слов... Видели мы много таких, что продавали землю. Все они рано или поздно становились нищими. Верно, землю они продают за деньги, наличными, со звоном пересчитывают. Деньги, конечно, отец всех вещей. Деньги, говорят, стану крепость придают, голову венцом украшают. Деньги — это крылья! С такими крыльями с запада на восток пролетишь, везде знакомых, товарищей найдешь, друзей-приятелей заведешь. Денежный человек — он и в Москве, и в Варшаве побывает. А без денег — попробуй-ка сдвинуться с места! Бе-э, куда там!.. Вот что значат деньги, племянник! Однако я очень расхвалил деньги. И в земле много хорошего есть. Земля — родить может. Воткнешь в землю ветку, она примется, зазеленеет, и, смотришь, дерево в обхват толщиной выросло. Деньги — тоже родят. Очень много родят, быстро родят. Особенно в нынешние времена деньги плодovitыми стали. Но деньги удержать трудно, легко проесть, растрясти зазря. Деньги что птичка: чуть приотпустил — и упорхнули из рук. А земля и родит, и для денег арканом служит. Кто землю покупает — полнеет, кто продает — хиреет. Вот раскуси ядро этих слов, племянник!

— Нужда, дядя... — Юлчи в два глотка опорожнил пиалу остывшего чая. — Отец целый год пролежал больной. Хлеб не уродился. Что сделаешь, если руки коротки...

Мирза-Каримбай перебил:

— Овца под одной и той же шкурой сколько раз худеет и снова жиреет, — сказал он назидательно. — В жизни человека иной раз бывают и трудные дни. С этим мириться надо. Лет, кажется, тридцать пять назад — ну да, это было в тот год, когда я открыл лавку в торговом ряду, — на мою долю выпало тяжкое испытание. Иногда, бывает, и купцы попадают в затруднительное положение, только тебе этого не понять. Мне понадобились деньги, а где их взять? В местечке Ракат мне досталось от отца три танапа земли. Обрабатывали ее чайрикеры — издольщики. Кое-кто из родни и друзей советовали мне продать эту землю. Запомни, племянник: когда нужно, друзья не подхватят тебя под руки, не вытащат из грязи. Я никогда не верю друзьям. На советы все они проворны. А почему, спросишь? Потому что советовать — самое легкое дело: язык болтается, только и всего... Я никого не послушал. Прикинул умом так, прикинул этак и в конце концов нашел выход. Вытащил из сундуков жены наряды, собрал вещи, что держались только ради украшения дома, и все это превратил в деньги. Сам знаешь — женщины падки до нарядов и безделушек, а то, что у них в сундуке лежит, и самому небу не доверят. Жена плакала, причитала. «Глупая, — говорю ей, — даже навоз в земле — лучшее богатства, что гниет в сундуке...» Жена — раба мужа, племянник! Мужчина, устраивающий свои дела сообразуясь с желаниями и мнением жены, не человек... Дела мои потом поправились, и земля уцелела.

— Другого выхода не было, дядя, — оправдывался Юлчи. — У вас были вещи, вы их продали, а у нас, кроме клочка земли, не на чем глазу остановиться. Я не сидел сложа руки: стадо пас, на поденщину ходил, конюхом был. Мать колосья собирала. В кишлаке прожить трудно. Жили мы, свыкшись и с голодом и с холодом. Одно только нас тревожило: у отца на шее был долг. Небольшой, меньше тридцати рублей. Когда отцу стало совсем плохо, он забеспокоился: «Пока глаза мои не закрылись, рассчитаться бы с долгом, чтобы в могиле лежать спокойно. Будет ли Юлчи хозяйствовать, сумеет ли он прокормить семью и отдать долг?» — сказал он матери. Вот и пошла земля наша за бесценнок. Да мы рады были, что хоть расплатились и за нами не пропало чужое.

— А-а, вон как, говоришь... — Мирза-Каримбай вытянул по ковру ноги и, растирая их, продолжал: — Тогда другое дело. Долг — скверная штука, племянник. Чтобы разделаться с долгом, человек не только землю — себя в рабство продать обязан. Худшие из людей те, что пялят глаза на чужое. Есть такие: у самого нет ничего, а он только и делает, что зарится на чужое добро. Не желает мириться с тем, что он бедняк, хочет послаще поесть, получше одеться. Если у тебя есть ум, племянник, даже копейку чужую бойся присвоить. И сто тысяч рублей — деньги, и копейка — деньги. Ты каждую мелочь у бога проси. Даст он — хорошо, не даст — не сетуй, благодари небо

и судьбу, будь честным бедняком. На том свете тебе все зачтется... Что же ты? Бери хлеб, ешь виноград.

Юлчи был очень голоден. Он вышел из кишлака еще ночью по холодку и за все время пути съел одну-единственную лепешку, которую завернул в пояс, уходя из дому. Однако Мирза-Каримбай, из купеческого ли «хорошего тона» или просто по привычке, искрошил лепешку очень мелко. Возьмет Юлчи кусочек, тут же его проглотит, а протягивать часто к подносу руку — совестно. Простой кишлачный парень, он хоть и не особенно разбирался в тонкостях городских приличий, все же, помня наставления матери, счел за лучшее сдержаться в присутствии богатого родственника и очень скоро отодвинул поднос.

Мирза-Каримбай молчал. Он изучал племянника, размышлял о причинах, которые могли заставить юношу явиться к нему. «Положение у них скверное,— думал бай.— Жить в кишлаке без земли, без тягла — муки смертные терпеть. Разве зря пойдет молодой человек разыскивать забытую родню матери? Нет, он пришел в расчете поживиться у меня одеждой, деньгами. Его, конечно, мать послала. Женский нрав и привычки известны. Соберутся три-четыре соседки, и она уже, наверное, начинает хвалиться, мол, в городе у меня богатый дядюшка, в доме у него как в сказочном дворце, и перед каждым, кто захочет войти, ветерок открывает все двери. Вот и надумала послать сына. Хорошо еще, что сама не пришла. Сколько бы слез уже пролила, жалуясь на свою горькую жизнь. А юноша, кажется, не глуп — с умом и видный, здоровый...»

Мирза-Каримбай был человеком, как говорят, «отведавшим змеиного сальца». Он хитер, лукав и опытен в отношениях с людьми, нетруслив и осмотрителен во всех делах. Благодаря этим качествам он, сын скромного мелкого торговца, за маленький рост и проворство получивший в молодости прозвище «Читтак» — синичка, настолько быстро поднимался в гору, что его вскоре стали называть не «Карим-читтак», а «ваша милость Мирза-Каримбай». Теперь он один из первых богачей Ташкента; у него два оптовых мануфактурных магазина, в старом и новом городе, несколько больших и малых магазинов и лавок по разным городам Туркестанского края; вокруг Ташкента он в разных местах имеет землю, сады. Его старший сын — Хаким-байбача — ведет крупную торговлю хлопком.

Бай много повидал в своей жизни. Он имел дело с людьми из разных городов и различных слоев общества, у него было много приказчиков, рабочих, батраков, арендаторов, чайрикеров. Старик умел быстро распознавать людей и гордился этим, хотя и не хвалился вслух перед другими (он очень не любил хвастовства).

Вот и сейчас перед ним сын бедной племянницы. Бай долго с ним беседовал о разных вещах и не заметил в молодом человеке никакого изъяна. Его стройный и сильный стан, широкий лоб, полные глубокой сердечности и искренности большие умные глаза, выпиравшая из-под запыленного халата широкая грудь, мускулистые руки, кишлачная простота и прямота высказываний (эту особенность в бедных людях бай считал большой добродетелью) — все в нем

правилось баю. «Крепкий джигит, хлеб-соль за ним не пропадет»,— думал он.

Однако во всем облике Юлчи чувствовались скрытая смелость и гордость. Это не понравилось баю, и он, вспомнив народную поговорку «К незнакомому коню сзади не подходи», по своей осторожности решил: «Если этот молодец попросится на работу, я его сначала испытаю. Окажется хорошим,— оставлю. А покажет себя ленивым или нечистым на руку — выпрожаю».

— Племянник,— осторожно обратился он к Юлчи,— подумал я и вижу: живется вам не сладко. Что ты намерен делать — возвращаться в кишлак?

Юлчи не знал, что ответить баю. Провожая его из дому, мать наказывала просить у богача дяди работы. Сказать сейчас, что намерен возвратиться, значит, завтра-послезавтра нужно будет отправляться в кишлак. Тогда мать обидится, упрекнет: «В таком большом доме и места себе не нашел, вернулся, растяпа». Сказать: «Хочу остаться, дайте какую-нибудь работу» — не позволяла гордость. Когда старик повторил свой вопрос, Юлчи ответил:

— Если найду в Ташкенте работу, может, и останусь.

Мирза-Каримбай, пощипывая кончик бороды, тихонько расмеялся:

— Где же ты так вот сразу найдешь работу в городе? Поживи пока здесь. Если суждено тебе, останешься у нас, а нет — отправишься в свой кишлак или еще куда. Откуда нам знать сейчас, где аллах пошлет тебе хлеб насущный!

— Воля ваша,— согласился Юлчи.

Мирза-Каримбай не спеша поднялся. Прошептав обычное: «Е расулуллах»,— он сошел с супы, сунул ноги в аккуратные, тонкой работы капиши, блестящие так ярко, словно их только что принесли из лавки, и, поскрипывая ими, не по годам прямой и горделивый, как петух, направился к внутренней половине двора. В этот момент через ворота, таща за собой на веревке упиравшегося изо всех сил человека, во двор ворвалась большая черная корова. Бай испуганно отскочил в сторону. Человек уперся ногами, откинулся всем корпусом и с трудом остановил корову.

— Никакой силе не справиться с этой блудницей! — сказал он баю и, заметив Юлчи, остановил на нем любопытный взгляд.

Бай улыбнулся.

— Ярмат, этот юноша — мой племянник. Знакомься и приучай его к делу.

Старик направился в ичкари.

Ярмат отвел корову в дальний угол, привязал ее к дереву у дувала и только потом подошел поздороваться с Юлчи.

Из калитки выглянул бай:

— Живей седлай лошадь, Ярмат! Сын поедет в город приглашать гостей.

— Если так, надо бы сначала клевера нажать,— почесал затылок Ярмат.

— Э-э, теперь уже поздно.

— Я могу нажать,— вызвался Юлчи.— Где у вас клевер?

Мирза-Каримбай улыбнулся, довольный такой готовностью племянника, и, не сказав больше ни слова, ушел во внутренний двор.

— Так, значит, гостя на работу ставить будем,— заговорил Ярмат, направляясь со двора вместе с Юлчи.— Что ж, старик, говорят, придет — лишний рот к плову, а молодой — в помощь дому.

Ярмат шел рядом с Юлчи, болтая будто со старым знакомым. Это был высокий, крепкого сложения человек лет сорока пяти, на лице чуть заметные следы оспы, борода и усы с изрядной сединой. Низко, на самых бедрах, повязанный поясной платок и нарочито небрежная походка говорили о желании подражать самым завзятым уличным шеголям и выдавали в нем бедняка, из тщеславия старавшегося казаться не тем, кем он был на самом деле.

Они подошли к клевернику, занимавшему танапов пять земли.

— Вот и мой клевер,— подбоченившись, указал одними глазами Ярмат.— Если вы охотник до перепелок, то ловите их только здесь!

— Клевер ваш собственный? — взглянул на Ярмата Юлчи.— Хороший клевер — высокий и густой!

— Ха-ха-ха!..— расхохотался Ярмат и, передав Юлчи серп, пояснил: — В доме Мирзы-Каримбая-ата я работаю уже шестнадцать лет, паренек. А раз так, то какие могут быть разговоры: «наше», «ваше». Мало ли пролито моего пота на этом клевернике? Эх-хе! Я как-нибудь покажу потом — большую часть земель бая я сам своими руками обработал и заставил зазеленеть... Начинайте жать вот отсюда. Клевера потребуеться целая арба. Сегодня четверг, а в канун праздника у нас никогда не обходится без гостей. Слышали — ожидают Хакима-байбачу с его друзьями-приятелями. А если еще и братец их Салим-байбача со своей компанией пожалуют, тогда вы увидите чудеса: лошадьми будет занят весь двор, и клевер только подавай!

Юлчи внимательно оглядел серп и принялся за работу. Ярмат, считавший себя непревзойденным жнецом, некоторое время наблюдал за ним, стараясь найти хоть какой-нибудь недостаток в работе. Однако его опытный глаз не заметил ничего такого, к чему можно было бы придираться. Напротив, в быстроте, например, Юлчи даже показал превосходство над ним.

— Неплохо! — вынужден был признаться Ярмат.— Будто парикмахер голову бреет: под самый корень режете... Ну, я пошел.

В клевернике — духота; казалось, весь свой жар в течение дня солнце скапливало именно здесь. При каждом взмахе серпа лицо жнеца обдавал горячий, душный воздух. Юлчи обливался потом, но жал старательно, не поднимая головы. Острый серп в его умелых руках легко, с приглушенным треском подрезал пучки густого, местами полегшего клевера.

Работа увлекла Юлчи. Юноша повеселел. «Дядя, должно быть, справедливый человек,— думал он.— Взять хотя бы Ярмата — вон сколько лет проработал. А работник — не раб, без выгоды жить не станет. И по разговору он, похоже, доволен. Работал я у многих в кишлаке, поработаю и здесь. Если буду стараться, мне худо не будет. Потому — они родственники и, хоть других, может, пощипывают, меня

не обидят. Дядя вон сколько говорил со мной, сколько советов дал. Теперь дела мои должны поправиться: мать и брат с сестрой не будут нуждаться. Надо только работать хорошенько...»

Занятый такими размышлениями, Юлчи незаметно нажал клевера. Потом сгреб его в кучки и, захватывая могучими руками огромные охапки, стал переносить на байский двор.

Солнце уже спряталось, но дневной свет еще не погас. Ласковая тишина летнего вечера лишь время от времени нарушалась мычанием коров или телят да редким, тотчас смолкавшим чириканьем птиц. Все кругом было охвачено дремотной усталостью и истомой...

На байском дворе — никого, кроме Юлчи. Два мальчика, только что беззаботно игравшие здесь, при его появлении убежали в ичкари. Юноша присел на край супы, опустил голову и задумался. Думал он о матери, о братишке и сестренке, оставшихся далеко, в глинобитной кишлачной мазанке.

Вдруг с улицы донесся приглушенный пылью топот лошадиных копыт. Юлчи вскочил, побежал к воротам. Схватив за повод буланого красавца коня, он помог сойти седоку. Это был старший сын Мирзы-Каримбая — Хаким-байбача — надменный на вид человек лет сорока, среднего роста, большеголовый, с черными, закрученными штопором усами, с быстрым, пронизательным взглядом карих глаз, одетый поверх чесучового камзола в шелковый полосатый халат.

Хаким-байбача соскочил с коня, смахнул полами халата пыль с сапог, затем, уже направляясь в ичкари, не глядя на Юлчи, небрежно на ходу пробормотал:

— Мне Ярмат говорил о тебе, племянник. Сегодня к нам придет много народу. Хорошенько приглядывай за лошадьми, родня!

Вслед за хозяином начали прибывать и гости. Юлчи привязывал коней к деревьям и специально вбитым в стены кольцам. Несколько лошадей были отведены на конюшню. Затем он, подобно челноку ткача, долго сновал между калиткой ичкар и беседкой, подавая гостям то наполненные сладостями подносы, то чай, то шурпу в больших чашках — касах, то целые блюда пельменей, один запах которых вызывал спазмы в его голодном желудке.

Ярмат возвратился из города пешком, усталый, поэтому у лошадей тоже пришлось хлопотать одному Юлчи. Уже в темноте юноша присел на супе с Джурабаем — кучером одного из гостей, приехавшего в пролетке, — утолил голод остатками угощений, потом расстелил прямо на голой земле старую подстилку, найденную где-то Ярматом, подложил под голову охапку зеленого влажного клевера и быстро уснул.

II

Летняя ночь коротка. Кажется, чуточку соснул Юлчи, а открыл глаза — уже светает. Воздух был чист и прохладен. То там, то здесь слышались первые голоса птиц. Юлчи поднялся. Умылся из арка, прошелся по двору.

Ласковый утренний ветерок забавлялся игрой красок в цветнике, разносил от беседки аромат цветов.

В беседе на шелковых одеялах, погрузив головы в мягкие белоснежные подушки, спали гости: кто посапывал, кто тихонько посвистывал носом, а иные громко храпели. Особенно усердствовали последние. Казалось, что они жестоко спорили друг с другом: только один возьмет высокую ноту, как вслед вступает второй.

Посреди двора, на сиденье новой, покрытой черным лаком пролетки, согнувшись пополам, спал кучер Джура. Из-под мышки у него торчал длинный кнут.

Юлчи прошел в конюшню. Лошади заржали,— они давно покончили с кормом и нетерпеливо били копытами. Юноша подбросил им клевера. Потом взял лопату с метлой и принялся за уборку конюшни.

Юлчи с детства любил лошадей, и ухаживать за ними было для него удовольствием. Здесь же были собраны породистые, редкостные кони всех мастей. В народе о таких лошадях говорят: на них можно под облаками летать. Юлчи осмотрел коней, обмел каждого с головы до ног чистым венником, пригладил руками шерсть, расчесал гривы.

Сытые кони заблестели, словно омытые водой, и стали еще более красивыми.

Поднялся и Джура. Он подошел к своему коню, привязанному в отдельном стойле, ласково похлопал его, приговаривая:

— У, родной ты мой! Как здоровье? Хорошо ли отдохнул? Не желает ли чего душа твоя, мой каренький?

— Выспались, Джура-ака? — спросил Юлчи.

— Э-э, братец! — Джура зевнул, широко раскрыв лишенный передних зубов рот. — Разве у таких, как мы с тобой, при жизни есть время выспаться? После смерти — другое дело.

— Это правда!

— А ты, видно, тоже любишь лошадей. Да?

— Еще бы! — засмеялся Юлчи. — Лошадь — лучшая тварь на земле. Очень люблю!

— Если бы они от этого стали твоими... — вздохнув, заметил Джура.

— Да-а... — протянул Юлчи. — Но, говорят, хорошее намерение — уже наполовину богатство. Когда-нибудь и я своего коня заседаю. Может, он не будет ни летуном, ни скакуном, пригодным для улака и скачек, но будет хорошим работягой.

Джура пожал плечами и безнадежно махнул рукой, показывая, что он-то уже ни на что не надеется. Поймав присосавшуюся к лопатке лошади желтую «собачью» муху, он выругался, раздавил ее каблуком сапога, потом засучил рукава и, негромко мурлыча что-то себе под нос, принялся за дело.

Юлчи задержался у стойла, залюбовавшись конем. Джура заметил это, расправил спину, обвел взглядом конюшню.

— Буланый хозяина твоего тоже хорош! — проговорил он. — Если ты знаешь толк в лошадях, конь этот из тех самых буланых, о которых рассказывают в сказках.

— А ваш? — засмеялся Юлчи.

Джура любовно провел ладонью по крупу коня.

— О нем и говорить нечего! — с гордостью сказал он. — Это первый из первых. Равного ему не сыскать. Посмотрел бы ты, как он бежит! И старый и малый глаз оторвать не могут! Заприметят издали и провожают, пока не скроется... Стой, стой! Что, мухи нападают, каренький? Сейчас мы их в ад спровадим... — Расправившись с мухами, Джура продолжал: — Только, надо сказать, у человека часто бывает дурной глаз, братец. Как-то стою на Иски-Джува, жду хозяина. Базарный день, народу много. Все на лошаде глаза пялят... Подходит один седобородый — раньше он барышником был. Оперся на посох, устался на коня. «Живу, говорит, я со времени Малля-хана кокандского, сын мой. Видел много и ханских и байкеких коней, много прошло их через мои руки. Но этот — не конь, а душа живая! Чей он? Сколько стоит?» «Сожрал ты мне коня!» — подумал я и говорю ему: «Другого бы на твоём месте кнутом хватил, а тут седины твои приходится уважать...» И что бы ты думал? На другой день заболел мой конь! У меня чуть душа не выскочила. Хорошо еще, кроме меня, никто не заметил. Хозяин-то в лошадах и на просяное зернышко не смыслит... — Джура вздохнул. — Ходить за чужой скотиной самое трудное дело, братец. Что случится — беда на твою голову. Хозяин у меня шумливый. Даже самый смирный человек и тот, как только разбогатеет, начинает забываться. Знаем мы! А над кем и поглумиться, как не над работником?.. Так вот, что же мне, думаю, делать? Голова пошла кругом. Побежал я к знахарю-мулле. Слышал, что крепко помогает его заговор... Стой, стой! Сейчас я тебя, дорогой, начищу так — будешь блестеть, что девушка после бани... Да, пришел я к мулле и что, думаешь, сказал ему? «В нашем, говорю, доме заболел один бедняга. Видно, джинны душат. Идемте, пошепчите, может, исцелит ваш заговор...» — «Хорошо», — отвечает мулла и отправился со мной. Пришли мы. Веду его в конюшню, говорю: «Почтенный, вот наш больной». А мулла смеется: «Ничего, говорит, в этом особого греха нет. Вчера мне пришлось читать молитву над коровой». Мулла прочитал молитву. Пошептал, подул, поплевал на стороны. Сказал: «Сглаз это. Обкуришь еще исыком — пройдет». Вручил я ему за труды свой собственный целковый. Ушел он. А мне опять не спится. Ровно в полночь бегу к своей старухе матери... У меня, братец, всего только и родни, что одна мать. Мне уже сорок лет. И ни жены, ни детей. Бобылем, можно сказать, прожил свой век... Мать моя тоже ловка насчет того, чтобы от сглазу полечить, пошептать, поплевать направо-налево. Разбудил я старуху. «Вставай, говорю, показывай свои чудеса!» Рассказал ей все. Пошли мы. Зимняя ночь, холод. Земля скользкая что стекло. Мать-бедняга падала не раз. Ну все же добрались кое-как... До рассвета и она успела пошептать над конем... Уж не знаю, кто из них помог, только выздоровел конь... Так-то, брат, — заключил свой рассказ Джура. — Но, говорю по правде, нам, кучерам и конюхам, трудно, очень трудно... Ну-ка, стань в сторонку, желанный, — ласково обратился Джура к коню. — Дай брюхо тебе почистить...

Солнце уже поднялось довольно высоко. Гости встали, оделись и, весело болтая, разгуливали вокруг цветника.

Джура, покончив со своими делами, смело подошел к ним, кое с кем даже обменялся парой-другой слов, затем, отпросившись у хозяина, вышел на улицу. Юлчи же присел на корточки под деревом, на берегу арыка, подальше от гостей. Он не только подойти к ним — даже смотреть в ту сторону стеснялся. Их разговоры, поведение, обращение — все казалось ему чуждым и непонятным.

Из калитки внутренней половины дома вышел Мирза-Каримбай. Юлчи вскочил, поздоровался с ним. Бай пробормотал обычное «ваалей-кум» и, даже не взглянув в его сторону, прошел к гостям. Немного погодя он вернулся, позвал Юлчи:

— Идем-ка со мной, племянник.

Бай легко перепрыгнул через арык и пошел впереди. Новые лаковые капиши его мягко поскрипывали, легкий шелковый халат сиял, переливаясь на солнце разноцветными огнями, вспыхивал искрами, от которых рябило в глазах.

Через маленькую калитку они вошли в сад. Юлчи показалось, что он попал в рай. Сад был огромный. Больше двух танавов земли занимал виноградник. Под высокими, уходящими вдаль сводами его свободно могла пройти кокандская арба. Зеленые листья винограда шевелились под ветерком, блестели на утреннем солнце. Вдоль высокого дувала, окружающего сад со всех четырех сторон, росли персиковые деревья. Ветки их под тяжестью плодов, несмотря на подпорки, ломились, клонились к самой земле. За виноградником начинался большой яблоневый сад. Юлчи удивился: все деревья, в какую сторону ни взгляни, стояли ровными, как по нитке, рядами и на одинаковом расстоянии друг от друга. Яблони низкорослые, а плоды крупные, хотя еще зеленые. Кроме этого, в саду было много груш, урюка, айвы, джиды.

Когда обошли сад, Мирза-Каримбай остановился и с улыбкой спросил:

— Есть у тебя желание поработать, племянник?

— Я привык работать, — просто ответил Юлчи.

— Вот и хорошо. Надо будет прочистить в саду с двух сторон зауры. Затем хорошенько прополоть виноградник. Но об этом я между прочим упомянул. Сейчас для тебя есть другое дело. Пойдем покажу.

При выходе из сада они столкнулись с незнакомым Юлчи молодым человеком. Он был тонок, бледен, с узкими глазами и густыми, сросшимися бровями на низком лбу. Незнакомцу было не больше двадцати пяти лет, но испитое лицо делало его старообразным. На нем были новенькая вышитая тубетейка, длинный чесучовый камзол с отворотами и накладными карманами и новые, шегольские сапоги.

Молодой человек остановился.

— Этот джигит — ваш племянник, отец? — спросил он Мирзу-Каримбая и тут же обратился к Юлчи: — Как жив-здоров? Благополучно ли прибыл? Рад, рад... — Притворно улыбаясь, молодой человек протянул Юлчи кончики пальцев и в ту же минуту скрылся в саду.

Юлчи догадался, что это младший сын Мирзы-Каримбая — Салим-байбача.

Неподалеку от клеверника Мирза-Каримбай остановился.

— Видишь эти пни? — заговорил он, внимательно взглянув на Юлчи. — Здесь была роща из карагача и тополя. Прошлый год ее вырубили. Теперь ты должен выкорчевать пни, расчистить землю.

— С этого и начинать? — спросил Юлчи, окидывая взглядом вырубку.

— Да-да. Это очень нужное дело. Во-первых, освободится земля. А земли тут немало. Без четверти танап примерно. После ты хорошенько вскопаешь весь участок, на одной половине посадишь морковь, на другой — картошку. Вот мы и будем обеспечены на зиму. А потом, смотри, сколько тут дров! Если все эти пни аккуратно выкопать и расколоть, получится немало топлива. А без топлива, свет мой, никакой котел не закипит. Если всякую мелочь покупать на базаре, даже казна царя Соломона не выдержит, племянник. Хозяйство надо вести умеючи. Хорошенько обкапывай, чтобы корней в земле не оставалось. Понял?

Юлчи утвердительно кивнул головой.

После завтрака Юлчи принес кетмень, топор и принялся за дело. Он был привычен ко всякой тяжелой работе, но корчевать пни ему еще не приходилось. Пней было много, торчали они близко друг от друга. А земля — что камень! Обдумав, с какой стороны начать, Юлчи прежде всего взялся окапывать самые большие пни.

Кетмень отскакивал с коротким, глухим звоном. Земля дробилась и далеко разлеталась по сторонам. Юлчи понимал, что лучше было бы землю вокруг пней полить водой и подождать, пока она размякнет, но продолжал долбить, чтобы не терять времени и не вызвать недовольствия дяди. У него пересыхало в горле, он подходил к арыку, пил воду и снова брался за кетмень. Скоро он сбросил мокрую от пота рубаху.

Земля понемногу поддавалась силе. Юноша постепенно приспособился. Глубже земля становилась мягче, и дело пошло быстрее. Обнажился первый большой пень. Юлчи взял топор и принялся обрубать и выдирать из земли толстые корни. Неожиданно он увидел какую-то девушку, стоявшую неподалеку, у края клеверника, и украдкой наблюдавшую за ним. Вместо паранджи на голову у нее накинут рваный легкий халат. Одета она в старенькое, но чисто выстиранное белое ситцевое платье. На ногах — поношенные галоши. Рядом у ног ее стояло ведро.

Юлчи ни на минуту не оторвался от дела. Но, когда он, взмахивая топором, выпрямлялся, взгляд его каждый раз невольно обращался в сторону клеверника и останавливался на девушке. «Чья она, откуда и куда идет?»

Девушка была настоящей красавицей. Высокая ростом, очень юная, тонкая и стройная, как молодая таловая ветвь. Солнце горело в завитках ее волос, спадавших на лоб и виски. А белое нежное личико, казалось, само излучало свет.

Юлчи бросил топор и, смахнув со лба пот, смелее посмотрел на

девушку. Та смутилась и закрыла лицо халатом. С минуту она стояла не шелохнувшись, затем быстро наклонилась, подняла ведро и обочиной клеверника пошла к байскому саду. Юлчи, застыв на месте, не отрывал от нее глаз. Немного погодя девушка обернулась, бросила на него мимолетный взгляд, и юноша скорее почувствовал, чем увидел, ласковую, застенчивую улыбку на ее лице. Когда девушка скрылась между деревьями, у Юлчи почему-то вырвался глубокий, из самого сердца вздох. Он нехотя перевел взгляд на пень, торчавший у его ног, и снова принялся за работу.

Солнце приближалось к зениту. Воздух пылал. Не слышно было ни лая собак, ни пения птиц. Все живое попряталось в тень, дремало. А Юлчи, разрывая кетменем грудь земли, корчевал пень за пнем, голые плечи и спину джигита жгли прямые, отвесные лучи. Уже давала себя знать усталость, от голода временами подступала тошнота. «Наверное, забыли обо мне, захлопотавшись с гостями,— подумал Юлчи.— Ни чая, ни хлеба никто не несет».

Ровно в полдень показался Ярмат с чаем и лепешками. Он еще издали сердито крикнул:

— Бросай скорей! Сгореть можно на таком солнце! — Ярмат окинул взглядом развороченную землю, уже выкорчеванные огромные корявые пни и покачал головой: «Ну и могучий джигит!»

Они устроились в прохладной тени дерева. Ярмат разломал лепешку и, протянув Юлчи пиалу с чаем, посочувствовал ему:

— Это самая проклятая работа. Она изматывает человека.

— Верно,— согласился Юлчи.— Но для молодого, здорового парня — ничего.

Ярмат тяжело вздохнул и, растянувшись на зеленой траве, принялся обмахивать грудь полой халата.

— А вы, похоже, совсем уморились, ухаживая за гостями, а, Ярмат-ака? — пошутил Юлчи.

— Э-э, что гости...— ответил Ярмат.— За гостями хозяева сами ухаживают. Я уже сколько дел сегодня переделал! Нагрузил арбу навоза и отвез на главный участок. На обратном пути навалил клевера — у одного казаха взял: должен был нам тысячу снопов. Вечером или завтра утром по холодку отвезу его на городской наш двор. А клевер! Каждый сноп больше обхвата! И достался почти даром! Хозяин договорился еще ранней весной и уплатил казаху деньги вперед.

— Богатые люди,— заметил Юлчи,— каждую мелочь заготавливают вовремя, и все достается им по дешевке. Это только бедняки покупают, когда приходит крайняя нужда, и переплачивают втридорога.

— Верно. Справедливые слова.

— Значит, у дяди и в других местах земля есть? — спросил Юлчи.

— Здесь — только место для отдыха в летнюю пору. Главный наш участок — подальше к горам, отсюда больше часа езды. Там хлопковые поля. Работают на них батраки и поденщики. Эхе, ты еще ничего не знаешь! Хлопком особенно интересуется старший сын хозяина — Хаким-байбача. Он только тем и занят, что скупает его и в

Ташкенте, и в Фергане. Мне все их дела известны. Я же говорил вчера, что работаю здесь уже шестнадцать лет. В тот год, как я пришел сюда, бог послал мне дочь, а сейчас она уже невеста. Других детей у меня больше нет, а дочке дай бог долгой и счастливой жизни — будет кому поминальную свечу по мне зажечь...

«Не его ли это дочь?» — вспомнил Юлчи о девушке. Он налил в пиалу чаю и поставил перед Ярматом:

— Пейте. Вы сами ташкентский?

Ярмат приподнялся на локоть, отхлебнул два-три глотка чая.

— Я из-под Самарканда,— заговорил он.— Родился в кишлаке, рано остался сиротой. И чем только не занимался! Все ремесла пере-пробовал, кроме воровства. После нанялся в работники к одному самаркандскому баю. Он был другом вашего дяди. Когда дядя бывал в Самарканде, он обязательно заезжал к нам. Проработал я три-четыре года, и хозяйин мой — жизнь его оказалась короткой — умер. Все имущество осталось малым ребятам. Появилось и еще много разных наследников. Богатство — будто водой размыло. В эту пору вдруг приезжает теперешний мой хозяйин. На обратном пути он захватил и меня. Потому — знал мою честную работу... Да, жизнь течет быстрее, чем вода в арыке. Сколько лет прошло, а мне кажется, что все это было только вчера.

Юлчи внимательно слушал. Ярмат, опорожнив пиалу, продолжал:

— Мне известны все тайны этой семьи. И радость, и горе — все дело с ними. Я знаю и гостей их, и родню. Известно мне и состояние хозяйина. Дядя твой — большой богач. Особенно прибавилось у него богатства за последние пять-шесть лет. Такова, видно, воля аллаха: богатство, если оно приходит, то приходит, разливаясь рекой... Вот так, братец! Я — свой человек в этом доме. Я и отца вашего знал, раза два беседовал с ним, сегодня вспомнил.

— Вы, наверное, хорошую погодную плату получаете от хозяйина? — спросил Юлчи и выжидающе посмотрел на Ярмата.

Ярмат помолчал. Уставившись в землю, он некоторое время вертел в руках тыквенную табакерку, словно обдумывал ответ. Потом медленно заговорил:

— Ей-богу, я никогда не рядился и не просил чего-нибудь за свою службу. Заплатят по совести, думаю, и так живу. Зиму проводим в клетушке рядом с хозяином, а лето — под навесом, вон за тем садом. Иной раз попробуешь чего-нибудь из хозяйского котла, а то свой котелок кипятим. Хоть и не жирно, зато свое. Жена зиму и лето работает в хозяйской ичкари: стирает, убирает в доме, печет хлеб, стегает одеяла, вышивает в приданое для хозяйской дочери сюзаны, платки, ткет паласы. Э, разве может быть на свете чего-нибудь больше, чем работы. Так вот и живем день за днем. Есть так есть, а на нет — и спроса нет. Трудная жизнь настала, братец. Бывало, верблюжьи орешки по дороге валялись, а теперь и они — как лекарство для глаз, даром не найдешь. Мало ли сейчас таких, что, нуждаясь в куске хлеба, нищенствуют по улицам? Избави бог от этого...

Ярмат, заложив под язык щепоть наса, умолк. Юлчи отдыхал, опустив усталую голову.

Вдруг, нарушив безмолвие раскаленного воздуха, послышались звуки песни. Прелестью и свежестью весны повеяло от мелодии, от чистого и звонкого голоса певца. Юлчи даже зажмурился от удовольствия.

Песня долетела издалека, с байской половины. Чтобы не нарушить очарования, Юлчи ни о чем не спросил Ярмата. Весь отдавшись звукам, он плотнее закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Душа юноши, казалось, медленно таяла в песне, а нежный, ласкающий сердце голос как бы высасывал усталость из всех его жил...

Песня кончилась. Но через минуту взвилась снова. Тот же голос звенел уже иной мелодией, расцветал иными красками, горел иной страстью, еще более захватывающей душу...

Когда замерли в воздухе последние отзвуки и этой песни, Юлчи не вытерпел:

— Какой голос! В жизни не слышал такого! Это у дяди поют? Ярмат сплюнул табак, снисходительно улыбнулся:

— Да, у нас.

— Вчера певца не было слышно. Наверное, сегодня днем приехал?

Ярмат рассмеялся:

— Этот певец известен на весь свет. Голос его — единственный из единственных. Но сейчас его здесь нет.

— Как же так? — удивился Юлчи. — Если его нет, откуда песня?

— Верно, певца нет, а песня есть, — продолжал смеяться Ярмат. — Штуку такую граммофоном зовут, видал?

— Нет. А что это такое?

— Голос певца переводят на отдельные кружки вроде тарелочек. Положат потом такую тарелочку на машину, покрутят ушко. Тарелочка начнет вертеться быстро-быстро, и полюбуются песни, зазвонят дутары, тамбуры. Прямо как живой человек...

— Дурачите меня, думаете: кишлачный простак поверит, мол? — нахмурился Юлчи.

— Зачем мне тебя дурачить? Умом-мудростью можно всего добиться. Вот конку в городе раньше таскали лошади. А теперь конка без лошадей бегаёт. А почему — без лошадей? Все наука, мудрость. Так и граммофон. Он, должно быть, из Фарангистана появился. Недавно один знающий человек рассказывал: у них, говорит, по части всяких ремесел искусные мастера есть. Среди баев граммофон теперь модой стал. На пирушках поставят его посредине и наигрывают. Не веришь — вечером могу показать.

Вдруг послышался другой голос. Кто-то быстро-быстро говорил — то по-мужски басом, то по-женски тоненько, то, словно младенец, тянул: ынга, ынга...

Юлчи удивленно глянул на Ярмата.

— Это Абдулла, знаменитый комик. Сейчас он в граммофоне потешается, — пояснил Ярмат.

— Товба! — только и мог сказать Юлчи. Он взял кетмень и молча принялся за работу.

Ярмат собрал чайник, пиалы и, уходя, крикнул:

— Живой будешь — в Ташкенте еще и не таких чудес насмотришься, паренек!..

III

Гости с аппетитом съели мастерски приготовленное жаркое, выпили сверх того по большой кассе «кабульской» шурпы и сидели в беседке, тяжело отдуваясь. Когда Ярмат полил водой двор, гости перешли в тень карагача на просторную супу. Там, облокотившись на большие пуховые подушки, они расположились на шелковых одеялах, разостланных по краям мягкого красного ковра, и пили чай. Пили много и жадно, стараясь утолить жажду. Жара и переполненные желудки особенно томили толстяков. Среди восьми гостей непомерно тучными были двое: недавно разжившийся и так же быстро растолстевший владелец хлопкового завода Джамалбай и потомственный «бай-калян» — великий бай, скотовод Султанбек. Расположившись на противоположных сторонах супы, оба толстяка часто обменивались дружескими шутками, подсмеиваясь над своей полнотой.

Большинство гостей были людьми среднего возраста — от тридцати до сорока лет. Потягивая густой чай, они говорили о торговле, о женщинах, о банковских делах. «Гвоздем» беседы были анекдоты о скупости одного известного ташкентского бая: собравшиеся здесь, видимо, считали себя людьми щедрыми, чуть ли не равными легендарному Хатамтаю...

Из внутренней половины двора вышел Мирза-Каримбай.

— Всем ли довольны? Не скучаете ли? — любезно обратился он к гостям, присаживаясь на супу.

Из уважения к старику гости сделали попытку подобрать ноги и сесть, как того требовало приличие.

— Располагайтесь, располагайтесь свободно, как вам удобнее, — запротестовал бай. — В летнюю пору посидеть вольно за городом — самый лучший отдых...

Беседа расстроилась: анекдоты о скупом бае были исчерпаны, а говорить при старом человеке о женщинах было неприлично.

Султанбек, посапывая, начал дремать.

— Мулла Абдушукур, — обратился к одному из гостей Мирза-Каримбай, — расскажите, какие новости на свете. Давно не приходилось беседовать с вами.

Абдушукур — худощавый человек лет тридцати пяти, в очках, с сухощавым смуглым лицом и впалыми висками, с небольшими усами, настолько старательно закрученными, что тоненькие стрелки их чуть не касались ноздрей. Одет он по последней моде — в короткий камзол. Среди гостей Абдушукур был единственным, о ком можно было сказать: «В кошельке у него медный пятак, зато он поговорить мастак».

В предместье Ташкента Аския у отца Абдушукура был клочок земли. На этом клочке они всей семьей выращивали помидоры, редиску, лук, капусту, морковь. Старания главы семьи были направлены на

то, чтобы доставить свой товар на рынок по возможности раньше и продать его подороже. Абдушукур некоторое время помогал отцу, но впоследствии избрал себе другой путь. По окончании начальной духовной школы он перешел в медресе и поселился в одной из предназначенных для студентов каморок. Постоянно нуждаясь, он проучился четыре года. Потом влечение к духовным наукам у него остыло, карьера имама перестала его прельщать, и он, не закончив учения, ушел из медресе.

Мечта выехать для продолжения образования в Стамбул или Египет не была осуществлена из-за недостатка средств, и Абдушукур некоторое время оставался без дела. Потом с помощью своего дяди, слывшего «деловым человеком», он поступил писцом к одному баю и выехал с ним в город Токмак. Там перешел на службу к татарскому купцу и уехал в Казань. За три года жизни в Казани Абдушукур завел знакомства среди татарских купцов, дружил с купеческой молодежью, приобрел привычку читать газеты и журналы. Возвратившись в Ташкент, он стал выдавать себя за одного из «просвещенных» и «прогрессивных мыслящих» мусульман, высказывался за открытие так называемых новометодных школ. Полагая, что этим способствует «пробуждению нации», сочинял бесцветные, неглубокие по мысли и корявые по форме риторические стихи. Татарских религиозных деятелей Мусу Богиева и Ризаитдина Фахритдинова он считал великими учеными, а перед турецким литератором Ахмедом Мидхатом преклонялся и считал его гением и светочем знаний. Читать по-русски Абдушукур не умел, но объяснялся довольно бойко. Этому он научился еще в ту пору, когда вместе с отцом ходил в «новый город» продавать зелень.

Одни называли Абдушукура «законником» — адвокатом, другие «безбожником». В настоящее время он был приказчиком, другом и советчиком Джамалбая. В гости он приехал вместе со своим хозяином на пролетке.

Абдушукур вынул из нарядной коробки с надписью «Роза» папиросу, но, прежде чем закурить, постарался удовлетворить любопытство Мирзы-Каримбая:

— Таксыр! На свете много интересного. Обо всем, что происходит в мире, ежедневно сообщают газеты.

Путая последние известия со старыми, Абдушукур сообщил несколько интересных, на его взгляд, фактов. Когда он заговорил о войне на Балканах, Мирза-Каримбай, любивший слушать рассказы о войнах и сражениях, сейчас же перебил его:

— Какое царство с каким воевало?

Абдушукур в душе пожалел этого богатого мусульманина, ничего не знающего о таком важном событии, однако не подал виду и терпеливо рассказал, какие государства воевали и каков был конец войны.

— Царство Булгарское и еще как... Юнан, говорите? Какие трудные названия! — заметил один купец.

Абдушукур продолжал:

— Халиф всего мусульманского мира, его святейшество султан

Турции оказался одиноким в этой войне, войска их святейшества потерпели жестокое поражение. Эти поистине трагические события, уронившие престиж ислама, произошли только вследствие разобщенности мусульман и отсутствия согласия между ними. Если мы, мусульмане, не высвободимся из тины невежества, не встанем на путь прогресса, не укрепим взаимного согласия, то в ближайшее время христиане доберутся и до наших святых мест. Они не остановятся даже перед тем, чтобы взять под обстрел из своих пушек святыни Мекки и Медины.

— Предрешать что-либо заранее — ошибочно, Абдушукур, — внушительно возразил Мирза-Каримбай. — Все, что ни совершается — совершается по воле аллаха.

Тоненьким женским голоском в разговор вмешался мануфактурист Халыкбай — невзрачный, немощный на вид человек:

— Вы, Абдушукур, из тех, кто умеет отличить белое от черного. Только и вам не следует забывать, что милостью аллаха нога кяфира никогда не может приблизиться к святыне Каабы, а не то чтобы захватить ее или взять под прицел из пушек! Ведь каждому правоверному мусульманину известно — там священная могила Мухаммеда-Алайхи-саляма! А сколько там покоится великих святых! Это место охраняет сам аллах. Я простой человек, но даже и я понимаю — говорить надо о том, что мыслимо и возможно.

— Разве может попасть пушка в дом божий?! — присоединился к разговору торговец фарфоровой посудой Таджихан-байбача. — В прошлом году возвратился из паломничества по святым местам мой дядя. По словам этого почтенного человека, через могилу пророка даже голуби не смеют перелетать. Подлетят, поклонятся и облетают стороной.

— Великий грех сомневаться в милости и покровительстве всемогущего аллаха, — пробормотал Мирза-Каримбай.

Медленно шевеля толстыми, мясистыми губами, заговорил Султанбек:

— Сказать по правде, в наше время много всякого болтают. Но во всей этой болтовне ни смысла, ни смака. Только голова болит. Отчего это — не знаю. Может, наступили последние времена и уже явились Вэ-джудж и Ме-джудж! — Султанбек окинул взглядом присутствующих, раздумчиво поковырял в носу и, преодолевая одышку, продолжал: — Появилось много всяких молокососов, — он бросил насмешливый взгляд в сторону Абдушукура. — Вот Абдушукур их хорошо знает. Эти молокососы на каждом шагу лезут со своими вздорными советами. Недавно сию я со своими приятелями. Разговор зашел о тоях. Я рассказал о своем намерении устроить осенью этого года той по случаю обрезания сына. Друзья надавали мне много хороших советов. Однако в нашем квартале завелся один блудливый козел. Тоже постоянно читает газеты. И что бы вы думали этот ублюдок сказал? «Султанбек-ака, говорит, вы, согласно шарияту, устройте мавлюд-той. Чтобы это послужило примером всему народу. А я потом напишу в газету, мол, такой богатый и всеми уважаемый человек, как Султанбек, обрезание сына сопроводил

устройством мавлюд-тоя». — «А что это за той, братец?» — спрашиваю его. А он: «Пригласите, говорит, два-три десятка людей, попросите прочесть мавлюд — молитву, которая читается в день рождения пророка. Это и будет той по шарияту...» Меня даже в жар бросило от его слов. «Я не поминки, говорю, собираюсь справлять, а той! Той в честь сына! Три кобылицы, говорю, и двадцать одного барана зарежу! С барабанным боем, с карнаями три дня пировать буду. Отцы-деды мои, говорю, задавали пиры по неделям!..» Так вот, зачем эти молоко-сосы вмешиваются в чужие дела? Читай себе газету, если есть охота. А когда мне вздумается устроить большой той — не мешай. Я сделаю это ради своего собственного сына, буду расходовать свои собственные деньги. У меня свои привычки, свои желания. Да и как этот молокосос, даже не нюхавший пыли во дворе медресе, стал вдруг знатоком шарията? Если по шарияту положено устраивать мавлюд-той, то почему об этом ничего не говорят наши улемы. И еще меня огорчает то, что им верят даже некоторые из наших баев и молодых купцов. Вот сын Азимаходжи — Турсун-байбача — тоже хлопчет об открытии новой школы. Недавно приходит к нам и давай меня обхаживать. «Один сын у меня учится в кары-хана — в начальной духовной школе, — говорю ему, — другого я отдал в русскую школу на Хадре. Все. Довольно!»

Султанбек, утомившись от такой длинной речи, тяжело облокачился на подушку и принялся вытирать пот с толстой красной шеи и с круглого, как точильный камень, лица.

— Для наших сыновей довольно и школы на Хадре. Какая же еще школа нужна?.. — поддержал Султанбека один из купцов.

У Абдушукура так и чесался язык вязаться в спор. Он уже приготовился было дать обстоятельное разъяснение насчет устройства тоев по-новому, высказаться по поводу улемов, шарията и школ, но тут в разговор вступил Хаким-байбача.

Старший сын Мирзы-Каримбая говорил спокойно, рассудительно. Он не стал возражать против новых школ, но высказал пожелание, чтобы в этих школах было уделено побольше времени изучению «благородного корана». О тоях же байбача сказал так:

— Шариятом, слышали мы, расточительность не одобряется. Однако пока от улемов нет прямых указаний насчет тоев, придавать какое-либо значение разговорам молодежи не следует. Блюстителями шарията являются отцы народа, и только они. Молодым следует выбросить из употребления слова «прогрессист», «консерватор», в деле просвещения народа надо идти рука об руку с нашими улемами и сохранять перед ними необходимую почтительность. Вмешиваться в дела шарията, помню улемов, значит вносить раскол в народ, разрушать устои ислама. Последствия от этого могут быть только самые дурные. — Хаким-байбача обернулся к Абдушукуру: — Никогда не задевайте в спорах наших улемов, Абдушукур!

Абдушукур собрался было выступить с целой проповедью, но теперь счел за лучшее промолчать. Он лишь улыбнулся в ответ и кивком головы выразил согласие со словами Хакима.

Минутное молчание нарушил Салим-байбача.

— Не мало грехов водится и за нашими улемами,— сказал он, взглянув на брата.— Вместо того чтобы бороться с ересью, они потворствуют ей. Не запрещают расточительности в расходах на тои и пиршества, а, наоборот, сами любят ходить с тоя на той и щеголять шелковыми и парчовыми халатами. Молодежь говорит: «Деньги, которые наши баи тратят на тои, лучше пустить в торговлю, передать на устройство театров». И правильно! Улемы всех, кто читает газеты, называют «кяфирами», но это же просто невежество.

Гости мало придали значения словам Салима, но все заметили, что Мирза-Каримбай нахмурился и опустил голову, явно недовольный сыном.

— Брат наш Салим,— сказал Хаким-байбача,— болтает все, что ни придет в голову. Товарищи его из этих самых молокососов.

Салим промолчал. Он сидел, небрежно играя золотой цепочкой своих часов.

— А что это такое — театр? Цирк, что ли? — спросил Абдушукура чаеоторговец Садриддин.

— Нет, это совсем не то, Садриддин-ака! — охотно пояснил Абдушукур.— Если вы хоть раз побываете, то поймете, что это настоящая школа!

— Видел я театр,— пыхтя и отдуваясь, заговорил хлопковик Джамалбай.— Абдушукур уговорил меня, и я пошел... Вы называете это школой, Абдушукур! А что это за школа? Где там учителя, ученики? Показали, как какой-то неграмотный мальчишка стал босяком, и все?

— Может быть, не школа, а показ поучительных примеров,— заметил кто-то.

— По-моему, ни то, ни другое,— продолжал Джамалбай.— И, если говорить правду, цирк во много раз интереснее. У них для меня только всего и интереса было — посмотрел игру Абдушукура. Я его и не узнал вовсе. Нарядился в пестрый халат, прицепил длинную бороду, то ли имама, то ли ишана представлял. И что главное — даже голос изменил... У кого он только научился так ловко изменять голос? Ну, будто совсем другой человек! А вообще я чуть не умер от скуки, пока досмотрел до конца. Одни только разговоры. Нет, один раз побывал — и довольно. Теперь они и тени моей около своего театра не увидят.

Джамалбай оглядел всех и зычно рассмеялся.

— Человек за свою жизнь всего насмотрится,— задумчиво почесывая лоб, заметил Мирза-Каримбай.— Раньше в дни праздника показывали кукольные представления, были «палатки фантазии». Теперь, выходит, только названия увеселениям переменяли.

— Наш театр еще молодой, нет умелых, опытных артистов,— начал объяснять Абдушукур.— Вот в культурных странах, говорят, театры на большой высоте. И там, слышно, умеют ценить их. Недавно мне случилось беседовать с одним русским адвокатом. Когда он рассказал о театрах в Москве и Петербурге, я рот разинул.

— Там другое дело,— заметил Хаким-байбача.— В Петербурге дворец белого царя, и там к месту быть всяким удивительным вещам.

— Неужели и царь посещает театры? — спросил кто-то Абдушукура.

— Конечно, посещает.

— Эх-ха!.. — воскликнули одновременно несколько гостей, выражая этим свое крайнее удивление.

Абдушукур принялся было расхваливать дворцовые театры, которых он даже во сне не видал, но в это время Ярмат расстелил дастархан и объявил, что готов нарын. Гости поднялись и, разминая занемевшие от долгого сидения ноги, разошлись — кто руки мыть, кто по другим надобностям.

IV

Юлчи собрался грузить на арбу сваленный в углу конюшни навоз, чтобы отвезти его на хлопковый участок. Прошло уже три недели с тех пор, как юноша пришел в поместье Мирзы-Каримбая. Все время он исправно выполнял приказания дяди, выказывал не только старание, но и умение во всякой работе. Теперь бай предложил ему отправиться на главный участок — на обработку хлопковых полей.

Юлчи вынес первый мешок навоза и уже собирался свалить его на арбу, но Ярмат остановил юношу, крикнув издали:

— Сегодня на участок не поедем!

— Почему?

— Арба понадобилась. Жена вашего дяди вместе с невестками собралась к сватам на родину.

— А дядя сердиться не будет?

— Ответ за это пусть держит сама хозяйка. Что ж, пусть прогуляются и бедняжки женщины. А мы поедем завтра.

Юлчи поставил мешок у стены конюшни и присел на небольшой супе у ворот. Ярмат принялся приводить в порядок арбу: вылил на нее не менее десятка ведер воды, тщательно обмел веником. Приготовив арбу, он взялся за лошадь: надел сбрую, украшенную блестящими бляхами, вплел в гриву красные ленты, запряг, обошел вокруг, проверил, все ли на месте, красиво ли, подправил кое-где упряжь, потом застелил арбу толстой кошмой, а поверх разостлал одеяло. Все движения Ярмата свидетельствовали о желании устроить женщин как можно лучше и удобнее. Он очень любил возить по гостям хозяйских жен и детей, обставляя поездки пышно и гордился тем, что это дело поручалось ему. Вот и сейчас видно было, что он рад случаю, хотя радость свою старался не показывать перед новым работником и даже хмурил брови. Юлчи посмеивался, наблюдая за этим большим ребенком.

Когда арба была готова, Ярмат с озабоченным видом побежал за сарай. Через минуту он показался с маленькой лесенкой, старательно приставил ее к задку арбы и, заложив руки за спину, застыл в ожидании.

Женщины, как всегда, замешкались. Наконец они показались в калитке. Первой, пытая и отдуваясь, бормоча на каждой ступеньке лесенки неизменное «бисмилла», взобралась и уселась на арбу одетая

в дорогую шелковую паранджу жена Мирзы-Каримбая; за ней, одна — в синей, другая — в голубой бархатной парандже, уселись обе невестки — жены Хакима и Салима. Двор наполнился щебетом и восклицаниями женщин, капризными голосами ребятишек.

Юлчи по одному поднял ребят, усадил их между женщинами. Ярмат вынес из внутренней половины двора несколько корзин фруктов, сдобных лепешек и завернутое в скатерть большое медное блюдо с готовым пловом, распространявшим аппетитный запах.

Арба была заполнена до отказа. Ярмат еще раз осмотрел ее со всех сторон, затем проворно вскочил на лошадь. Сидел он точно мальчишка, которому впервые доверили быть арбакешем, — важно, избоченившись и задрал нос.

— Чу! — Ярмат ударил по лошади плеткой и, не оборачиваясь, крикнул Юлчи: — Эй, джигит! Закончишь вчерашнюю прополку!

Прежде чем приняться за прополку, Юлчи вышел на гузар побрить голову. Старик парикмахер, расположившийся у чайханы по правой стороне улицы, усадил его на скрипучий, готовый развалиться табурет, обернул шею заскорузлым от грязи полотенцем и, сбрызнув голову арычной водой, принялся растирать ее сухими костлявыми пальцами. Растирал он долго. Вокруг роем гудели мухи. Они липли к ногам, к лицу, лезли к нос, в уши. Юноша еле дождался окончания бритья. Поднявшись с табурета, он с облегчением вздохнул.

Опустив в сложенную горсть руку старика полтеньги, Юлчи уже хотел вернуться на байский двор, как вдруг заметил груженную дынями арбу, остановившуюся перед горбатым мостом через арык. Мост был выложен толстыми корявыми дрючками. Дехканин толкал арбу, упираясь плечом в ступицу, понукал коня, но все старания его были напрасны — конь не двигался с места. Юлчи поспешил на помощь. Положение, однако, не изменилось: старый и очень худой конь, опустив голову, только беспомощно поглядывал на людей гноящимися глазами. Арба тоже была ветхая, чиненая-перечиненая, с кусками шин на ободьях, с разболтанными потрескавшимися спицами, скрепленными проволокой и полосками жести.

Юлчи покачал головой.

— Дехкан-ака, осторожнее, — предупредил он, — арба ваша ненадежная...

— Знаю, братец, — согласился дехканин, — но что поделаешь! В город надо.

Юлчи передал повод какому-то мальчишке, а сам прошел ко второму колесу.

— Взяли, дехкан-ака! — подал он сигнал дехканину и, налегши на ступицу, крикнул: — Чу-э, животина!

Конь рванулся из последних сил и вскарабкался на мост. Но тут что-то хрястнуло, и арба осела. Конь остановился. Из-под арбы послышался жалобный голос дехканина:

— Плохо дело, ось сломалась...

Весь в пыли, дехканин вылез из-под арбы, поправил опустившийся на глаза колпак, полой халата вытер пот с морщинистого лба. В его глубоко запавших глазах Юлчи увидел безысходное

горе. По лицу, скуластому, обожженному солнцем, катились капли, и не разобрать было — пот это или слезы.

— Не горюйте, братец! — похлопал Юлчи дехканина по плечу. — Не беда: арбы ломаются и чинятся.

— Были бы лошадь и арба свои, с кручи свались — не страшно. Чужое все, братец. Своего тягла нет у меня. Дыни вот поспели, гнить начали... У соседа на день попросил арбу с конем. Думал хоть несколько десятков сvezти на базар и ребятам из одежды купить кое-что — совсем голые ходят. Эх... Несчастье, видно, по пятам за мной ходит!

Собрался народ: кто жалел, а кто просто так глазел. Подоспел и лавочник гузара, шустрый паренек лет семнадцати. Он быстро и жадно оглядел дыни.

— Ну, дехкан-ака, попробуем сторговаться? Давайте руку... Конь ваш — под хвост загляни, насквозь светится, звезды видно. Да и арба времен Алми-сака, к тому же поломалась. До города вам теперь не добраться. Сколько вам дать за дыни?

Продолжая бойко тараторить, лавочник схватил руку дехканина. Тот, расстроенный, придавленный несчастьем, некоторое время молча смотрел на арбу, на дыни. Потом тяжело вздохнул и тихо проговорил:

— Четырнадцать рублей дадите...

— Четырнадцать рублей? Э-э, вы что, только проснулись, видно? Так расскажите ваш сон воде¹.

— В городе слова не скажут, за восемнадцать возьмут. Выхода нет, потому только и сказал. Взгляни на дыни — каждая с верблюжьей головой! Самые отборные!

— До города вам не добраться, — грубо напомнил лавочник. — А дыни — вижу. Так себе — средние. Хорошими окажутся — народ будет есть и вас же благословлять. Не для себя беру. И потом, кто его знает — на одной грядке разные дыни успевают. Я хоть и не дехканин, а понимаю... Три целковых дам...

— За восемьдесят дынь?! Три рубля! — дехканин даже отвернулся.

— Будьте же справедливы, баккал-ака! — крикнул Юлчи.

Его поддержали и другие:

— Верно, надо по совести!

Лавочник сделал вид, что ничего не слышит, и продолжал гнуть свое:

— Я о вашей же пользе думаю. Арба-то чужая, видно? А я дыни свалю здесь же. Вон там кузница Ташпулата. Знаете, наверное? Он большой мастер в починке арб. Получите за дыни деньги — почините арбу. У хозяина не будет причины обижаться на вас. Да вы ему можете и не говорить, чтоб при случае не укорил.

Оказавшись в безвыходном положении, дехканин понемногу сбавлял цену и дошел до семи рублей. Из опасения, что может подойти какой-нибудь конкурент, лавочник тоже начал набавлять по

¹ Рассказывать сон воде — переносное: рассказывать небывицы. По примете, если утром хороший сон рассказать воде — он исполнится.

теньге. Заговорив дехканина до изнеможения, он в конце концов вынудил его согласиться на четыре с половиной рубля.

Даже занявшись прополкой, Юлчи долго не мог успокоиться. Он взмахивал кетменем, но мысли его были заняты дехканином. «Как чудно устроен свет! — думал юноша. — В любом месте у дехкан дела нескладны. Земля есть — тягла нет, тягло есть — земли нет. А у многих — ни того, ни другого. Вот, к примеру, я... Да теперь куда ни глянь — везде такие. Взять хотя бы этого дехканина. Сколько он трудов, сколько забот вложил! И не один, вместе со всей семьей трудился. А добро все равно что по воде пустил. Хуже еще: все досталось этой лисе — лавочнику... Ну и бессовестный! Такого мошенника я еще не встречал... Что теперь дехканин скажет семье, детям? Спросят о покупках! И вот вместо тоя — поминки, как говорят!..»

Юлчи вспомнил о своей семье. «Уходил я — в доме пусто было: ни горстки муки, ни ложки сала. Чем они живут там?.. Осенью возьму у дяди денег и пошлю им, — решил Юлчи. — Только он прижимист, похоже. Не пожадничал бы, не обманул бы...»

Покончив с прополкой, Юлчи прошел во двор и прилег на супу. Десятилетний сынишка Хакима-байбачи, Рафик, вынес ему лепешки. Какая-то женщина, скрывая лицо, протянула в калитку из внутренней половины двора чайник чаю. Юлчи догадался, что это дочь дяди.

Юноша встал и принялся за чай. К нему подсел Рафик. Мальчик был оставлен дома как самый старший и очень скучал. Чтобы развлечь его, Юлчи срезал молодую ветку тала, сделал маленький свисток:

— На, попробуй! Свисток получше, чем у миршаба.

Рафик поднес свисток к губам, подул в него. Раздался резкий свист. Мальчик даже рассмеялся от удовольствия.

Юлчи нашел толстый камыш, вырезал из середины длинный, побольше четверти, кусок, вычистил его внутри, проделал несколько дырочек.

— А это тебе свирель, — сказал он, протягивая игрушку Рафику.

Свирель тоже играла хорошо, но скоро сломалась. Мальчик похвастался:

— У меня дома есть настоящая свирель!

— Правда? А ну, покажи.

Рафик побежал в ичкари и через минуту возвратился со свирелью.

Свирель была действительно настоящая — тонкой работы, отделана серебром.

— Это тебе отец купил? Дброгая, наверное? — спросил Юлчи.

— Нет. Один раз к нам пришло мно-о-го музыкантов. Весь вечер тут играли. Один из них и подарил мне эту свирель. А играть я не умею. Дедушка запрещает: «Ты что, говорит, музыкантом собираешься быть?»

Юлчи улыбнулся.

— А-а... Сыграть, что ли? — предложил он.

— А вы умеете?

— Немножко.

Юлчи приложил свирель к губам. В чистом, прозрачном воздухе заколыхались волны нежных звуков, и, казалось, все вокруг вдруг ожило, заулыбалось.

Глаза Рафика широко раскрылись: «Как хорошо играет этот батрак!»

Юлчи и в самом деле играл неплохо. Еще в детстве, когда ему пришлось пасти кишлачное стадо, он хорошо научился делать свирели и из степного камыша, и из разных пород горных деревьев. За игрой он коротал время и в бескрайних степях, и в горах, опустившись на корточки, либо прилегши где-нибудь под скалой или на берегу ручья. Затем он подучился немного этому искусству у своего однокишлачника. Тот когда-то был хорошим флейтистом, но потом ослеп и сидел безвыходно дома.

Юлчи закончил песенку и, улыбаясь, посмотрел на Рафика: ну как, мол, хорошо? В это время из ичкари неожиданно раздался голос девушки:

— Рафик, кто это играл?

— Юлчи-ака...

— А-а?! Нет, правда?

— Правда. Посмотрите: кроме нас, тут никого нет.

Из калитки показалась голова девушки и сразу же скрылась. Немного погодя девушка заискивающе-ласково попросила:

— Скажи, пусть еще сыграет...

Юлчи помедлил, затрудняясь в выборе, потом сыграл еще одну кишлачную мелодию и вернул свирель мальчику. Подложив руки под голову, он устало растянулся на супе.

Со времени прихода в поместье дяди Юлчи ни разу не выспался как следует. Каждый день он вставал на работу до рассвета и кончал только с наступлением темноты. Вот и сейчас — только юноша закрыл в дремоте глаза, как откуда-то издали послышался крик той же девушки:

— Эй, в саду прорвалась вода! Бегите скорей, запрудить надо!

— Сейчас, сейчас... — Юлчи вскочил и, схватив кетмень, побежал.

— Рафик, посиди на супе! Чтобы не утащил чего кто-нибудь из прохожих! — услышал он голос девушки, когда подбегал к садовой калитке.

Юлчи обошел сад, осмотрел запруды арыков, но нигде не заметил даже признака прорыва воды. Крайне удивленный, он еще ходил, осматриваясь, по саду, когда в винограднике что-то зашуршало и вслед, откуда-то неподалеку, послышался дрожащий смехом, возбужденный голос девушки:

— Да вон же, под персиком!

— Ах, это? — рассмеялся Юлчи. — Ничего. Это не страшно, сестрица. Она чуть журчит.

Юлчи повернул к выходу из сада и неожиданно увидел девушку: та стояла под высоким сводом виноградника, прислонившись к

подпорке. Юноша покраснел от смущения и, стараясь не смотреть в ту сторону, ускорил шаг.

— Куда же вы убегаете, Юлчи-ака? Разве вам не скучно одному?

Сердце Юлчи сильно забилось. Он нерешительно остановился, не смея оглянуться.

— Вот, возьмите винограду... Совсем спелый... Не обижайте отказом,— сказала девушка и залилась таким озорным смехом, от которого затрепетало бы сердце любого джигита...

Юлчи не верил своим ушам. Опасливо оглянувшись вокруг, он с беспокойством подумал: «Вот так девушка?! Где же стыд у нее? Это в самом деле дочь дяди или другая какая?.. Тавба!» И все-таки повернулся, точно был вынужден подчиниться непонятной ему, но неотвратимой силе, и пошел на зов, медленно передвигая непослушные ноги.

На вид девушка лет семнадцать-восемнадцать. Она была среднего роста, с полной грудью. Несколько широковатое смуглое лицо и чуть приплюснутый нос не только не нарушали общего впечатления милости, но, казалось, даже красили девушку. Маленькие карие глаза, опущенные длинными черными ресницами, горели каким-то странным, немного пугающим огнем скрытой своевольной страсти. На ней — шитое в сборку платье из белого шелка. Рукава платья засучены до локтей; на тонких кистях упругих рук сияли два золотых браслета со зменными головками. Две толстых иссиня-черных косы падали на грудь, стекали до самого пояса. Пробивавшиеся через листья виноградника лучи солнца играли на шелковом платье, вплетались в косы, жгуче переливались на браслетах.

Юлчи подошел к девушке, запросто, по-кишлячному вытер концом рукава вспотевший лоб, краснея до ушей, взял из ее рук кисть черного спелого винограда. Ради приличия он бросил в рот одну-две виноградинки и стоял, не находя слов и не смея поднять глаз.

Чтобы ободрить его, девушка торопливо справилась о здоровье своей «кишлячной тетюшки», засыпала его вопросами, что он делал в кишляке? Понравилось ли ему здесь? Надолго ли он решил остаться в их доме?

Юлчи, не поднимая глаз, отвечал коротко и часто невпопад. В голове юноши возникала все время одна и та же мысль: «Какая она озорная!» Понемногу в душу этого простого, стыдливого кишлячного парня закрался страх. Ему казалось, что из-за каждого дерева за ними наблюдают тайком, подстерегают каждое их движение. Он повернулся, чтобы уйти, но девушка тихонько взяла его за руку, затем вдруг приподнялась на цыпочки и поцеловала в губы...

Юлчи отшатнулся, пугаясь пробежавшего по всему телу трепета. Чужим хриловатым голосом проговорил:

— Довольно, сестрица! Мне работать надо... Да и нехорошо это... — и заспешил к выходу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

В характере дочери Мирзы-Каримбая — Нуринисы — преобладали, уживаясь между собой, легкомыслие и коварство. «Шумливая что мешок с орехами, веселая девушка», — говорили о ней женщины, мало с ней знакомые. Однако близко знавшие Нури были другого мнения и остерегались ее. Богатство отца и баловство со стороны вздорной, спесивой матери развили в девушке гордость, высокомерие и своеволие. Если при отце и братьях Нури еще сдерживалась, то в их отсутствие она почитала себя «старшей в доме», капризничала, ссорилась по всякому поводу и вступала в пререкания не только с невестками, но и с матерью. Неудержимая веселость часто сменялась у нее столь же необузданным гневом.

Нури любила наряды и украшения. У нее были целые шкатулки золотых венцов, золотых и серебряных серег, колец, браслетов, подвесок для кос, треугольных медальонов для талисманов. Два раза в год в дни годовых праздников Нури, расфранченная, надевала все эти украшения, чуть ли не с пуд весом, и красовалась в них на смотринах невест, удивляя и вызывая зависть девушек из менее зажиточных семей.

Лутфиниса, обожавшая дочь, все недостатки Нури принимала за ее достоинства и старалась как можно больше урвать от богатства мужа на приданое своей любимице — «младшенькой». Мечтая выдать ее замуж с подобающей их положению пышностью и великолепием, она уже много лет собирала для дочери редкие украшения, заказывала мастерицам дорогие платья. Сундуки Нури были переполнены десятками дорогих сюзане, расшитых подстилок, простыней, поясных платков и другим добром, которого хватило бы на убранство трех-четырёх комнат, но Лутфинисе и ее дочери все казалось мало.

Все чувства и мысли Нури были заняты замужеством. Вот уже два-три года она только и мечтает о свадьбе. В ичкари между женщинами идут об этом бесконечные разговоры, точно свадебный той должен состояться не сегодня завтра. Невестки чуть не каждый день сообщали Нури радостную новость: «Атабай человека подослал. Хочет сватать вас за младшего сына». Или: «От Мусабековых скоро сваты придут. Жених, говорят, настоящий красавец!..» Нури обычно делала вид, что все это ее мало интересует, и отвечала: «Я рада подольше оставаться под материнским крылом. Со свадьбой можно и не спешить». Однако сердце ее готово было разорваться от радости. Ей уже чудились звуки карнаев, сурнаев, смех женщин на веселых «тартышмачак»; ночами она подолгу мечтала, рисуя заманчивые картины будущего. Но радостная весть не оправдывалась, женихи, несмотря на богатство Мирзы-Каримбая, почему-то не сватались, и через несколько дней невестки принимались нашептывать уже о каком-нибудь другом «красавце байбаче»...

Мирза-Каримбай тоже любил дочь, но, как истый мусульманин, не показывал этого и говорил с ней мало. Поручая что-нибудь, ска-

жет иногда: «Верблюжонок мой, сделай то-то и то-то», и только. Бай хорошо знал: долг каждого правоверного — выдать дочь в тринадцать-четырнадцать лет, и сердце его последнее время часто омрачалось заботой: Нури пошел уже восемнадцатый год. Однако неудачное замужество старшей дочери заставляло Мирзу-Каримбая быть осмотрительным и разборчивым; он считал, что жених должен быть из богатой, уважаемой семьи и в то же время отличаться умом, деловитостью, хорошим воспитанием. Часто случалось так, что жених приходился по душе ему, но казался неподходящим Хакиму и Салиму, а в женихе, по нравившимся сыновьям, находил какой-нибудь недостаток сам Мирза-Каримбай.

У Нури была страсть — подсматривать за гостями и друзьями братьев и вообще молодыми людьми через дувал ичкари, в щелку калитки или откуда-нибудь из-за деревьев. Много раз ей удавалось наблюдать и за Юлчи, после того как он появился в поместье. В сердце девушки вспыхнуло непреодолимое влечение к этому рослому, стройному юноше, она решила повидаться с ним тайно и выжидала удобного случая. Случай такой наконец представился, и Нури, оставшись дома одна, мастерски сумела добиться исполнения своего желания.

Со дня встречи в саду, в винограднике, когда она бросилась на грудь Юлчи и сорвала с губ юноши вынужденный поцелуй, Нури не переставала думать об этом простом и стыдливом парне — сыне забытой кишлачной тетки. Повторить свидание ей не удалось — наутро Юлчи отправили на главный участок, и вот уже две недели Нури грустит: вернется Юлчи не скоро, а самой поехать на главный участок нельзя.

Однажды она решилась даже заговорить о нем с матерью:

— Айи, сына бедной тетки заставили жить вместе с поденщиками, с бездомными бродягами. У отца совсем нет жалости. Своего родственника он мог бы оставить работать и здесь...

Мать, не подозревавшая об истинных чувствах дочери, равнодушно ответила:

— Такую родню, дитя мое, лучше держать подальше. Чем он лучше других? Пришел работать и пусть работает. Отцу лучше знать, где кого поставить.

Между тем Юлчи очень быстро освоился на новом месте. С батраками и поденщиками он сошелся с первого же дня пребывания на главном участке и понравился всем своей простотой, сдержанностью в разговоре, рассудительностью, силой и независимостью в отношениях с Ярматом.

С Ярматом рабочие не ладили. Он, правда, жил с ними вместе, питался с ними из одного котла и средства к жизни, как и они, добывал своим трудом, но, считая себя доверенным хозяина, подчас обращался с батраками грубо, и к нему относились, как к чужаку. В глаза не противоречили, но за спиной подсмеивались над ним, даже поругивали: «Хозяйский дворняжка! И чего он так нос задирает?..»

Юлчи вместе с другими вставал на работу с рассветом. Закусив

в полдень, они снова шли в поле и работали дотемна. А иной раз, когда наступало время полива, не было покоя и ночью: воду приходилось гнать издалека. Юлчи иногда сам, а иногда прихватив кого-нибудь на помощь, пригонял воду на участок, понутно исправляя множество запруд.

Вода никогда не приходила спокойно. На ее пути возникали ссоры, ругань, драки. Даже самые тихие и обычно кроткие люди, если возникал спор из-за воды, нередко прибегали к помощи кулаков и кетменей.

Юлчи не любил этих ссор. Однажды он уступил очередь какому-то дехканину, согласившись, что сам польет попозже. За это Ярмат обозвал его при всех простаком и разиней.

— Джигит,— говорил он,— должен быть отчаянным и настойчивым: упал, землю зубами грызи, но поднимись. А это что — отдать другому кусок из собственного рта?! Уступить воду человеку, засеявшему редькой клочок земли с циновку!.. Эх-е! Знаешь, сколько денег вложено в наш хлопок! Это понимать надо.

— Дехканин — седой старик, бедняк. У него ничего нет, кроме клочка посева,— спокойно возразил Юлчи.— Он уже две недели не может добиться воды. Сколько крови испортил, бедняга. Я и уступил ему очередь и получил от него благословение.

— Молодец! Очень хорошо! — насмешливо прищурился Ярмат.— Не гонись, говорят, за золотом, гонись за благословением. Но можно ли из-за благословения наносить вред хозяину?

— Какая беда, если мы польем немного позже? — нахмурился Юлчи.— Никакой!.. А у этого бедняги мог погореть посев. Человек со всей семьей ждет не дождется урожая. Не уродится — они голодными, раздетыми останутся. Нам воды хватит, а дехкане нуждаются в ней, очень нуждаются.

Ярмат, однако, не сдавался.

— Мы прежде всего обязаны думать о выгоде нашего благодетеля,— настаивал он.— Воды сейчас мало, и лучше полить пораньше.

Юлчи ничего не ответил, хмуро отвернулся.

Тут, видимо, не стерпев, в разговор вмешался поденщик-кашгарец Алиахун. Сплюнув только что заложенный нас, он гневно сказал Ярмату:

— А вас, видно, крепко настроил хозяин. Вода — дар божий! И весь народ должен пользоваться ею поровну. По-моему, байский хлопок поливается даже с излишком.

— Молодец, Алиахун! Пусть покарает меня святой Аппакходжи, если в словах твоих есть хоть доля неправды! — поддержал Алиахуна другой поденщик.

Упрямый Ярмат, однако, не сдавался и продолжал ворчать. Батрак Шакасым, сидевший до этого молча, понуро опустив голову, вдруг выпрямился и, глядя в упор на Ярмата, заговорил дрожащим голосом:

— Что вы так тревожитесь за хозяина? Мирза-Каримбай никогда от нас в убытке не был! Хлопка мы с каждым годом даем

все больше, доходы от него растут тоже. Иначе бай не размахнулся бы так с посевом. Вон слава о Хакиме-байбаче разнеслась по всему свету, а почему? Если говорить по совести, Ярмат-ака, слава его растет на несчастье таких вот батраков, как мы. Сами знаете, уже четыре года, как я здесь. Покоя не ведаю, головы от работы не поднимаю. И все-таки вместо одного халата у меня не стало два. До сих пор зимой и летом я таскаю одни и те же чарики. Вот жена моя слегла, головы не может поднять с подушки. А в кармане у меня нет и медного гроша, чтобы покормить беднягу чем-нибудь вкусным. Конечно, хозяин даст, но в долг... А мы уже испытали это: чем к хозяину в долги залезать, лучше с лютой бедой повстречаться... Прежде чем корить, надо и об этом подумать, Ярмат-ака!

Шакасым отряхнул полы халата, вскинул на плечо кетмень и, не оглядываясь, зашагал к своему шалашу на противоположную сторону байского поля.

Батраки и поденщики молчали. Сказанное Шакасымом разбередило в душе каждого из них старую, наболевшую рану.

Ярмат минуту-две глядел вслед ушедшему. Видно было, что слова Шакасыма и у него вызвали невеселое раздумье.

— И все-таки стенать и вопить — нехорошо, — проговорил он так, словно отвечал на собственные мысли. — Каждый смертный должен терпеливо переносить все, что предназначено ему свыше. Так создан мир...

Эта привычная формула как бы вернула Ярмата к действительности. Он потянулся к табакерке и уже обычным своим покровительственным тоном сказал:

— Юлчи, поторопись, братец, с водой!

II

Лето шло на убыль, по утрам все прохладней становился воздух, но в полуденную пору солнце еще жгло так яростно, точно на головы людей с неба лились потоки белого пламени.

В один из таких ясных, жарких дней Ярмат, обычно ведавший приготовлением пищи, несколько запоздал. Солнце уже подкатилось к самому зениту, а сигнала на отдых все не было. Юлчи, голый до пояса, с обмотанной платком головой, упорно продолжал взмахивать кетменем, но Алиахун, работавший рядом, не выдержал; он тяжело перевел дух и, стирая пот со своего широкого, кофейного цвета лица, проговорил:

— Нет больше сил, Юлчи-палван! И в брюхе пусто. Ярмат твой, муж блудницы, видно, уморить нас хочет.

— Время еще не подошло, Ахун.

— Нет, прошло уже. Брюхо мое, что хорошие часы, правильно показывает.

Проработав еще с полчаса, Юлчи с Алиахуном вскинули на плечи кетмени и направились к стану.

В верхнем конце байского участка была довольно высокая насыпная площадка, обсаженная джидой. Она-то и служила станом

для батраков и поденщиков. Отсюда хорошо было видно все байское поле. Пять больших развесистых деревьев джиды в любое время дня покрывали площадку густой тенью и хоть на короткое время дарили покой и прохладу измученным тяжелой работой людям.

Алиахун, как только ступил на площадку, тотчас достал сложенную между ветвей джиды какую-то рвань, служившую ему и халатом и подстилкой, раскинул ее в тени и растянулся, широко разбросав ноги. Отдохнув немного, он поднялся, вытащил из грязной, засаленной от пота тубетейки иглолку, раздобыл откуда-то нитку и принялся чинить усеянную заплатами рубаху. Юлчи присел рядом на корточки, наблюдая за работой новоявленной «швей».

Вскоре подошел к стану молодой киргиз Ораз, а за ним притащились и другие поденщики. Все они растянулись где попало. Некоторые, не в силах вымолвить слова, устало дремали. Ораз, прислонившись к стволу джиды, по привычке тут же потянулся за самодельной маленькой домброй.

Юлчи полюбил киргиза. Он проводил с ним почти все вечера, беседуя и слушая его домбру.

Оразу было семнадцать лет, когда один бай-скотопромышленник, приезжавший ежегодно для закупок на Каркару, нанял его за восемь рублей в год и привез в Ташкент. Три года проработал Ораз у своего первого хозяина и, хоть привык ко всяким лишениям, не выдержал побоев; когда до срока возвращения на родину оставался всего один год, он ушел от купца и нанялся батраком к богатому землевладельцу. Но оказалось, что и этот бай не лучше первого. Прожив у нового хозяина два года, он снова вынужден был уйти. Так Ораз мыкал горе у порогов многих баев и все не мог возвратиться домой. Наконец, год назад он нанялся батраком к Мирзе-Каримбаю. Одежда на Оразе была рваная, но сам он был парень красивый, веселый и общительный. Он так хорошо говорил по-узбекски, что, если бы не узкие глаза и немного скуластое крупное лицо, никто никогда не принял бы его за киргиза.

Ораз любил подшучивать над Алиахуном. И на этот раз, побренчав на домбре, он обратился к кашгарцу:

— Алиахун, нам давно бы надо было подыскать какую-нибудь хозяйственную старушку. Очень хорошо, что она сама объявилась. Вы и мне штаны почините!

Загрубелые, привыкшие к кетменю руки Алиахуна плохо владели иглой. Весь поглощенный необычным для него занятием, с сосредоточенно-прищуренным глазом, он делал крупные неумелые стежки и ворчливо ронял в ответ на шутку короткие фразы:

— Ты еще младенец... Ходи без штанов, в одной рубашке... — Кашгарец повернул непослушный уголок заплаты. — Пропади она, бродячая жизнь... Надоело. Не чинить — значит с рубахой расстаться... Бедность гоняет человека... из страны в страну. Думал: приоденусь... скоплю в поясе десяток-другой царских бумажек... вернусь в родной край... А все далек от цели... Будь оно проклято, это скитание! Дома я и в руках не держал иглы... Никогда, ей-богу!.. Жена там осталась

у меня что красная роза...— Алиахун хлопнул себя по лбу.— Вах, вах, несчастная моя голова! Ей-богу, что красная роза! Вспомню — сердце кровью обливается... А тебя, Ораз-бай, какие ветры принесли сюда из степей? Кто остался там у тебя? Невеста, зазноба?.. Э, кому ты нужен, бобыль!

Ораз рассмеялся:

— А у тебя жена вправду есть или только разговоры одни?

Алиахун скривил губы: неужели, мол, я стану врать! — и с шутивым пренебрежением посмотрел на Ораза:

— Чудак! Сказал же тебе — как красная розочка!.. Кашгарские девушки и молодницы — они все что спелые яблоки. Да что ты можешь понимать в этом, степняк!..

Ораз рассмеялся снова.

— Степь моя лучше тысячи городов, Ахун! И девушки у нас веселые и приветливые. Ласковым словом, милой улыбкой заставляют они огнем пылать сердца джигитов. В степи я каждый день с девушками гулял. Хоть и молод был, была и у меня любимая. Очень красивая девушка, певунья-девушка! Теперь она уже, наверное, замуж вышла, детей народила. А когда я покидал аул, вышли мы вечером в степь и долго сидели там, обнявшись. Плакала она, плакал я. Остаться нельзя было, отец запродавал меня баю и деньги забрал — надо было кормить, одевать семью...— Ораз тряхнул головой, сдвинул на затылок войлочную шляпу.— Отправимся, Ахун, ты — в Кашгар, а я — в Каркару!

— Пешком, что ли, дурень? Денег нет...

В разговор вмешался молчавший до этого поденщик:

— Да, все дело в деньгах. Мне не довелось видеть тридевяти земель, но тридевять городов белого царя я прошел. Для бездомного батрака-бродяги и от земли до неба — один шаг, как говорится. Так жил только Шах-Машраб: выйдет вечером из ворот одного города, а к утру входит в ворота другого.

— Это потому, что он был святой человек,— перебил поденщика Ярмат, подошедший с бурно кипевшим черным кумганом.— Когда Шах-Машраб отправлялся в дорогу, всемогущий аллах сам сокращал ему путь.

— А почему он мой путь не сокращает?! — вскричал Ораз.

— В наше время все пути коротки только для людей денежных,— продолжал поденщик.— Я много где побывал и многое повидал. Для богача, скажем, и в пустыне рай, а для бедняка... Вы хвалите каждый свой край, а будь вы там сыты, разве пришли бы сюда? Ведь правда? Вот я — здешний, ташкентский. А какой от этого толк! Вот мне уже на тридцать четвертый перевалило, а я еще не женился. Увижу женщину, разум теряю. Старуха мать измаялась в поисках невесты. В какую дверь ни сунет голову, спрашивают: купец он, дом есть, сад есть? Поденщиков, батраков, ремесленников и за людей не считают в наше время...

— Ничего удивительного. Торговые люди — это цвет страны, братец! — вставил Ярмат.

— А мы, что же, колючки, выходит! — вырвалось у Юлчи.

Чтобы прекратить этот разговор, Ярмат поспешил разостлать перед рабочими дастархан.

— Давайте-ка чай пить,— проговорил он ворчливо,— работа не ждет. Вечером наговоритесь. Языки и уши при вас и никуда не денутся.

Батраки и поденщики вставали один за другим, усаживались в кружок. Поднялся и Алиахун. Он расправил широкую волосатую грудь, с минуту смотрел в даль, дремлющую в истоме, и вдруг звонким голосом запел:

В путь-дорогу, помню, выезжал я,
Милая в дверях рукой махнула.
«Ты когда вернешься, друг?» — спросила,
С карих глаз слезу рукой смахнула.

Много дней любимой не видал я.
Каждый день «Еще увижу!» — думал,
Помнил крепко, не терял надежды,
«С каждым часом срок мой ближе», — думал...

Все оживились. Одобряли песню, хвалили голос Ахуна.

Вдруг за деревьями послышались мужской плач и всхлипывания. Все с удивлением обернулись в ту сторону. С покрасневшими от слез глазами подошел Шакасым — он сегодня не выходил на работу, сидел в своем шалаше возле больной жены.

— Скончалась моя страдальца, моя горемычная! Сейчас на руках у меня душу отдала. О, горе мне!..

От волнения у всех сдавило горло. Над площадкой нависло гнетущее молчание. Наконец сначала Алиахун, а за ним и другие принялись утешать Шакасыма, выражать ему сочувствие.

— Ты поскорее сообщи отцу-матери,— посоветовал Юлчи.

— Нет у нее, бедняги, никого, сиротой выросла. Оба мы с ней бездомные.— Шакасым еще горше заплакал, затем, пересилив слезы, попросил Ярмата: — Нельзя ли раздобыть у хозяина хоть немного денег? Сегодня до вечера надо похоронить ее. Можно ли в такую жару держать тело в шалаше, да еще при малом ребенке?

— Дни жаркие, до завтра оставлять нельзя,— поддержал его Ораз.

Ярмат в смущении покачал головой и принялся пощипывать свою реденькую маленькую бородку.

— Хозяин в городе,— проговорил он наконец,— а пока из города обернешься — и день кончится. Сегодня похоронить не успеете...

Юлчи с досадой возразил:

— Деньги, наверное, и у хозяйки найдутся.

— Есть у нее, знаю, да скупа она,— пробормотал Ярмат.— Кисеи на саван дала бы, и то большое дело.

Алиахун поднял руку.

— Друзья, неужели не поможем товарищу? — глухо воскликнул он.— Много ли надо, чтобы похоронить бедного человека? Могильши-

кам два целковых, мулле — две кредитки, обмывальщикам — рубль — и всего дела! Шакасым еще успеет залезть в долги. Главные расходы, сами знаете, придут потом...

— А как же с поминками, Ахун-ака? — неуверенно проговорил Шакасым, взглянув на кашгарца. — Что видела несчастная женщина на этом свете?.. По крайней мере похоронить надо по-человечески, пусть хоть душа ее порадует!

— Поминки потом устроишь! — Ахун отвернулся, пошарил в своем рваном халате, вытащил хрустящую трехрублевую бумажку, бросил ее в круг. — Вот... это моя доля...

Поднявшись, кашгарец быстро зашагал прочь.

Все были глубоко взволнованы отзывчивостью Алиахуна. Ярмат покачал головой: он-то хорошо знал, что эти деньги кашгарец сам недавно взял в долг у хозяина под заработок.

Киргиз Ораз развернул поясной платок, вынул аккуратно завязанный (и кто знает, сколько времени хранившийся там) целковый, несмело положил его рядом с трешницей Ахуна.

— Всем нужны деньги, не обойтись без них даже мертвым! — вздохнул поденщик-ташкентец и, вынув завернутый в пояс штанов бязевый мешочек, отсчитал рубль серебром и медяками.

Если бы у Юлчи были в эту минуту деньги, он отдал бы все, но у него не было даже стертого медяка. Юноша чувствовал себя неловко перед товарищами, и в то же время ему хотелось обнять и расцеловать каждого из них. Простые и с виду грубые, они казались ему в эту минуту самыми добрыми, самыми великодушными людьми во всем свете.

Ярмат собрал лежавшие на скатерти деньги, зажал их в руке.

— Все остальные заботы я беру на себя — всякие там тряпки и мелочь я мигом раздобуду. Вы кончайте пить чай и принимайтесь за работу. А ты, Шакасым, отправляйся в свой шалаш. Я скоро вернусь, только соберу женщин, которые окажутся поблизости. Без них в этом деле не обойтись.

— Вашу доброту я и на том свете не забуду! Только довелось бы мне помочь вам не в горе, а на тое. — Шакасым вскочил и побежал к своему шалашу.

Перед ужином, уже в темноте, поденщики и батраки опустили на колени и, молитвенно сложив на груди руки, склонили головы. Юлчи прочел как умел коротенькую суру, которой еще в детстве научила его мать. Когда он кончил, все простерли руки, помяная душу усопшей.

За ужином никто не проронил лишнего слова. Один из поденщиков сказал только:

— Чистой души женщина была. Земля легко поддавалась, раскрывая для нее просторную могилу...

III

Солнце давно зашло. Темнота над землей быстро сгущалась, воздух становился прохладней, а на небе все ярче разгорались звезды.

Юлчи набросал на площадку побольше сена, расстелил поверх него халат и прилег под джидой, заложив руки под голову.

Самое горячее время полевых работ миновало, поденщики были распущены. На участке до сбора хлопка были оставлены, кроме Юлчи, только Шакасым и Ораз.

Шакасым тотчас после работы отправился в шалаш, а киргиз сидел на корточках, прислонившись к джиде, и брэнчал на своей домбре.

Среди томительного безмолвия наступающей ночи струны домбры звучали как-то особенно печально.

Юлчи подумал: «Вот если бы свирель, и я сыграл бы. Всю грусть и тоску по родному очагу вот так же излил бы в тишине этой ночи...»

Мысль о свирели как-то сама собой вызвала в сознании Юлчи образ Нури и встречу с ней в саду. Вспомнив, как Нури прильнула к нему, как трепетало под тонким шелковым платьем горячее тело девушки, как он бежал от нее, Юлчи улыбнулся: «Озорная... Балует...» Тут ему вспомнилась и другая девушка, та, что издала одарила его милой, искренней улыбкой на второй день после приезда в поместье дяди, когда он корчевал пни под палящими лучами солнца. Стараясь оживить в памяти нежные черты ее лица, с первого взгляда запечатлевшиеся в сердце, джигит думал: «Чья она? Доведется ли еще встретиться с ней?..»

— Шакасым опять анаши хватил,— заговорил Ораз, перестав брэнчать.— Чуешь, вонь по всему полю, а? Бой-бой!.. Фу...

Прохладный ночной ветер доносил снизу, со стороны шалаша Шакасыма, тошнотворный запах анаши. Юлчи, повернувшись к Оразу, недоуменно спросил:

— Зачем он курит эту пакость?

— Кто его знает... Трудно ему. Бедность... А тут еще и жены лишился...

— Напрасно он так. Анаша когда-нибудь доведет его до беды.

— Не сегодня завтра наступит зима, Юлчи, а куда ему тогда деваться, что делать с малым сынишкой?

— Анаша делу не поможет!

Они молчали.

Из темноты вынырнул верховой.

— Вы здесь? Как дела? — раздался голос Ярмата.

Привязав лошадь к дереву, Ярмат подсел к Юлчи. Он попросил Ораза сходить за арбузом и, когда тот ушел, передал Юлчи новое распоряжение хозяина:

— Завтра поедем к Танти-байбаче. Человек этот доводится зятем нашему хозяину. Такой отчаянный — увидите, сами удивляться будете! По-настоящему его зовут Мирисхак-байбача, а Танти — это прозвище. Доставлю вас туда и назад.

— Значит, я надолго останусь там? — растерянно спросил Юлчи.

— Не-ет... Поедете помочь на несколько дней. Земля его здесь недалеко. Немного ниже нашей...

Ораз принес и положил перед Ярматом большой арбуз.

— Кушайте,— сказал он с явной насмешкой.— Нам это не подходит... на голодный желудок...

— Что, разве провизия кончилась? И не варили вовсе?

— По-вашему, чтобы варить, кроме воды, ничего не нужно? — усмехнулся Юлчи.— Или вы думаете, что мы из тыквы могли масло выжать, Ярмат-ака!

Ярмат промолчал. Нащупав на поясе ножны, он вытащил нож, разрезал арбуз. Одну половинку оставил себе, другую пододвинул Юлчи и Оразу.

Неожиданно тишину ночи разорвала дробь барабана и бубна. Ярмат так и застыл с поднесенным ко рту на лезвии ножа куском арбуза.

— Это не у Тогана-чавандоза, Ораз?

— Ясно — у него.

— Чавандоз, пропасть ему, понимает толк в жизни,— завистливо вздохнул Ярмат.— Вот это человек, Юлчи,— всю жизнь проводит на пирушках и на улаках! Сколько раз спину ломал, ребра, ноги. Лицо его в шрамах и царапинах — и все на улаке. Человек сорок приятелей имеет, таких же, как сам, с огоньком в сердце...— Ярмат прислушался.— Это у них...

— Богат, наверное, очень? — равнодушно проговорил Юлчи.

Ораз подтвердил:

— Земли и воды много. Батраков и чайрикеров — тоже. Каждый день отправляет на базар десяток арб с овощами и фруктами. Я его хорошо знаю. Он приятель моего прежнего хозяина. Батраки у него на харчи не обижаются, но зато, если Чавандоз разозлится, бьет их всех без разбора — и молодых и старых. У него поэтому никто и не живет долго.

— Короче говоря, порядочный пес,— заключил Юлчи.

Пирушка, видимо, все больше разгоралась; к грохоту бубна присоединились выкрики нескольких десятков голосов.

Ярмат покончил с арбузом и неожиданно предложил:

— Сходим, джигиты? Сказать правду, я на крыльях готов лететь туда.

— Чтобы среди риса курмаком выглядеть,— возразил Юлчи.

— Пойдешь, Ораз?

— Нет.

Ярмат пристал к Юлчи:

— Пойдем, братец, будь другом! Посидим где-нибудь в сторонке, посмотрим, потешимся. Для киргиза лишь бы домбра — он и доволен.

Ярмат поднялся и чуть не силой потащил за собой Юлчи.

Им пришлось проделать в темноте немалый путь, прежде чем они достигли места пирушки. И чем ближе и яснее слышались крики и шум, тем сильнее было нетерпение Ярмата.

Как только они вошли через широкие ворота во двор, Ярмат отделился от Юлчи и заспешил вперед, чуть склонив голову, со сложенными на груди руками.

Прямо против ворот на ярко освещенной площадке Юлчи увидел высокого, невзрачного на вид, костистого человека. Это был сам

хозяин. Выпятив грудь и приподняв для важности правое плечо, Чавандоз то и дело отдавал распоряжения многочисленным слугам.

Ярмат протянул хозяину для приветствия руки, но они повисли в воздухе. Надменный Чавандоз сделал вид, что не заметил нового гостя. Ярмат, однако, не выказал ни смущения, ни растерянности. Вытянув шею, он осмотрелся, заметил себе место в кругу зрителей, уселся и, засучив рукава, принялся вместе с другими хлопать в ладоши в такт бубна.

Юлчи не захотел тесниться среди гостей и зевак. Он прислонился к толстому тополю и, стоя, через головы сидевших в кругу людей стал наблюдать за происходившим.

Пирушка проходила с обычным шумом, гвалтом и дикими выкриками. Около ста человек, усевшись, образовали круг. Тесно сгрудившись, точно притянутые друг к другу цепями, их окружали стоявшие. Тут были и подростки, и взрослые парни, и даже старики. Все они собрались из окрестных усадеб.

Барабанщики и бубнисты, обливаясь потом, колотили словно в забыты. Они то склонялись почти до самой земли, то вдруг встряхивали бубны, изворачиваясь всем станом, выпрямлялись и поднимали их высоко над головой.

Между тем в кругу зрителей творилось что-то неопишное. Со всех сторон раздавалось отчаянное хлопанье в ладоши, хриплые возгласы. Люди, доведенные до последней степени возбуждения, били себя в грудь, не жалея глоток, кричали: «Балли».

По кругу носился шестнадцатилетний бача — мальчик-танцор. Мальчик был бледен, тонок и строен. На нем развеялся шелковый, отливающий разноцветными огнями, полосатый халат. Стан его низко, на самых бедрах, повязан синим, шелковым же, платком. На ногах хромовые сапожки. Легко и бесшумно порхал он в них по мягким, пушистым коврам.

По двору, громко переключаясь, сновали исполнявшие приказания хозяина прислужники. Слепили глаза развешанные по деревьям большие яркие лампы. В одном углу двора с треском и гулом горел костер; временами, разрывая черную пелену ночи, от него вскидывались к небу длинные огненные языки. На деревьях легкой занавесью дрожали отблески пламени.

Первая часть пира закончилась невыразимо частой дробью барабана, последним бешено-быстрым кругом бачи и слившимися в сплошной рев одобрительными криками толпы. Люди тотчас же рассеялись по двору, чтобы промочить водой охрипшее от азартных выкриков, пересохшее горло.

Через несколько минут на площадку выбежала красивая девушка. Барабаны и бубны замедлили темп, загрели тише и мягче. Девушка двигалась по кругу, сопровождая танец тонкими, едва уловимыми движениями плеч и кокетливыми жестами рук. На ней было длинное, красного шелка платье, парчовая безрукавка; на голове шелковая, оранжевого цвета косынка. Бесчисленные, мелко заплетенные длинные косички опускались на спину и при малейшем движении извивались черными змейками. Девушкой этой был все тот же бача.

«Вот шайтаны, как здорово нарядили!» — подумал Юлчи и так же безмолвно, но уже с интересом стал следить за танцем.

Вдруг — бах! — из круга, резко отдавшись в ушах, прогремел выстрел.

Все сразу вскочили, зашумели, подталкиваемые страхом, давя друг друга, бросились врассыпную. На месте осталось лишь несколько человек.

Бача, спотыкаясь и падая, метнулся к хаузу, окруженному тополями. Вслед за ним, сжимая в руке револьвер, кинулся одетый в чекмень толстяк.

— Не стреляйте!.. Спасите!.. — раздался крик из хауза.

Юлчи в один прыжок очутился около буяна, крепко стиснул ему руку с револьвером, загнул за спину. Револьвер с глухим стуком упал на землю. Толстяк ругался, напрягая все силы, пытался вырваться из рук Юлчи.

— Ты кто такой? — орал он. — Прочь! Застрелю! Обоих вас уложу рядом в одну могилу! Пусти!

Буян старался дотянуться до револьвера. Юлчи схватил его в охапку и оттащил подальше от хауза. Тут подоспел Чавандоз с несколькими приятелями. Толстяка кое-как уняли и куда-то увели.

Народ понемногу начал возвращаться. У всех только и разговору было что о происшедшем скандале:

— Чудно! За что он его?

— Видно, не угодил чем-то бача, он и обозлился. Известно — горячий человек, к тому же пьяный.

— Не пришло, значит, время помирать, жив остался мальчишка.

— Прямо у меня над головой бухнул, как из крепостной пушки.

Юлчи снова отошел под тополь. Откуда-то вдруг появился Ярмат и сердито толкнул его в бок:

— Пошли!

Юлчи хмуро взглянул на него и зашагал следом.

Несколько минут оба шли молча. Первым заговорил Ярмат:

— Порядочный человек не станет соваться куда ни попало! — сказал он с раздражением. — Поднялся скандал — убежать надо: голодно брюхо, зато не зудят в ухо. За кого заступился? За какого-то бачу! А вдруг пристрелили бы тебя, тогда что?..

— Будьте же справедливы, Ярмат-ака, — перебил его Юлчи. — На моих глазах какой-то полоумный пьяница убивает человека, а я должен смотреть? Верно, жизнь — сладкая штука, и всякий дорожит ею, но ведь у каждого и жалость должна быть в сердце. Мальчик — он мальчик и есть. Родные, наверное, по бедности продали его в бачи. А может, он круглый сирота. По нужде пошел по этому пути. Вы сами были без памяти от его танцев, а теперь порочите... и пожалеть не хотите...

— Да знаешь ли ты, с кем сцепился?

— Нет. Кто этот пес?

— Вот тебе и раз! Это же Танчи-байбача, зять твоего дяди!

Юлчи громко расхохотался, затем повернулся к Ярмату:

— Ну, кто бы он ни был, этот глупец! Я ведь и ему сделал добро — от убийства удержал. Только как же нам быть теперь, Ярмат-ака, может, не поедем завтра к Танти? Такие люди очень злопамятны.

Ярмат ничего не ответил, он был явно не в духе.

Юлчи же, наоборот, был доволен своим поступком. Там, во дворе Чавандоза, многие хвалили его, одобрительно и дружески кивали ему. А если этот поступок не понравился таким трусливым людям, как Ярмат, ну и пусть...

Они уже достигли своего стана, и Юлчи растянулся на постели, когда вдали вновь загремели барабаны. Пир у Тогана-чавандоза продолжался.

IV

Время близилось к вечеру. Танти-байбача, проспав после вчерашней пирушки весь день, вышел наконец из калитки ичкари на внешнюю половину двора. В течение нескольких минут он прохаживался взад-вперед, поглаживая круглый живот, затем подошел к хаузу, умылся, прилег на супе, крикнул:

— Камбар, носи чилим!

Камбар, только что возвратившийся с поля, принес тонкой работы чилим, ярко блестящий начищенной медью, раскурил его, подал Танти.

— Хозяин,— с развязностью доверенного слуги заговорил он.— Сегодня мы хорошо поработали. Джигит, присланный вашим тестем, оказался очень старательным.

— Ага, прибыл? Хорошо! Тесть мой знает толк в делах. У него все батраки хорошо работают. Это только ты ничего не знаешь, кроме еды.

Камбар хотел было возразить что-то, но увидел Юлчи, твердо шагавшего с кетменем на плече, и указал на него хозяину:

— Вот он идет.

Юлчи еще издали узнал Танти, однако нисколько не смутился, поставил кетмень к дувалу, смело прошел к хаузу, не торопясь умылся, снял поясной платок, развернул его, спокойно утерся и только после этого подошел поздороваться с байбачой.

— Не уставать тебе, джигит! Садись,— предложил Танти, внимательно с ног до головы оглядывая парня.

Юлчи спокойно уселся против байбачи. Танти усмехнулся:

— На вчерашней пирушке был? Ты тот самый силач джигит?

— Это был я,— признался Юлчи.

Байбача покачал головой, словно сожалел о происшедшем.

— Пропади оно, это пьянство,— проговорил он и натужно рассмеялся.— Хе-хе-хе... Наделал я шума...

В разговор вмешался Камбар.

— У вас, хозяин, нигде без скандала не обходится,— ухмыльнулся он.— По-настоящему вас следовало бы назвать «Тупалан-байбача».

Танти отмахнулся от него и продолжал, обращаясь к Юлчи:

— От первой пули бачу спас бог, от второй — избавил ты. Иначе застрелил бы: очень я разгорячился — выпил крепко.

— А за что вы в него, беднягу, пулей метнули? — спросил Юлчи.

Байбача помолчал, прищурил большие, но уже тускнеющие, с сеткой тоненьких красных жилок глаза и равнодушно ответил:

— Не помню. То ли он не подхватил протянутую мною пиалу с чаем, то ли бровью не так повел, только чем-то обозлил меня, проклятый... Ну ладно, бывлым делам, говорят, прощенье. Как наши посева, хороши?

— Очень хорошие. Особенно картошка и морковь. Богатый урожай получите.

— Да? А мне вот этот колченогий говорил, — кивнул байбача на Камбара, — что он чем-то там засеял клочок земли, да я, признаться, и не заглянул туда ни разу. Сказать правду, сам я в хозяйстве ничего не смыслю. Во всем положился вот на него, на колченогого. Он хромой, но руки у него счастливые. Ни один год не было плохого урожая. Верно, Камбар?

Камбар — шутник и говорун, действительно при ходьбе волочивший одну ногу, — притворно нахмурился, топорща редкие, светло-желтого цвета, волоски бровей.

— Вы хоть при гостях калекой меня не называйте, Мирисхак-ака. А ну, давайте-ка наперегонки, попробуем, кто кого!

— Подсыпь табаку, колченогий. Шуток не понимаешь... — Танти-байбача взглянул на Юлчи. — И верно, я сам надивиться не могу — хромой, а летит быстрее ветра. К тому же весельчак и работает исправно. Но вся беда — колченогий. Ха-ха-ха!..

— Мои ноги, хозяин, с изъяном, да они помогают цвести земле. А у вас хоть и в порядке все, да вы, кроме как чилим потягивать, ни к чему не способны! — Камбар протянул байбаче запрошенный чилим. — Вот курите...

Танти-байбача, окутавшись облаком дыма, уже серьезно сказал:

— Садись на жеребчика, поезжай в город. Привезешь две бутылки коньяку. Быстро! Аскар-палван приедет с компанией. Понял?..

— Эх-хе! Большая, значит, игра будет. Желаю вам удачи. С выигрыша и мне что-нибудь перепадет. Только жеребчика нет, Мирисхак-ака, маленький Чавандоз уехал на нем на улак.

— Садись на иноходца.

Во двор, ведя на поводу заседланную новеньким седлом красивую каурюю лошадку с бусами и тумарами на лбу, вошел крепкий, загорелый мальчуган лет тринадцати-четырнадцати. Это и был маленький Чавандоз, сын Танти-байбачи — Абиджан. Мальчик старался держаться солидно, но по всему видно было, что он из тех баловней-любимчиков, кого обычно называют «балованный барашек».

Передав лошадь Камбару, мальчуган принял стяхивать пыль с одежды. Танти окликнул его:

— Сын! Чей обогнал?

— Рыжий Таира-купчика. Нашему малютке оказалось не под силу тягаться с ним.

— Э-э, Абидджан, — усмехнулся Камбар, — а я думал с козлом вернетесь, котел готовил. Выходит, все зря — у вас пустая потеха только.

— Подожди, Камбар, еще понадобится твой котел, — ответил Абидджан заносчиво.

— Нет, уж видно, — насмешливо протянул Камбар. — Для того чтобы улака на полном скаку захватить, надо быть настоящим чавандозом. И силу надо иметь, братец мой Абидджан!

Опустив подругу, Камбар привязал жеребчика к столбу. Потом взял у хозяина деньги и, подседлав иноходца, отправился в город.

Гости Танти-байбачи приехали поздно вечером. Их провели на айван, обращенный в сторону клеверника.

До возвращения Камбара прислуживать пришлось Юлчи. Больше всего надоедал ему сам Танти-байбача. «Чилим!» — по-минутно кричал он с айвана. Чилим стоял рядом с Танти, но его надо было заправить заново табаком, разжечь, поднести... Байбача затынется раз — и накурится, а через минуту требует снова.

Когда приехал Камбар, Юлчи прошел к супе и в темноте растянулся на разостланной там пыльной кошме. Через некоторое время к нему подсел и Камбар, неожиданно появившийся с блюдом остывшего плова.

— Игра началась... У хозяина даже чилим из памяти вылетел. Теперь можно и отдохнуть.

— А во что они играют? — спросил Юлчи.

— В кумар, — тихо ответил Камбар.

— Что вы говорите? Гости вовсе не похожи на игроков. Все в чалмах, будто муллы!

— А кого вы считаете игроками? — пробормотал Камбар, только что положивший в рот первую щепотку плова. — Уличных удальцов, что ходят с открытой грудью и повязывают из щегольства по паре поясных платков? Нет, настоящие игроки — это сыновья бородатых чалмоносцев — ишанов. Целую неделю они пьянствуют, играют в кумар, а по пятницам как ни в чем не бывало появляются на молениях.

— Чудо! — удивился Юлчи. — Ишаны мечут альчики!

— Они и в карты играют. Это тот же кумар, даже, пожалуй, похуже... Хэ, а как они пьют! Глодают, будто верблюды, пробывшие целую неделю без воды в пустыне. Буза ли, водка ли, мусалас ли, коньяк — ничем не брезгают, было бы только спиртное.

— Короче говоря, это последние развратники, — заключил Юлчи. Беседа их прервал Танти:

— Чилим, колченогий!..

Окрики хозяина начинали раздражать Юлчи. «Будто у бедняги имени нет! — промелькнула у него мысль. — Это уже не шутка, просто байбача за человека его не считает».

Камбар бросил в блюдо взятую щепоть плова, вскочил и побежал на зов. Бегал он действительно проворно, точно и не хромал вовсе.

«Трудно ему на побегушках,— подумал Юлчи.— Стараются не показать своей хромоты, так и привык бегать рысцой...»

— Вы меня ждете? Напрасно. Плов, наверное, остыл уже. Принимайтесь! — заговорил Камбар, снова подсаживаясь к Юлчи.— Карман хозяина, кажется, опустел,— сообщил он.— Не везет, видно. Весь год не вылезает из проигрыша. При его богатстве это пока не заметно, но тем хуже будет конец. Тогда глаза его от удивления сами собой раскроются, будут стручок маша. При такой расточительности, друг мой Юлчи, и золотых гор не хватит.

— А чем занимается ваш байбача? — полюбопытствовал Юлчи.— Неужели он только и знает, что проедает нажитое?

— Занятие? — Камбар рассмеялся.— Кончайте с пловом, потом расскажу.

Когда блюдо было опорожнено, Камбар вытер его пальцами, облизал их, отодвинул блюдо в сторону, подсел ближе к Юлчи и начал свой рассказ:

— Какие там занятия! И на пятак нет у него дела. Со всякими делами он покончил еще лет пятнадцать назад, с тех самых пор, как умер его отец. Я работаю у этого человека только четыре года, но живем мы с ним в одном квартале, и мне все про него известно. Отец хозяина был большим баем. За свою жизнь он накопил несчетное богатство. Пять-шесть лавок и магазинов, да еще земля, да несколько участков и домов в новом городе... Старик умер, а сын теперь все проедает: скачки с улаком, вечеринки, пирушки, постоянные гости... Собираются муллы, ишаны, баи, игроки-кумарбазы. Каждый день — нарын, пельмени, плов. Вот скоро в город передем, и что только там будет! Сынишка у него, сами видели, в четверть ростом, а он женить его хочет. Сговор был, когда еще девчонка в люльке качалась... И мальчишка весь в отца. Ни читать, как говорится, ни писать, ни песен складывать. Ходил несколько месяцев в русскую школу на Хадре, потом сбежал. Потому — голова у него занята лошадьми, скачками, вечеринками с компанией таких же, как сам, байских сынков. Короче говоря, отец с сыном вместе проедают богатство. Слышно, осталось у них не больше трети всего богатства. Да они и это по ветру пустят.

— Чилим! — послышался сильный голос Танти.

Камбар оборвал рассказ, поспешил к хозяину. Возвратившись через минутку, он сообщил шепотом:

— На кону ворох денег. И все хрустящие бумажки с портретом белого царя! Взглянул я — в глазах зарябило. Вот бы мне пару таких! Куда бы ни пришел, встречали бы с уважением: «Пожалуйста, почтенный Камбар, пожалуйста!» А сейчас — где там! — только и слышишь: «Эй, колченогий! Эй, калека, эй, безногий!»

— Хозяина прозвали Танти-щедрым. А вам он оказывает свою щедрость, Камбар-ака? — спросил Юлчи.

— Щедрость его не для таких, как я,— ответил Камбар.— Он ничего не жалеет для себя и для своих друзей-приятелей. «Танти» его прозвали люди, которые едят и пьют на его гулянках. А мне он дает харчи да одежду справляет, когда совсем истреплется. Иногда

и денег немного выпросишь. Только насчет деньжат скуповато. Знаете, говорят, из чужих рук и птичка не наедается. Заведется какой целковый, смотришь, туда-сюда — и уже нет, упорхнул из рук...— Камбар вздохнул.— Эх, деньги! Купить бы хоть пару танапов земли, таких бы дел наделал я, что твой сахар! Видели, сколько земли я засеял? И все сам!.. Каждый год десятками арб собираю урожай для хозяина.

— Одни трудятся, сеют, а выгоду от этого другие имеют,— ответил поговоркой Юлчи.— Была б у вас земля: труд ваш — и выгода вся ваша. Копите деньги, Камбар-ака, и покупайте себе участок.

— Где там! Копейки лишней не отложишь. Хозяйский порог, будь он проклят, такой — его не перепрыгнешь!..

Послышался раздраженный голос хозяина:

— Эй, колченогий! Тащи лекарства!

— До мусаласа очередь дошла? — спросил Юлчи.

— Сейчас начну заливать горло ишанов прямо из корчаги,— рассмеялся Камбар, исчезая в темноте.

Юлчи прилег на кошме и укрылся узкой подстилкой от седла. В нос ему ударил запах сырости и конского пота. Уснуть мешали шум и пьяные выкрики игроков. Он долго переворачивался с боку на бок и только было задремал, как услышал над головой шепот Камбара:

— Спите?

— Нет.

— Выпьете? Очень вкусный мусалас.

— Не надо. Я еще никогда не пробовал.

— Хи-хи-хи...— тихонько рассмеялся Камбар, укладываясь рядом с Юлчи. От него несло винным перегаром.— Если пить понемногу, вреда не будет,— заговорил он через минуту.— Бывает так, Юлчибай, что сердце вот-вот разорвется, белый свет темной ночью кажется. Тогда тайком от хозяина я выпиваю одну-две пиалы. Иногда он и сам даст. Он же меня и приучил. Раньше я капли в рот не брал. Но подумаешь порой, и покажется, что хозяин прав: жизнь коротка и надо где можно пользоваться удовольствиями в этом недолговечном мире. Вот его отец не пропивал, не проедал и все равно богатства не унес на горбу в могилу.

— Скупой был? — не поднимая головы, спросил Юлчи.

— О, из тех, что прокляты всеми святыми! Прославился своей скупостью и жадностью. Знатный бай, большую торговлю вел кожевными товарами, а посмотришь на него — подумаешь, что это бедный ткач или латальщик обуви. Зимой и летом на ногах — тяжелые капиши из толстой кожи. На голове — грязная, пропитанная потом чалма. Халат — рваный. Ходил он всегда, уставившись в землю. Увидит старую подкову, ржавый гвоздь, пуговицу или другую какую-нибудь дрянь, обязательно поднимет. «Когда-нибудь, скажет, пригодится». Как-то, я был еще подростком, он у меня выманил два гвоздя, поднятых на дороге.

— Ну, это вы, наверное, выдумали,— не поверил Юлчи.

— Выдумал?! Э-э, то, что я рассказал,— лишь капля в море! Вот слушайте. Каждый год осенью он привозил сюда, в поместье, ребят нашего квартала и заставлял сгребать опавшие листья. Помню, приехал как-то с ребятами и я. Собрали мы листья, плотно набили в мешки. А к вечеру подул сильный ветер. Мы, ребята, смеемся, радуемся, глядя, как ветер подхватывает оставшиеся на деревьях листья и поднимает их к самому небу. А бай спокойно топчется около деревьев, как курица, обжегшая ноги, ругается. «Отец,— спрашиваем мы,— чем вы недовольны?» А он нам: «Немало, говорит, нескладных дел бывает и у бога. Вот смотрите, смотрите, какой убыток! Ни одного листочка не осталось на моих деревьях, все унесены в небо».

— Вот жадный дурак!

— Погодите, я еще не все рассказал. Вы можете подумать, что это сказка, а это истинная правда. Он никогда не ел ни плова, ни нарына, ни пельменей, ни казы. «Плов,— говорил он,— как гвозди, царапает мне желудок, а казы — тоже не по мне». И каждый день разрешал своим домашним готовить только болтушку из пшена. Сын бая, мой хозяин, после того как женился, начал кормиться лучше, но тайком. Деньги на расходы воровал у отца. Покушает сам повкусней, а для старика велит приготовить какую-нибудь жидкую похлебку. Как-то раз бай возвратился домой раньше обычного, да еще привел с собой какого-то близкого родственника. Сидят они во дворе, беседуют, ждут похлебки. Вдруг старик видит — в углу двора, из-под сложенных там нескольких снопов сена, показался дым. «Что это?» — вскричал он и бегом туда. Раскидал сено, смотрит, а под ним котел. Поднял крышку — на него пахнуло вкусным запахом плова. Старику все стало ясно... Понимаете: женщины, притушив угли, накрыли было плов париться, а тут оказался бай. Они с испуга и завалили очаг сеном. Бай возвратился на прежнее место. Трясется весь как в лихорадке. Родственник пытается успокоить его: «Не расстраивайтесь. Слава богу, вы богатый человек. Если и кушал, то ваш родной сын. В вашем доме уже давно готовят в двух котлах: один для вас, другой для себя. Простите их». Ну и всякое такое. Выслушал все это старый бай, опустил голову да как заголосит. «Мне, говорит, уже семьдесят. Пятьдесят лет я копил богатство. Не пил, не ел сладко, не одевался чисто. Вся жизнь моя прошла в заботах и лишениях. А ради чего? И вот я плачу о своей глупости, родня!»

— Спихватился-таки, сгореть его могиле.— удивился Юлчи.

— Спихватился, да поздно. Одной ногой он уже в могиле стоял. Умер, не прожив после этого и года... Ну вот, теперь скажите: кто из них умнее — отец или сын?

— Дураки оба. Один умер от жадности, другой подохнет от излишества.

Камбара снова позвал хозяина. Юлчи закрыл глаза. Но спал он беспокойно. То ему снилось, что скелет старого бая грызется с голодными собаками из-за костей на кладбище; то бредилося, будто бай, высунув из могилы длинный язык, облизывает пустой, еще горячий котел из-под плова...

Как только до Нури дошли слухи, что Юлчи отправлен на работу к Танти, она решила, что представляется удобный случай исполнить давнишнее свое желание. Не раздумывая долго, она сказала, что очень соскучилась по сестре и что ей, кстати, хочется побывать на бахче, прихватив с собой Рафика и отправившись из дому.

И вот уже три дня, как Нури у сестры. Девушка ждет не дожидается случая встретиться с Юлчи. Накинув на голову вместо паранджи что-нибудь легкое, она каждый день по нескольку раз обходит сад, бывает на бахче, но сделать следующий, самый трудный и решительный шаг у нее не хватает смелости. Юлчи с утра до ночи работает то на огороде, то на бахче и всегда бок о бок с Камбаром, поэтому подойти к нему близко Нури не решается. Да и место здесь неудобное для встречи: дувалов нигде нет, кругом открытое, широкое поле. На несчастье, и Танти-байбача, против обыкновения, сидит все время дома, никуда не отлучается. Каждый день у него гости, каждый день на внешнем дворе пьянство, шум, гам...

На четвертый день поздно вечером Танти-байбача приказал сыну:

— Выйди, скажи этому... э, как его... Юлчи — пусть ложится на айване. Одежда, подушки, ковры — все осталось там, а Камбара сегодня не будет.

Услышав это, Нури обрадовалась. Надежда на свидание, уже чуть теплившаяся в ее душе, вдруг вспыхнула снова, грудь обожгло огнем долго сдерживаемых желаний. Чтобы скрыть свое волнение, Нури принялась старательно помогать сестре по дому. Затем быстро постелила детям, уложила их, кого лаской и добрым увещанием, а кого и просто силой. И сама легла вместе с ними, а не рядом со старой сватьей, как обычно.

Поминутно задыхавшаяся при ходьбе беременная сестра Нури — Умырыса, с большим, уже выпиравшим даже из-под широкого платья животом, покончила наконец с хлопотами по дому, потушила лампу и ушла в свою комнату к мужу. Однако ребята еще долго озорничали — кувыркались, бросались подушками, стягивали друг с друга одеяла. После строгого окрика старухи они утихомирились было, но тут одна из девочек попросила:

— Бабушка, расскажите нам сказку!

Ее поддержали другие.

— Бабушка, милая, расскажите про хитреца плешивого!

— Лежите тихо! И ночью покоя не даете! — старуха завернулась в одеяло и затихла.

Ребята начали приставать к Нури. Девушке было не до сказок, но, чтобы отделаться поскорее, она загадала несколько загадок. Получилось, однако, так, что ребята отгадывали ее загадки, даже не дослушав до конца, а Нури не могла припомнить ни одной из трудных — все они вылетели у нее из головы. Дети подняли девушку на смех и расшалились снова. Старая сватья, уже задремавшая было, заворочалась.

Вдруг Абиджан громко выкрикнул очень неприличную загадку. Ребята захихикали, Нури, не сдержавшись, тоже фыркнула. Рассерженная старуха обругала мальчугана и прикрикнула на девушку. Дети наконец умолкли. Набегавшись за день и нашалившись, они уснули...

А девушке не спалось. Тело поминутно обдавало жаром, сердце билось сильно и часто. «Идти или не идти?» — спрашивала себя Нури, то радуясь удачному случаю и горя от нетерпения, то вздрагивая от страха.

Нури чутко прислушивалась, но не могла разобрать — спит старуха или нет. Старой сватьи девушка боялась: беззубая, сгорбившаяся, та любила подглядывать за всеми и была догадлива и хитра; если у нее зародится хоть чуточку подозрения, она легко доберется до истины.

Из-за тополей медленно поднялась луна. Осветила деревья, придала им волшебный, призрачный вид. Безмолвные ночи при лунном свете казались еще более глубоким.

Старуха начала похрапывать. Нури долго еще лежала, беспокойно прислушиваясь. Потом тихонько встала, вздрогнув от ночной прохлады, сорвала с колышка жакетку, быстро оделась. Тут ей вспомнился спрятанный в нише узелок, который она захватила для Юлчи. На цыпочках прошла она к нише, в темноте перевернула чайник; задрожала вся, на мгновение застыла на месте. Но никто не проснулся...

Прижимая узелок под мышкой, Нури бесшумно выскользнула во двор. Без капишей, босая, сделала несколько неслышных шагов. Остановилась. Пугливо оглянулась вокруг, прислушалась и, все так же мягко ступая, засемила к калитке.

У дувала мирно жевала жвачку корова. Бурая шерсть ее при лунном свете отливала золотом. Заслышав осторожные шаги, корова лениво подняла голову, равнодушно взглянула на проходившую мимо девушку и тяжело вздохнула.

Нури протянула руку к цепи калитки, но тут же отдернула. «Загремит цепь, заскрипит калитка, проснется старуха, что я скажу ей? Как оправдаюсь?.. Скрипит эта калитка или не скрипит?» Она пожалела, что до сих пор не обратила на это внимания. Наконец решила — будь что будет! — тихонько опустила цепь, осторожно приоткрыла калитку и проскользнула на внешнюю половину двора.

Открытая площадка до супы ярко освещена луной. Здесь даже пыль отливала мягким серебристым блеском. Но дальше — дальше все было покрыто дымчатой кисеей полутени и пестрело неровными бликами лунного света. В этот час и величавые карагачи, бросающие на землю большие темные пятна, и даже тянувшиеся к небу высокие тополя — все казалось таинственным и внушало девушке безотчетный страх. Ей чудилось, что на всей площади до самого айвана кружились и плясали бесплотные джинны.

Стараясь не глядеть по сторонам, Нури быстро пробежала пугавшее ее пространство, взошла на айван и опустила на корточки

у изголовья спавшего богатырским сном Юлчи. Картина ночи, минуту назад таинственная и страшная, сразу же изменилась. Теперь все окружающее стало понятным, знакомым и милым. Лучи луны, пробиваясь сквозь листья двух персиковых деревьев, росших рядом с айваном, тихо дрожали на лице юноши, перемежаясь с теньями. Нури положила руку на грудь джигита, другой тихонько погладила лоб.

Юлчи вздрогнул, открыл глаза, резко поднял голову:

— Кто тут?

— Это я... Нури. Тише, Юлчи-ака... Тише...— Нури приблизила свое лицо к лицу юноши.

— Вы?.. Здесь?! — изумленный и взволнованный, прошептал Юлчи.— Зачем вы пришли сюда? Что с вами будет, если узнают? Да и зачем я вам? Я ведь только батрак...

— Ну и что ж, разве батрак не человек? Вы наш родственник...— От холода и от волнения Нури дрожала.— Какой вы хороший! — зашептала она.— Я только из-за вас и приехала к сестре. Когда узнала, что вы здесь, готова была на крыльях лететь сюда. Вот уже третий день я у сестры. И сердцем, и душой с вами, только видеться не могла. И вот... пришла...

Блики лунного света зайчиками играли в волосах девушки, на ее лице, на руках, придавали ее облику еще неведомую для Юлчи прелесть.

По особенному, загадочному блеску в глазах Нури, по ее прерывистому дыханию юноша чувствовал, что пришла она сюда не просто поболтать о пустяках. Юлчи близко склонился к девушке и пристально посмотрел ей в глаза.

— Так ли? — чуть слышно прошептал он дрожащими губами.— Ради меня приехали?

— Только ради вас...

Нури тихо склонила голову на плечо Юлчи. Рука джигита обвилась вокруг талии девушки, к самому сердцу его прижалась упругая грудь.

Луна. Чарующее безмолвие. Только прохладный ветерок шепчется с листьями, ласково перебирает волосы девушки...

Перед тем как уйти, Нури протянула Юлчи узелок.

— Что это?

— Пустяк. Новую рубаху принесла вам. Денег надо, Юлчи-ака? Говорите, не стесняйтесь!

Юлчи бросил узелок к ногам девушки. Он тяжело дышал.

— Унесите... Мне ничего не нужно. Ни рубахи, ни денег! Заработая своими руками... Сейчас же возьмите, сестра!

— Я же для вас старалась. Тайно попросила одну соседку сшить. Спрячьте куда-нибудь. Поедете на главный участок, там оденете. Не обижайте меня, Юлчи-ака. Возьмите...

Нури мигом добежала до калитки, осторожно проскользнула во внутренний двор, на цыпочках взшла на терраску.

Старуха спала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Запоздавшая зима наверстывала упущенное. Снега еще не было, но холод крепчал с каждым днем; по утрам крыши и оголенные ветви деревьев белели пушистым инеем.

Семья Мирза-Каримбая давно перебралась в город.

Небольшая по площади внешняя мужская часть двора городских владений бая со всех четырех сторон окружена постройками: всякого рода службами, айванами, навесами. Сюда же выходили украшенные искусной резьбой высокие сводчатые двери и большие, со стеклами в целый лист, окна дома, на водосточных трубах которого гордо красовались жестяные петушки: это покои для гостей.

В одном из покоев, богато отделанном внутри красками и лепными украшениями, обычно отдыхал, возвращаясь из магазина, сам Мирза-Каримбай. По заведенному им порядку, с сыновьями, невестками и внучатами он встречался только за общим столом, да и то когда не было гостей.

Сегодня Мирза-Каримбай возвратился с базара рано. Отбыв послеполуденную молитву в «Женской мечети» на Иски-Джува, он сразу же направился домой и теперь сидел на шелковых одеялах, протянув ноги к теплому сандалу.

Прикинув раза два на счетах засевшие в голове цифры торгового оборота по магазину, бай надел очки и принялся перелистывать старинное собрание нравоучительных рассказов «Четыре дервиша». (Мирза-Каримбай был не прочь почитать на досуге и порой брался за «Мудрые изречения» Ахмада Яссави.) Но не успел он просмотреть и несколько страничек, как в комнату вошел Хаким-байбача, вернувшийся из деловой поездки в Фергану.

Байбача почтительно поздоровался с отцом, затем аккуратно отвернул полы суконного халата и присел к сандалу.

Мирза-Каримбай закрыл книгу: дело прежде всего!

— Вернулся? Так скоро?

— Приехал я еще утром. Задержался в банке.

Байбача рассказал, что ему удалось купить несколько тысяч пудов первосортного хлопка по цене второго и частью даже третьего сорта; что им, кроме того, оставлены деньги на покупку еще восьми тысяч пудов. Затем передал отцу приветы от его друзей — кокандских баев и деловых людей.

Расспросив до мелочей о подробностях поездки, бай остался доволен делами сына.

— Это называется удачей! Насчет своих закупок ни слова никому не говори. На свете нет дела более тонкого, чем торговое дело. Отец-покойник мелочную лавку имел, а и то, бывало, сколько за день морковки, луку продаст, никому, даже в семье, не скажет.— Мирза-Каримбай взглянул на сына и дробно рассмеялся: — Хе-хе-хе...

— Отец, нам теперь хлопковый завод бы построить! — чуть

подавшись к сандалу, заговорил Хаким-байбача. — Раз я стал хлопковиком, без завода никак нельзя. В Коканде, в номерах, я познакомился с одним русским инженером. Советовался с ним. И теперь, если бы вы дали свое согласие, лучше и быть не могло.

Мирза-Каримбай откашлялся, согласно кивнул головой:

— Это дело хорошее. И я, пожалуй, раньше тебя о нем думал! Только надо малость потерпеть.— Бай помолчал и, глядя прямо в глаза сыну, хитро усмехнулся.— Может статься, нам не нужно будет и утруждать себя постройкой. Может, мы готовый, на полном ходу завод к рукам приберем. И очень задешево приберем!

— Эх, вот это было бы дело! — Хаким-байбача облизнул сразу пересохшие губы.

Мирза-Каримбай продолжал:

— Только ты все, что я сказал, держи про себя. Хлопковый рынок — это, к примеру, все равно что река в разлив. Бросаться так, вдруг — не годится. Надо сначала разведать глубокие и мелкие места. Вижу я: многие в этой реке идут ко дну, иные, угодив в водоворот, соломинкой мечутся, протягивают руки, вытащить просят. А какой же храбрец расщедрится их выручать! Эх-хе... Я ведь член правления банка, сын мой, и секреты хлопковиков мне все известны.

— Тонет, отец, мелкота. А у кого мощна потолще и спина покрепче, у тех дела чем дальше, тем выше взмывают.

Мирза-Каримбай рассмеялся:

— Отец у тебя есть, потому и хребет твой крепок и силен.

— В торговом деле вы самый смелый человек. Среди мусульман, видит бог, нет смелее вас. А если и есть, то очень мало. Не понимаю, чего вы опасаетесь, почему медлите с заводом? — с заметной досадой сказал Хаким-байбача.

— Что же тут чудного? На торговле мануфактурой у меня борода побелела, и если мне не быть смелым, то кому же тогда? А что до завода...

Старик снял очки в золотой оправе, положил их на сандал. С минуту оба молчали.

— Я уже однажды наметил тебе дорогу,— снова заговорил бай.— Ее пока и держись, не сходи. Хлопок покупай из первых рук. Деньги раздавай дехканам зимой. Дехкане — разуты, раздеты, стеснены в средствах. Им нужны деньги. Вот ты и опутай их деньгами. Зимой они пойдут на все твои условия. И осенью, сын мой, весь хлопок будет твой. Вот, пока лучше этого пути нет.

— Да ведь я так и делаю, отец.

— А ты сильней размахнись!..

Открылась дверь. Склонившись и, уже на пороге протягивая руки для приветствия, вошел Абдушукур.

— Сидите, сидите! Я ненадолго, только проведать,— предупредил он, почтительно пожимая руки хозяевам и подсаживаясь к сандалу.— Как здоровье, отец?

— Хвала аллаху...

— Вас что-то давно не видать в городе, Хаким-ака? — блеснул Абдушукур глазами в сторону байского сына.

— В Коканде был.

— Как, довольны поездкой?.. Очень хорошо! Радость друзей — моя радость. Не так ли, отец? — с почтительным поклоном обратился Абдушукур к старику.

Мирза-Каримбай промолчал. Он вовсе не был доволен приходом этого «газетного читачи и хвастуна», прервавшего их деловую беседу, и сидел хмурый, опустив голову. Но Хаким был вежлив и предупредителен с Абдушукуром, — байбача надеялся установить через него выгодные денежные и торговые связи с его хозяином и другом Джамалбаем.

На низком столике сандала был разостлан дастархан, поставлен поднос с фруктами, сладостями, фисташками. Комната наполнилась паром от кипевшего самовара. Абдушукур колол фисташки, наслаждался крепким чаем. Продолжая непринужденно беседовать, он вынул из внутреннего кармана тоненькую книжку в желтой обложке и протянул ее Хакиму:

— Вот, собственно, цель моего посещения. Здесь восхваляют вашу милость, и я поторопился принести, показать вам.

— «Айна», — прочитал Хаким-байбача название книжки и начал ее перелистывать.

Мирза-Каримбай подозрительно взглянул на Абдушукура:

— Это еще что такое?

— Это журнал, отец, сборник такой, — ответил Абдушукур. — Выходит он в Самарканде два раза в месяц и распространяется среди просвещенных, каредовых людей... Какая в нем надобность? — Абдушукур мягко улыбнулся. — Цель журнала — наставлять на путь истины нашу мусульманскую нацию, просвещать ее светом духовных и всякого рода полезных мирских наук. Редактор журнала — редкостный человек, достигший совершенства в науке.

Мирза-Каримбай покачал головой:

— Удивительные времена! Разные слова появляются: «журнал», «сборник»... Да есть ли от них польза? Вот появилось слово «банк». Видим — польза от него, выгода очень большая. Появилось слово «вексель». И это, видим, очень нужная вещь. «Кредит», «процент», «завод», «компания» и немало других слов — все это крайне полезные вещи. А ваши? «Сборник» и еще что — «журнал»!.. Тавба!

— Таксыр, — заторопился пояснить Абдушукур, — коренной смысл полезных слов, которые вы изволили только что перечислить, именно и раскрывается в этом сборнике... Читая его, ваши сыновья приобретут еще более обширный опыт в делах и обогатятся умением извлекать еще большую прибыль из вещей, почитаемых вами за полезные.

Заметив, что Хаким никак не может отыскать нужное место, Абдушукур попросил журнал, быстро перелистал его и снова протянул байбаче:

— Вот, читайте, Хаким-ака!

Хаким-байбача склонился над книжкой. Через минуту лицо его расплылось в улыбке. Он захихикал, довольный, и взглянул на отца.

— Читайте вслух, что там пишут? — заинтересовался и Мирза-Каримбай.

Байбача протянул журнал Абдушукуру:

— Прочитайте вы.

Тот прокашлялся и с чувством начал:

— «Один из благороднейших наших баев — щедрых сторонников прогресса и ревнителей просвещения, мулла Хаким-байбача, сын Мирзы-Каримбая из Ташкента, пожертвовал «Айне» десять рублей. Наш журнал приносит ему глубокую благодарность и надеется, что такая щедрость послужит великим примером для всех почтенных баев-мусульман».

Мирза-Каримбай рассмеялся, потряхивая бородой.

— Понятно,— сказал он, не скрывая своего удовольствия,— заполучили десять целковых, как тут не похвалить!

— Нет, отец,— вежливо возразил Абдушукур.— Деньги эти попадут не в карман кому-нибудь. Журналу не хватает средств на бумагу, печатание и другие расходы, ведь «Айна» печатается в очень небольшом количества. Возможно, даже приносит убыток редактору.

Глаза Мирзы-Каримбая заиграли.

— Убыток! Зачем же он выпускает книгу, этот ученый?

— У него высокая цель, отец,— служение культуре. Он стремится просветить мусульман, открыть им глаза,— ответил Абдушукур.

— Правду говорят — бог каждому посылает какую-нибудь пользу. Кому нужна эта самая культура? И что это за штука такая? — снова разгорячился старик.— Хвала аллаху, глаза у нас у всех открыты, каждый из нас при своем деле, и каждый по своим стараниям получает и хлеб насущный. Под рукой белого царя живем мы спокойно и благоустроенно... А тут культу-у-ра!

— Верно, под сенью его величества мы живем спокойно, мирно,— согласился Абдушукур.— Но мы считаем, что в нашу жизнь необходимо внести некоторые преобразования. Надо уничтожить все вздорное, вредное, что мешает процветанию ислама. В старых школах наши дети не получают должного образования. В новых школах мы намерены наряду с благородным кораном ввести преподавание и таких полезных предметов, как география, история, счет. Если бы наши баи уделили школам некоторую толику внимания, иначе говоря, оказали бы им посильную материальную помощь, то мы, мусульмане Туркестана, в ближайшее время стали бы в ряду культурнейших наций мира.

— Хорошо, а кто будет учиться в этих школах? — спросил бай.

— Дети мусульман.

— Э-э! Дети каких-то там Ишматов-Ташматов будут учиться, набираться ума-разума, а баи деньги плати? — Мирза-Каримбай усмехнулся.— Если мальчишка учится, то польза от этого ему самому, его отцу-матери. И все расходы пусть несут те, кто хочет обучать детей. У баев есть свои дела, свои заботы. А потом, братец мой Абдушукур, сколько бай ни делай добра, благодарности от престолюдина все равно ему не дожидаться. Это уже известное дело.

— Преобразования, конечно, необходимы,— рассудительно заговорил Хаким-байбача, постукивая пальцами по краю подноса.— Неве-

жества у нас много. Европейцы подчас дивятся, глядя на нас. Но если те науки, что вы собираетесь вводить в новых школах, не противны шариату и если на это последует благословение улемов, то каждый отец ради своего сына будет помогать школе сколько в его силах. В старых школах ребята каждый четверг приносят учителю хлеб или хлебные деньги. Помимо этого, с учеников собираются деньги на циновки, на уголь, праздничные деньги. Этот обычай надо сохранить. Пусть и в новых школах дети вместо хлеба приносят каждую пятницу по пяти, по десяти копеек. Таким образом, по пословице «капля по капле — и озеро наполняется», учителю будет собрана порядочная сумма.

— Поддерживать в надлежащем состоянии школы, отвечающие требованиям нашего века, таким путем будет трудно, чтобы не сказать невозможно, — вежливо пояснил Абдушукур. — Допустим, что мы встали на этот путь. Однако многие отцы даже и трех-пяти копеек в неделю дать не в состоянии.

— На руке пять пальцев, и все они разные, — возразил Хаким. — Одному суждено быть ученым, образованным, другому — поденщиком, носильщиком. Так устроен свет.

— Если каждый пойдет учиться, кто же будет пасти скот? — уже раздраженно сказал Мирза-Каримбай. — Для поденщика, мастерового, батрака было бы сыто брюхо — и довольно с него! Каких чудес можно ожидать от их детей, если они даже кое-чему подучатся? Иное дело дети из состоятельных семей. Для них прилично быть и в школе, и в медресе.

Абдушукур молчал, не находя, что возразить баю. «И в самом деле! — думал он, запивая сладким чаем миндаль. — Тщетно помышлять об учении для детей простого народа, тогда как даже дети именитых купцов только и знают, что шлаться по улицам, играть в альчики или стравливать собак. Нет, сначала надо обучить современным наукам детей баев — столпов общества. За ними — сила. Великая честь будет для нас, если в течение десятка лет мы сумеем дать трех-четырех докторов, двух-трех адвокатов, несколько депутатов в Государственную думу. В сущности, будущее Туркестана принадлежит купцам и другим состоятельным людям. Поэтому об их-то детях и надо думать в первую очередь».

Убрали дастархан. Подошло время предвечерней молитвы, и все трое поднялись, чтобы совершить омовение. Молитва читалась здесь же, обязанности имама исполнял Абдушукур. Затем было подано большое блюдо плова. Мирно беседуя, хозяева и гость поели, и Абдушукур вскоре откланялся.

Когда он надевал в передней галоши, Мирза-Каримбай окликнул его:

— Мулла Абдушукур, завтра свадьба моей слабенькой¹. Прошу пожаловать.

— Поздравляю! Благодарю, конечно, приду.

¹ Слабенькая (заифа) — так по старому обычаю называли дочерей при разговоре с посторонними.

В узкий, непроходимый для арб и обычно глухой тупичок сегодня вошла жизнь.

Первым здесь появился Ярмат. Вышел он ранним утром и еще старательно подметал улочку метлой, тщательно засыпал землей и заравнивал все ямки, а мимо к воротам байского дома уже потянулись женщины — в одиночку и группами, с детьми и без детей.

На Ярмате была новая, но явно не по голове, нескладная тюбетейка, да и сам он напоминал в этот час человека, неожиданно получившего высокий чин и еще не освоившегося с новым положением: он непомерно задирает нос, все движения его были исполнены неестественной, будто взятой напрокат, торжественности, а на лице застыло выражение тупой важности и гордости.

Когда улочка была подметена, Ярмат разогнал шумную ватагу соседских ребятишек, затеявших здесь игру в альчики, и затем принялся носить воду из хауза во дворе мечети. Встречая людей, по его мнению, достойных, он непременно приглашал: «Прошу пожаловать на той!» — будто торжество, ожидавшееся в доме бая, было и его торжеством.

Время раннее. Еще ничего не слышно о караване с дарами жениха, еще не вышел из покоя хозяин той — Мирза-Каримбай, а движение и гомон в тупике все нарастали и нарастали. Толпа за толпой — девушки, молодые женщины, старухи в бархатных, канаусовых, бенаресских паранджах всех цветов шли и скрывались в воротах байского двора. Многие вели с собой ребятишек, придегых, с перьями филина на шапках. На подносах, на блюдах, в корзинах женщины несли жаркое, нельмени, слоенные пирожки, тонкие, испеченные на сале лепешки, всевозможные фрукты, фисташки, миндаль.

Со стороны ичкари доносились непрерывный гомон и смех женщин, плач грудных детей, шум, гам. Даже Ярмат, видевший на своем веку не один байский той, проходя по переулку с ведрами, удивлялся: «Столько женщин, столько детей! Где они разместятся? А сколько приношений?!»

Завидев Юлчи, показавшегося в начале улочки, Ярмат закричал ему издали:

— Эй, Юлчибай! Иди, иди. Вот удача тебе — прямо на той попал!

— Что за той, Ярмат-ака? — с удивлением спросил Юлчи, подходя ближе.

— Э-э, ты еще ничего не знаешь? — в свою очередь удивился Ярмат. — Сегодня начинается той дочери нашего хозяина, Нуринысы. Великий той!.. — с хвастливой гордостью объявил он и зачистил: — Арбу у въезда в тупик, на большой улице оставил? Хорошо. Отведи коня в конюшню и быстрее сюда. Работы — уйма!

Юлчи все время был занят на полевых работах, жил на хлопковом участке и потому о свадьбе Нури до сих пор ничего не слышал. Последнее время он перевозил хлопок на склад, дважды в день приезжал в город, но не хотел показываться на глаза хозяину и на ночь возвращался обратно. Только сегодня, после первой же ходки, он зашел повидаться с хозяином — надо было подковать лошадь и перетянуть шины.

Неожиданное известие взволновало Юлчи. Правда, в сердце юноши

все еще жил образ девушки, которую он только однажды видел в поместье Мирзы-Каримбая, но он не забывал и горячих, страстных речей Нури. «Если бы девушка меня не любила, — часто думал он, — разве стала бы она гоняться за мной, искать встречи где-то в чужом доме? Разве вышла бы она ко мне ночью, рискуя своим добрым именем и честью?» Услышав о свадьбе Нури, Юлчи почувствовал какую-то неясную обиду и грусть, точно его незаслуженно унизили и оскорбили. Сам всегда искренний и прямой, он и в других не мог допустить подлости и пытался найти оправдание девушке. «Что могла сделать бедная Нури? — размышлял он. — Могла ли девушка сказать отцу-матери, что любит другого? Да еще кого: бедняка работника!.. Ясно, она никому не открыла своего сердца. Затаила свое горе... Был бы я сыном какого-нибудь бая, она если не родным, то другому кому из близких намекнула бы. А сейчас, наверное, забилась куда-нибудь в угол и плачет горько... Впрочем, кто знает. Купеческий сын, пожалуй, хорош собой. Свахи, наверное, так расхвалили его, что Нури и позабыла обо мне. Любовь таких балованных девушек что вешний снег: повалит густо-густо и тут же тает».

Как только Юлчи вышел из конюшни и показался в переулке, Ярмат тотчас передал ему коромысло и ведра. Обращаясь к Мирзе-Каримбаю, важно прохаживавшемуся по улочке в дорогой лисьей шубе, он сказал с угодливым смехом:

— Бай-ата, сегодня мы, наверное, вычерпаем половину хауза!

Бай, будто и не слышал, ничего не ответил. На приветствие Юлчи он также пробурчал что-то неразборчивое.

В полдень по улочке с криками «Той прибыл, той!» засновали уличные ребятишки. В начале тупика показались согнувшиеся под тяжестью огромных мешков два возчика и несколько соседских парней. Ярмат, увлекая за собой Юлчи, побежал им навстречу. В подарок к тою жених прислал пятнадцать тяжело нагруженных разным добром арб...

С криками, с шумом и смехом возчиков по обычаю обсыпали мукой, те сразу стали похожи на мельников. Под блеяние двух десятков баранов, под ругань и шутки возчиков и парней, под крики махаллинских ребят арбы были быстро разгружены. Добро начали переносить на байский двор. Целые арбы муки, риса, мешки миндаля, фисташек, десятки корзин халвы, полсотни ящиков с разными фруктами...

Под арбами, точно муравьи, ползали ребятишки, собирая все, что просыпалось на землю. Несколько подростков догадались прорезать пару мешков, вскрыть один из ящиков и принялись под шумок набивать карманы фруктами и миндалем.

Их проделку заметил Ярмат.

— И что за бессовестный народ! Эй, тебе говорю, не дырявь мешок! — заорал он.

Кто-то из возчиков попытался обратить все в шутку:

— Это же дары для тебя. Дай полакомиться!

Парни, помогавшие переносить добро, обиделись:

— Даром, что ли, мы ломаем спины вашими мешками!

«В самом деле, что тут такого, если ребята полакомятся? — подумал Юлчи. — Стоит ли из-за такого пустяка рычать на людей!»

Неожиданно подошел Хаким-байбача. С ним был смазливый молодой человек, разодетый, видно, из очень богатой семьи. Хаким нахмурил брови, явно недовольный шумом и тем, что на пути к дому собралась толпа плохо одетых людей. Он грубо выкрикнул:

— Это еще что такое? Места своего не знаете?

Ребята бросились врассыпную. Попятились и остальные. У арб остались только возчики да Ярмат с Юлчи. По адресу байбачи с разных сторон посыпались нелестные эпитеты и даже ругань.

Сали-сапожник, пристроившийся со своей немудреной работой под дувалом, напротив, встал на сторону ребят:

— Молодцы! Так и надо. Раз той, зачем же страшать, разгонять народ!

Хаким-байбача, точно он и не слышал слов «простолюдина», зашагал к дому, глядя прямо перед собой и никого не замечая.

Вслед ему с другой стороны улицы послышался насмешливый хохот сапожника.

Ярмат пугливо оглянулся и покачал головой.

— Можно ли выказывать такое неуважение к сыну богатого и почитаемого всеми человека! — сказал он с укоризной и тут же добавил уже сердито, видимо обидевшись за хозяина: — Когда только вы ума-разума наберетесь, Сали-ака?

— Ума-разума? — блеснул на него глазами Сали.— Не только ум — мы и силы свои вон таким отдали.— Сапожник кивнул в направлении тупика.— А они нас теперь и за людей не считают.

Ярмат не нашелся что возразить. Юлчи подумал: «И верно! Я им родственник, а байбача и на меня посмотрел так, словно на пустое место...»

Дары, присланные женихом, были перенесены на байский двор. Через час после этого начали прибывать гости — купцы и духовные лица, приглашенные из других частей города. Их встречали, расположившись на скамейках, поставленных в два ряда по одну и по другую сторону улочки, сам Мирза-Каримбай, имам приходской мечети, купцы и другие состоятельные люди квартала. Гости из «торговых людей» были, как и подобает им, внешне скромные, а на самом деле их распырало от скрытой гордости и спеси. Блюстители религии, наоборот, выступали важно, с нарочитой медлительностью и величием.

Сопровождаемые ловкими, расторопными и сладкоречивыми тойбаши, знатные гости торжественно следовали дальше, в первую мужскую половину байского двора. Через некоторое время они столь же церемонно возвращались, поглаживая масливишиеся после жирного плова бороды и внушительно отрывивая. У каждого под мышкой был большой узел с лепешками, фруктами, сладостями. Особенно объемистыми были узлы улемов и ишанов.

До простых людей квартала черед еще не дошел. Если в улочке вдруг появлялся какой-нибудь чапан, глаза тойбаши начинали метать искры. Беднягу, обладателя чапана, ненароком, по простоте душевной зашедшего раньше положенного времени, незаметно оттирали к дувалу, шипели: «Почему такая прыть?!» — и так же незаметно впахивали в какую-нибудь соседскую калитку. Мирза-Каримбай в этом отношении

был особенно строг, он заранее предупредил всех тойбаши: «Чтоб никакого нарушения порядка! Каждый должен быть принят в свое время, в своем месте и соответственно его положению и сословию!»

На долю Юлчи выпало прислуживать знатым гостям. Среди такого множества важных людей юноша чувствовал себя очень стесненно: ему все казалось, что он нечаянно толкнул кого-то или наступил кому-то на ногу. Особенно злило Юлчи то, что в покоях, отведенных для пира, было так тихо, точно их залило водой. Все гости говорили шепотом, а у тойбаши словно языки поотрезали: между собой они объяснялись только знаками, распоряжения давали только движениями рук и глазами — подать столько-то блюд плова, принести столько-то подносов фруктов. Ходить здесь нужно было быстро, но бесшумно, руки освободились — сейчас же почтительно сложи их на груди. Даже чайником или чашками загреметь нельзя.. Когда выпадала свободная минута, Юлчи отходил к порогу, отчужденно поглядывал на гостей «великого тоя» и думал: «Это не той, а поминки!.. Не понимаю, чем тут можно гордиться и хвастать?..»

III

Освободившись от хлопот по тою, Юлчи прошел в людскую — небольшую хибарку, которая была приткнута в дальнем, глухом углу двора и потому бросалась в глаза среди других построек.

Уже стемнело. Юноша зажег маленькую лампу с отбитым до половины стеклом и сидел одинокий и всеми забытый.

Хибарка была низкая и сырая. На высоком месте¹ ее по земляному полу была разостлана полусгнившая черная кошма; ближе к двери — пол голый. В стенной нише стоял старый ящик, на нем два рваных одеяла и грязная жесткая подушка, набитая шерстью. Здесь ночевали батраки, приезжавшие по какому-либо делу из загородных владений бая.

Юлчи попал в людскую впервые. Занятый обслуживанием гостей, а еще больше по своей застенчивости, юноша, несмотря на обилие угощений на тое, остался полуголодным. Он сидел на кошме, прислонившись спиной к холодной глинобитной стене, и думал: «Что за люди живут в этом доме? Каждый занят только самим собой, а у всех вместе только и заботы — показать свое богатство и важность. Вот я — родственник, а сыт ли я, голоден ли, никто из хозяев даже и не вспомнит...»

Появилась голова Салима-байбачи, не решавшегося войти в это темное, грязное помещение.

— Ты здесь, Юлчибай?

— Ассаям! — из вежливости Юлчи поднялся. — Что же вы так и не показались на тое, Салим-ака?

— В магазине был, — невнятно пробормотал байбача. — Ярмата сейчас нет, — ты заложил фаэтон, съездим в одно место.

— Фаэтон? — широко раскрыл глаза Юлчи.

— А, ты еще не видел? Это как у извозчиков. Уже целый месяц

¹ Высокое место — почетное место в доме, то же, что передний «красный» угол.

ездим. Новый конь, новый фаятон. Он в большом сарае. Сумеешь запрячь?

— Попробуем.

— Давай быстрей!..

...Фаятон остановился на одной из улиц нового города, у подъезда одноэтажного здания, из окон которого лился яркий электрический свет. По обе стороны подъезда выстроился длинный ряд извозчицких колясок.

Салим-байбача сошел с фаятона и, бросив на ходу: «Жди меня здесь!» — быстро взбежал по ступенькам крыльца и скрылся за дверью.

Ночь была темная, туманная. Редкие фонари скупо освещали широкую прямую улицу тусклыми, холодными лучами.

— Как живешь, братец? — легонько толкнул кто-то Юлчи.

Юлчи по голосу узнал Джуру — кучера Джамалбая.

— А, Джура-ака, здоровы ли? — обрадовался он и протянул для приветствия руку.

Джура, окинув внимательным взглядом коня, затем фаятон, спросил:

— Когда купили? Конь мелковат, кажется.

— Говорят, недавно. Я первый раз выезжаю. До этого, наверное, Ярмат-ака гонял.

— Скверное это занятие. Будешь скучать, томиться, поджидая хозяина, дрожать на холоде как осенний лист.

— Куда это мы приехали? — поинтересовался Юлчи.

— О, это «седьмое небо». Сюда не каждый может попасть... — Заметив недоуменный взгляд Юлчи, Джура прибавил: — Здесь то самое место, где наши молодые бай развешивают отцовские денежки...

— Ну, что закажем? — спросил Салим-байбача.

— А что покрепче. Я — за коньяк, — ответил хлопковик Джамалбай.

— Нет, я пью красное, — возразил Салим.

Джамалбай, заскрипев стулом, пошевелинулся грузным своим телом, оперся мясистыми руками о стол, покрытый белой скатертью, склонился к Абдушукуру:

— Таби шума¹? Говорите, Абдушукур!

— Я... — засуетился Абдушукур. — Я и сам не знаю, что мне больше подойдет. Доктора предписывают мне коньяк. Пусть будет коньяк.

Салим-байбача пошутил:

— Вы всегда чокаетесь с Джамалом-ака. Составьте хоть раз компанию мне — пейте красное!

— Человек этот — мой благодетель и наставник, — серьезно ответил Абдушукур.

— Интересно! Каким это образом безграмотный человек, не умеющий поставить своей подписи, может быть наставником такого ученого человека, как вы? — хитро прищурил глаза Салим.

¹ На это всего-то вы и способны?

Абдушукур улыбнулся.

— Из истории известно, что многие святые были людьми неграмотными. Даже пророк наш не был умудрен грамотой, Салимджан!

— О, Абдушукура не переговоришь, его сам бог скроил для разговоров, — отдуваясь, рассмеялся Джамалбай.

Официант принес коньяк и красное вино, а немного погодя подал шашлык по-кавказски.

С каждым выпитым стаканом все больше краснели лица приятелей, живой разматывался клубок беседы.

— Пейте, Салимджан, пейте, Абдушукур! — воскликнул Джамалбай. — Короткую жизнь на этом свете надо провести как можно веселее и слаще. Вчера мы малость сыграли в карты, а потом здорово выпили. Так я обскакал там даже одного московского фабриканта — выиграл у него четыре тысячи и в выпивке оставил далеко позади, ей-богу! Он все удивлялся: «Неужели, говорит, мусульмане так пьют? Ну-ка, пейте, пока, как говорится, не остыло».

Абдушукур, довольный тем, что он сидит в ресторане, доступном только богачам, на память начал читать по-персидски рубаи Омара Хайяма.

Вина! Чтоб даже прах мой — даже он! —
Был винным ароматом напоен.
Чтоб путник, у моей могилы проходя,
Был ароматом винным опьянен!

Заметив, что его собутыльники не все поняли, Абдушукур поспешил разъяснить им смысл рубаи.

Джамалбай похвалил:

— Очень занятная песня! Только почему вы сложили ее по-таджикски, а не по-своему?

— Извините, это не по-таджикски, а по-персидски, и не песня, а рубаи... Рубаи поэта Омара Хайяма, — ответил Абдушукур.

— Ах, вон как! — рассмеялся Джамалбай. — Ну, разумеется, для вас сложить что-нибудь похожее так же трудно, как выжать воду из камня. Но вы, мулла Абдушукур, все же попытайтесь, может, что и получится... — Джамалбай передохнул, опрокинул в рот стакан коньяку. — А он, видно, получше меня пьяница был, этот таджик, как его... Омар Бахрам, кажется?.. Ну ладно, ладно, я немного ошибся. Пусть будет Омар Халлам. А вот вы только и умеете: «Откроем глаза! Будем наслаждаться в цветущем саду науки! Срывайте с глаз завесы невежества!..» А у кого из нас глаза закрыты этими самыми завесами! У меня? У Салимджана? У Хакима-байбачи? Да и все наши бай разумные люди. Они потому и разбогатели, что у них ум есть. Не так ли, Салимджан?

— Глаза у нас открыты, Джамалбай-ака, верно, — вмешался в разговор Салим-байбача. — Но все же между грамотным, ученым купцом и неученым есть разница. Грамотный бай сам разбирается во всем, редко ошибается в делах.

— Это, пожалуй, правильно, — согласился хлопковик. — Взять в пример хотя бы меня. Дела у меня идут неплохо, но в правилах ком-

мерции я разбираюсь мало. Законов не понимаю. Затвердил, встречаясь с русскими, десяток мудреных слов, их в случае чего и пускаю в дело. Детей своих мне хотелось бы учить, да боюсь, не пошатнулись бы в вере.

— Джамалбай-ака, — прищурил пьяные глаза Салим, — если крепко держаться веры ислама и бережно хранить в сердце установления шариата, можно учиться современным наукам, и никакого вреда от этого не будет. Вот сын Саидалима-ака учится в большой школе, называют ее гимназией. И ходит он в школу в фуражке. Вы понимаете: в фуражке!

— Не может быть! — заиграл белками глаз Джамалбай. — Чтоб сын мусульманина и носил фуражку!

— Носит, это я хорошо знаю. Но зато дома он не пропустит за день ни одного из пяти намазов. — Салим поднял стакан. — Выпьем!

— Апельсинов, коньяку!

— Бутылку марсалы!

Абдушукур легонько тронул хлопковика за плечо:

— Разрешите, Джамалбай... одну минуту. Хочу дать маленькое пояснение... Я уже много раз говорил вам, хотя, к сожалению, в разъяснении моих истинных намерений еще не имею должного успеха. Главная идея вашего покорного слуги такая — повторяю это еще раз: наши баи, баи-мусульмане, должны полностью завладеть национальным капиталом. Иначе говоря, вся торговля в Туркестане должна быть в руках наших баев. Пусть они сами отправляют отсюда свои товары в Москву, в Варшаву и другие города и сами же привозят товары оттуда. Я хочу сказать: надо прижать хвосты всем посредникам — еврейским и русским купцам. Но, чтобы добиться могущества национального капитала, Джамалбай-ака, необходимо знать экономические науки. Необходимо быть сведущим во всем, не отставать от веяний времени. Верно, разумные деловые люди у нас есть, и число их множится. Однако этого не достаточно. Надо растить культурных купцов, знакомых с коммерческими науками! Понятны ли вам теперь стремления вашего покойного слуги? Выпьем за национальный капитал.

— За просвещенных коммерсантов! За национальный капитал! — поднял бокал Салим-байбача.

Появилась новая бутылка коньяка, марсала и ваза с апельсинами. Джамалбай еще держался бодро, но глаза Абдушукура глядели уже тупо. Салим-байбача после двух новых бокалов марсалы опьянел. Он безудержно болтал, перемигивался с женщинами.

Жизнь в ресторане кипела. Не умолкая гремела музыка, прибывали новые посетители — хорошо одетые русские купцы и чиновники. Немало тут было и купцов-татар. Баи-туркестанцы занимали всего несколько столов. За одним, заставленным пивными бутылками, столом дремал подвыпивший брат скотовода Султанбека — Арсланбек. Посредине зала, между двумя русскими женщинами, положив на стол тубетку, сидел сын бая-заводчика — Миркамиль. Он то закидывал ногу на ногу и, морща маленькое, пьяное и без того невзрачное лицо, неумело закуривал папиросу, то подносил женщинам вино и сам выливал им в рот, нашептывая что-то и хихикая. Он вел себя так, будто в ресторане

никого больше не было. За столом в углу расположились четверо широкоплечей крепышей в нескладно сшитых одеждах из дорогих тканей, по-видимому, токмакские или алмаатинские купцы. Эти тоже вели себя так, словно были у себя на складе или собрались на дружескую вечеринку. За их столом, заставленным бутылками, не прекращался громкий хохот. Особенно весел и разговорчив в этой компании был пожилой человек в большой чалме, с белоснежной бородой, но с молодым, как у юноши, румяным лицом.

Салим-байбача усадил рядом с собой какую-то женщину — круглолицую, широкоплечую, с высокой грудью. Женщине было уже за тридцать, однако, набеленная, нарумяненная и подпудренная, она казалась гораздо моложе.

— Шампанского! — распорядился байбача.

— Ой, не надо, не надо! — жеманно протестовала женщина.

— Еще чего? Что заказать из сладостей? — еле выговаривая русские слова, бормотал пьяный Салим.

Джамалбай облизнул губы.

— А она -- ничего... Не плоха! — похвалил он и наклонился к Абдушукуру. — Абдушукур, подмигните еще какой-нибудь красавице.

— У этой женщины была приятельница. Очень симпатичная. — Абдушукур оглянулся вокруг. — Они только что были вместе.

— А вы? Вы тоже не отставайте!

— Я полюбуюсь вашими красотками — и с меня довольно.

— Э-э, может ли брюхо быть сытым от одного запаха еды? — рассмеялся Джамалбай и повернулся к женщине. — Мадам, пей, пей, довольно будешь.

— Интересно, — заговорила женщина, кокетливо щуря голубые глаза, — мусульмане или совсем не пьют, или, если уж начнут, не удерживают. Удивительный ваш народ — азиаты...

Чокнувшись с Салимом, а затем и с остальными, она выпила шампанского и, кокетливо играя глазами, приняла на себя роль хозяйки: сама наливала мужчинам вино, настойчиво угощала. Пробежав глазами меню, заказала самые дорогие кушанья, вина. Говорила она без умолку и, может быть, потому, что он казался ей самым солидным и в то же время щедрым и простодушным, обращалась чаще всего к Джамалбаю. Многих ее шуток хлопковик не понимал. Он показывал женщине толстый красный язык, покачивал головой и просил Абдушукура:

— Послужите мне за толмача. Насмехается, что ли, надо мной эта красотка?

— Нет, она влюбилась в вас. Все ее чувства и помыслы заняты вами.

— Какая там любовь! Тут зацепка — деньги... Есть у тебя деньги — всем будешь нравиться, тебя и ангел обнимет. Наше время — время денег... Спросите, как звать эту красавицу?

— Анна, — ответил Абдушукур.

К столу подошла женщина — молодая, высокая, красиво и со вкусом одетая. Женщина с улыбкой наклонилась к Анне, о чем-то долго шептала. Потом обе рассмеялись, и она собралась было отойти, но

Джамалбай схватил ее за руку, пододвинул свободный стул и, хлопая ладонью по сиденью, несколько раз настойчиво повторил:

— Садись, мадам, садись!

Женщина с минуту колебалась, потом молча, нерешительно присела. Анна нахмурилась, вздохнула. Во взгляде ее промелькнуло выражение ревнивого недовольства.

Снова посыпались заказы, появились новые кушанья, вина, вазы с гранатами и яблоками. Попойка разгоралась.

Подняв верх фазтона, Юлчи прикорнул на холодном, обитом кожей сиденье. Сильный мороз жег лицо, больно щипал за уши. Немели пальцы ног, в пустом желудке, казалось, гулял холодный ветер.

Время далеко за полночь. На улице — ни души, если не считать полицейских да одного-двух пьяненьких прохожих. Только около ресторана все еще не замирало движение. Подъезжали и отъезжали извозчики, слышалось щебетанье женщины на незнакомом для Юлчи языке, смех мужчин...

Джура долго рассказывал все, что знал и слышал о попойках и кутежах хозяев. Потом предупредил: «Можешь спать. Сегодня хозяева будут здесь до рассвета». Он свернулся на своей коляске и умолк. Но Юлчи — потому ли, что его беспокоил голод, или с привычки — уснуть не мог.

Неожиданно послышался сиплый, пьяный голос:

— Юлчибай, ты здесь?

Юлчи встрепенулся:

— Салим-ака? Что, поедем?

— Не т-то-торопись!

Юлчи выпрыгнул из фазтона. Салим-байбача стоял в трех-четырех шагах, обняв дерево, — его стошнило. Пошатываясь, он подошел к Юлчи, схватил его за руку:

— Ид-дем! Сейчас же! Фа-фазтон будет стоять. В-волки его н-не съедят.

Не обращая внимания на протесты Юлчи, упрямый, подвыпивший байбача потащил его, крепко вцепившись в рукав халата.

Когда они вошли в шумный, залитый светом зал, у Юлчи закружилась голова — так ослепительно ярок был свет и так все здесь было для него необычно. Ошеломленный и растерянный, юноша на миг задержался у двери и потерял из виду Салима. Он беспомощно озирался по сторонам, разыскивая хозяина, и очень обрадовался, когда взгляд его нечаянно натолкнулся на Абдушукура, который подавал ему какие-то знаки. Пересилив робость и смущение, юноша подошел к столу, но, как только опустился на указанный ему стул, снова растерялся и сидел, не смея поднять глаз.

Салим-байбача налил полный стакан вина, поставил его перед Юлчи:

— Пей! И принимайся за еду!

— Благодарствую, я не пью.

— Джура покажи только выпивку — с крыши спрыгнет. Ты промерз на улице — пей, джигит! — снисходительно проговорил Джамалбай.

Но Юлчи пить не стал. У него и к еде пропала охота. Он взял только палочку остывшего шашлыка.

Обе женщины — Анна и Мария — бесцеремонно рассматривали парня, перешептывались, посмеиваясь над его простотой и скромностью. Мария, наполнив стакан густым красным вином, встала, подошла к нему.

— Вино яхши, яхши,— говорила она, поднося стакан к губам Юлчи.

Ощувив запах вина, тот сморщил лицо, покачал головой:

— Нет, не буду!

Мария спросила у Абдушукура, как по-узбекски «пей», и продолжала настаивать:

— Ич, геркулес, вино яхши...

Чтобы не показаться смешным, Юлчи взял стакан, в два глотка опорожнил его и вытер ладонью губы. Женщины громко рассмеялись. Анна, не желая отставать от Марии, тоже попыталась угостить Юлчи; она уговаривала его с такими ужимками, будто он был малым ребенком. Юлчи резким движением руки отстранил стакан и даже отвернулся.

В это время кто-то толкнул его в спину. Джигит оглянулся: за ним стоял высокий, полный старик с окладистой бородой и прямыми, подрезанными в скобку волосами, блестящими, точно смазанные маслом. Юноша принял его за русского купца.

Старик что-то говорил сердито и указывал на дверь. Юлчи вспыхнул, поднялся, но Салим-байбача приказал ему остаться и бросил старику несколько слов по-русски. Тот пожал плечами, точно хотел сказать: «Это не в моей воле», но потом вдруг смягчился и, довольный, даже ухмыльнулся в бороду.

Абдушукур успокоил Юлчи:

— Сиди. Старик согласился получить «на чай». Это швейцар, по нашему — привратник.

Салим-байбача, поддерживая одной рукой локоть Анны, поднял бокал:

— Выпьем!

Джамалбай все еще держался бодро. Толстыми, мясистыми пальцами он поглаживал то изящные, тонкие руки, то колени Марии.

Под влиянием выпитого вина женщины перестали стесняться, держали себя вольно. Глаза их горели, щеки рдели румянцем; без умолку болтали, смеялись.

Абдушукур теперь пил мало, зато много ел. Он прислушивался к беседе за соседним столом. Там сидели двое: один — уже пожилой, по виду знатный человек или коммерсант, а может быть, и то и другое вместе, второй — средних лет, в пенсне, изысканно одетый. Абдушукур принял его за инженера.

— Смотрите! — говорил инженер. — У этих азиатов заводятся европейские порядки. Вот богатые люди пьют вместе со своим слугой, а может быть, даже рабом. Демократия!

Чиновник тоном знатока возразил:

— Нет, азиаты, безусловно, низшая раса. Они абсолютно не-

восприимчивы к цивилизации. Я уже двадцать лет живу в этой жаркой стране и достаточно хорошо изучил психологию здешнего народа. Очень низки по своему развитию. Но у них есть и некоторые особенности, еще не освещенные наукой. Судя по моим наблюдениям, у них, например, довольно развито чувство прекрасного. Они любят цветы. Идет — одежда грязная, рваная, а за ухом цветок. Любят песни, танцы. Но все они трусы, все коварны. Верите ли, среди них вы не найдете ни одного откровенного, искреннего человека!

— Многие восторгаются музыкой и мелодиями дикарей, негров например. А какова музыка у этих? — спросил инженер.

Чиновник опорожнил бокал, вытер губы и бороду салфеткой и уверенно пояснил:

— Возмут в руки блюдо какое-нибудь или поднос и начинают греметь и орать. От такой «музыки» мы с вами за десять верст убежим. Но слушают они с исключительным вниманием. Есть и музыкальные инструменты, но очень примитивные. У них, между прочим, глупейшая привычка: сидеть на полу, поджав ноги. Для нас это мученье, а для них, видите ли, отдых! В местном доме, пусть это будет бедняк или богач, имеется одна пиала, из которой все пьют по очереди. Две пиалы — это уже нарушение обычая и почитается за великий грех...

— Василий Иванович! — обратился инженер, отпив глоток вина и положив в рот кусочек бифштекса. — В этих местах я новичок. До сих пор не видел даже азиатской части Ташкента. Откровенно говоря, один я побаиваюсь туда идти. При всей любви к цветам и музыке здешний народец остается диким. Вчера я получил из Петербурга письмо. Жена беспокоится, просит быть осторожным. Если вам позволяет время, не откажите побывать со мной на досуге в старом городе.

— Охотно... Вы попадете в средние, а может быть, даже и в более ранние века. Увидите дикие, но прекрасные картины!.. Это особенно интересно для вас, для петербуржца... Возвратитесь в столицу, расскажете о своих впечатлениях. О, я уверен, это прозвучит там как сказка...

Абдушукура так и подмывало вмешаться в разговор, предложить свои услуги петербуржцу, но он никак не мог найти удобного предлога. К тому же внимание его было привлечено только что поданным новым блюдом.

Салим-байбач окончательно опьянел. Сам он пил мало, но делал все новые и новые заказы. Стол их был загроможден целыми батареями бутылок, тарелками, всевозможными приборами. Анна и Мария кокетничали, хохотали, пили сами и уговаривали пить баев.

От шума и музыки, от винного перегара, запаха духов и пудры у Ючи кружилась голова. Он озирался по сторонам, точно вдруг очутился в незнакомом мире, где все — и обстановка и люди — было чуждым и даже враждебным. Ему казалось, что все, находившиеся в зале, разглядывают его, недоумевают: «Зачем ты здесь? Знай свое место!»

Из головы юноши не выходил случай со стариком, указавшим ему на дверь. Тогда он остался, покоровшись воле хозяина, хотя сердце его готово было разорваться на сорок кусков, а теперь не знал, как бы по-

скорее сбежать. Он проклинал в душе Салима, ругал себя за то, что подчинился подвыпившему байбаче.

Решившись наконец, Юлчи незаметно встал из-за стола, пробрался к двери и выскользнул на улицу. Холодный ветер, ударивший в лицо, показался ему ласковым поцелуем. Он подошел к дремавшему коню, обнял его за шею; расчесывая пальцами гриву, гладил по голове и доверчиво, как другу, шептал:

— Тебе холодно? Холодно, дорогой мой?..

IV

Юлчи проснулся рано. Крупные хлопья снега бились в маленькое оконце людской, через разбитое стекло залетали внутрь. Старая кошма, на которой спал Юлчи, отсырела, противно пахла прелью и овечьим потом.

Юлчи поднялся, набросил на плечи тонко стеганный ватный халат, надел уже изрядно послужившие другим батракам старые, стоптанные сапоги с опойковыми голенищами и со сплошными, грубыми, как лубок, союзками, подвязался поясным платком и отправился на конюшню. Он сгрел навоз, почистил ясли и уже принялся резать на сенорезке клевер, когда в конюшню вошел Ярмат. Оказалось, что хозяин распорядился оставить арбу на пару дней в городе: назавтра предстояла свадьба и арба могла понадобиться.

Подседлав коня, который ходил в арбе, Ярмат повел его к выходу. Затем обернулся, подозвал Юлчи:

— У старшей хозяйки есть поручение. Она наказала было мне, да у меня спешное дело, и я сослался на тебя. Зайди к ней. Да не забудь!

Юлчи миновал крытый проход, ведущий в ичкари, постучал кольцом калитки.

— Позови старшую хозяйку, — попросил он мальчика, выбежавшего из ичкари на стук.

Вскоре к калитке медленно, вперевалку подошла Лутфиниса, одетая в дорогую, крытую черным бархатом шубу и теплый пуховый платок.

— А, Юлчибай!

— Здравствуйте, тетя! Поздравляю с тоем! У вас ко мне дело?

— Да, — Лутфиниса понизила голос почти до шепота. — Запрягай коляску. Говорят, где-то неподалеку есть знахарь. И будто наговор того человека самый верный... Нури к нему поедет. Только смотри никому об этом ни слова... Лучше всего съездить сейчас, пока дядя твой на базаре.

— Хорошо, тетя, хорошо.

Юлчи повернулся было, но Лутфиниса остановила его.

— Постой, не спеши. Подойди-ка сюда. Коляску подашь вон в тот переулок, рядом. Нури подойдет туда: соседи чтоб не осудили. Для них, сгинуть им, не доступны — худо, и переступи — не любо. Понял?

— Сейчас будет готово, тетя.

Юлчи поджидал Нури в условленном месте. «Не уловка ли это? — думал он. — В самом деле, поездка к знахарю, наговор — это, конечно, только повод... Девушка, наверное, хочет повидаться со мной. Она ведь

очень хитрая и смелая... все может... А вдруг она скажет: «Я люблю тебя. Отец с матерью выдают меня за какого-то байбачу. А мне никого не надо, кроме тебя...» Что тогда делать? Что я ей отвечу?»

Юлчи и верит и не верит своим догадкам. Фантазия рисует ему картины их бегства, ярких, необычайных приключений. А он смотрит на холодное, хмурое небо, швыряющее на землю хлопья снега, и только тяжело вздыхает...

Из переулка напротив, скрытая под шелковой, вишневого цвета паранджой, торопливо вышла Нури. Не поднимая чачвана, девушка оглянулась по сторонам и затем уже подошла к фазтону:

— Где вы запропали, Юлчи-ака? Неужели до сих пор работа в поле не кончилась?

— Работа всегда найдется. Да и не в моей воле жить там, где хочу,— негромко заметил юноша.

— Вот и свадьба моя пришла. И так неожиданно... Хорошо, что вы подоспели.— Девушка тихонько рассмеялась.

— Садитесь в коляску,— потухшим голосом предложил Юлчи, подбирая вожжи.

— Подождите. Должна подойти женщина... будет сопровождать меня.

Нури уселась в коляску и принялась жаловаться:

— Как назло, снег пошел. Ехать за наговором по такой погоде! А все выдумки матери. Ей бы только ворожить!.. Сидела я в тепле, а тут... Ну его, знахаря этого...

Юлчи вспомнил свои недавние раздумья, сомнения и невольно расхохотался.

— Чему вы смеетесь? — настороженно спросила Нури.

Юлчи замаялся было, но быстро нашелся:

— Так просто, сестрица. Чего на свете больше всего? Смеха да слез. Плакать джигиту не к лицу, вот я и смеюсь.

Нури поняла его по-своему:

— Знаю... Вспомнили ту ночь... Теперь смеетесь. Что ж, смейтесь...

— Нет, нет!.. Не думайте так!..

К ним, скользя и спотыкаясь, приближалась женщина в старой, рваной парандже.

— Сгинуть бы и снегу и капишам моим, еле добежала. Нури-ай¹, вы очень, видно, чисто вылизали сегодня дно горшка?²

— Нет, тетушка Хайри, совсем не лизала,— рассмеялась Нури.

— Коляска у вас какая мягкая, а! Сидишь, как на плюшевом одеяле. Прямо души услада! — тараторила женщина, усаживаясь рядом с Нури.

Миновали Хадру и Ахун-гузар. Следуя указаниям тетки Хайри, Юлчи свернул в узкую улочку и остановил лошадь перед покосившейся калиткой какой-то полуразвалившейся хибарки. Женщины тотчас скрылись за калиткой.

¹ Ай (луна) — употребляется как постоянная приставка к женским именам, а при фамильярно-ласковом обращении может быть прибавлена к любому женскому имени.

² Примета к снегу или дождю.

Снег уже покрыл толстым слоем крыши, пригнул ветви деревьев и все сыпал и сыпал. Неподалеку суежилась кучка ребят. Одежка на всех еле держится; у иных через рваные голенища ичигов свисают грязные портянки, иные же и вовсе в старых галошах или капишах, из которых вместо портянок точала по бокам солома. А лица у всех радостные, возбужденные,— первый снег преобразил неприглядную улочку и принес для них новые игры. В переулке звенели крики, смех.

Часть ребят, разделившись на две партии, играла в снежки. Человек пять-шесть катили в сторонке большущий, выше своего роста, снежный шар. Мальчишки поминутно дули на замерзшие руки, совали пальцы в рот и под мышки...

Юлчи с интересом наблюдал за игрой ребят. От волнений и дум, занимавших его полчаса назад, когда он поджидал Нури, не осталось и следа. Теперь для него все стало ясно. Девушка, не так давно шептавшая ему горячие слова любви, даже не считала нужным скрывать свою радость, что выходит замуж за другого.

Поведение Нури, понятно, задело самолюбие джигита. Но он трезво смотрел на жизнь, хорошо понимал свое положение в доме Мирзы-Каримбая и с самого начала сомневался в искренности чувств Нури. Он нашел, что такой конец вполне естествен.

Юлчи смотрел на ребят и вспоминал свое детство, кишлачных товарищей. Он тоже рос живым, как огонь, и веселым. Как и все кишлачные ребята, он с ранних лет пошел на работу, но находил время и для игр. Особенно в зимнюю пору... Только там, в кишлаке, игры затевались не в таких вот узеньких, тесных улочках, а на широкой, открытой площади. Там была высокая, покрытая зеркальным льдом гора, с которой скользили, кувыркались, летали на санках...

Брошенный чьей-то не очень меткой рукой крепко умятый снежный комок, видимо, сделал перелет, скользнул по голове Юлчи, сбил набок тубетейку. Среди мальчишек послышался смех. Рассмеялся и Юлчи. Ребята после этого осмелели, подошли ближе. Поблескивая глазами, они любовались коляской, конем. Эх, вот бы сесть в такую арбу, припустить рысака и, покрикнув: «Пошт, пошт!» — прокатить по городу, удивляя прохожих. Кое-кто из ребят старался дотянуться до лошади, другие трогали и поглаживали коляску: из чего она сделана — такая блестящая?

Возле фазтона завязалась оживленная беседа. На Юлчи посыпались вопросы:

— За сколько купили такую арбу, ака? — поинтересовался, видимо, самый бойкий из ребят.

— Об этом надо спросить у хозяина, мне откуда знать, — рассмеялся Юлчи.

Кто-то из мальчишек с ребяческой прямоотой пояснил:

— Была бы коляска его собственная, ака не носил бы такой старый халат и такие рваные сапоги.

— А что, отсюда... ну вот прямо отсюда до Шейхантаура скоро можно доехать? — полюбопытствовал третий, шустрый, быстроглазый мальчик.

— Не успеешь и глазом моргнуть.

— А до нашего двора? — вырвалось у кого-то из ребят.

Улицу огласил звонкий хохот:

— Откуда этому человеку знать, где твой двор?

Ребята весело хохотали. Вздрагивая всем своим крупным телом, вместе с ними смеялся и Юлчи.

По-прежнему проклиная снег и свои капиши, из калитки вместе с Нури вышла тетка Хайри. Нури, прежде чем опуститься на сиденье, стоя в фазтоне, высвободила руки, украшенные парными золотыми браслетами, поправила паранджу. А тетка Хайри уже докучливо зудела:

— Нури-ай, я для вас послужила, теперь и вы для меня постарайтесь. Шепните вашей матери: дайте, мол, ей аршина четыре ситца. Это на шаровары мне. Только смотрите не забудьте, дай вам бог до старости дожить вместе с вашим суженым.

Нури досадливо отмахнулась:

— Обещала же, зачем тысячу раз напоминать!

— И этому джигиту дай бог хорошую невесту,— продолжала тараторить тетка Хайри, показывая на Юлчи.

— А мне послужить ему на тое,— громко рассмеялась Нури.

Юлчи, будто он ничего не слышал, взмахнул длинным кнутом:

— Чу!

Снег, подгоняемый ветром, сыпал прямо в лицо. А в ушах звенели голоса оставшихся позади ребят.

Дома Юлчи распряг коня, отвел его в конюшню и прошел в людскую. Он забился в угол, подальше от разбитого окошка. От стен хибарки несло сыростью, плесенью, холодом. Во дворе тысячами белых мотыльков кружились хлопья снега. Завывал ветер. Громко каркали вороны, радовавшиеся зиме и снегу...

А Нуриниса прошла в комнату матери, выложила из кармана заговоренные знахарем щепотку чая, несколько кусков сахара, присоединила к ним рубашку для первой брачной ночи (тоже с наговором) и «приворот» — листок бумаги, исчерченный с обеих сторон вдоль и поперек какими-то буквами, таинственными знаками, линиями, от которых, по словам знахаря, в сердце жениха должна была загореться неугасимая вечная любовь, завязала все это в платок и спрятала в известное ей укромное место.

Покончив с этим, Нури принялась бродить по комнате. Не зная, чем занять себя, она осмотрела сшитые к свадьбе одеяла, подушки. Девять плюшевых и девять шелковых одеял были сложены так, что верх стопы поднимался до самого потолка. А напротив возвышалась гора белоснежных пуховых подушек... Вчера при виде редких и дорогих подарков, присланных женихом, загорелись завистью глаза даже у самых сдержанных женщин. Слава об этих дарах теперь унеслась, наверное, по всему городу. Но добро это было уложено в сундуки, и у Нури не было желания пересматривать все снова. Нури взяла только маленькие золотые часики с длинной цепочкой и с бриллиантами на крышке,

осмотрела их со всех сторон, приложила к уху. Послышалось размеренное «чик-чик, чик-чик». Но, как неграмотному книга, часы ничего ей не говорили. Вчера она хотела попросить кого-нибудь показать, как ими пользоваться, и потом раздумала: «Останемся вдвоем с мужем в красиво убранной комнате, он сам научит за веселой беседой и шутками».

Исполненная самых радужных надежд и заманчивых мечтаний, Нури не знала, как убить этот последний день, отделявший ее от долгожданного счастья. Однако в присутствии матери, невесток и других женщин она скрывала свои чувства: лицо ее было печально, глаза томно прищурены, точно и в самом деле ее угнетала предстоящая разлука с отчим домом и она далека была от всех радостей тоя. Невестки и близко знавшие Нури женщины догадывались, что все это лишь притворство, но легковерная Лутфиниса страдала, глядя на дочь, и изливала свое горе перед каждой попадавшейся на глаза гостьей.

Осторожно открыв дверь, в комнату вошла молоденькая девушка с полным совком горячих углей для сандала. Это была дочь Ярмата Гульнар,— высокая, стройная. Лицо ее, белое, нежное, с мягким, незаметно сужающимся к низу овалом, светилось ясной, почти детской улыбкой, тонкие брови казались нарисованными, а глаза — большие, карие, с выражением задумчивого удивления — отражали в своей глубине весеннюю чистоту девической души, сияли из-под длинных, густых ресниц умом, благородством и ласковой теплотой. Но одета была Гульнар в обычную одежду батрачки: на плечах — короткий, на тонкой ватной подкладке камзол из простой бумажной ткани, под камзолом — выцветшее ситцевое платье, на голове — красный, давно вылинявший ситцевый платок, на маленьких ножках — грубые поношенные капиши...

— Скучаете. Нури-апа? — спросила Гульнар, высыпая угли в сандал.

— Истомилась я. Кажется, сердце кровью истекло,— недовольно проворчала Нури.— С самого утра одна сижу. И ты, чтоб тебя, хоть бы раз заглянула сюда. Я и чаю еще не пила и крупинки в рот не брала.

— Зачем обманывать? Вы же куда-то ездили, только сейчас вернулись,— улыбнулась Гульнар.

— А ты все присматриваешься, до всего доискиваешься, тихоня,— неприязненно бросила Нури.— Дай быстрее умыться. Неси теплой воды!

— Вода готова, сейчас принесу,— покорно, но без всякой робости ответила Гульнар.— Что сделаешь, Нури-апа, с самого рассвета даже не присела. Комнаты полны женщин, каждой надо чаю поднести. А там кушанья подать, за ребятами присмотреть. Покои на первом дворе прибрала — старшая хозяйка велела...

— Отец дома? — оборвала девушку Нури.

— Нет. Из мужчин только Юлчибай-ака в людской.— Гульнар стыдливо улыбнулась.— Я не знала, потом нечаянно увидела его — и бегом сюда. О калитку ударилась, чуть голову не проломил.

— Нарочно, наверное, показалаесь,— скривила губы Нури.— Ты ведь дошла, хоть и молодая.

Гульнар пожалела о своей откровенности и начала оправдываться:

— Вот умереть мне, сестрица, если нарочно! Подождите, знаете, как это было?.. — Гульнар опустила на корточки перед сандалом и продолжала: — Прибрала я все комнаты, вынесла во двор одеяла, выбила. Потом там же, на месте, вымыла и перетерла всю посуду. И вот нечаянно глянула на окно людской, а там Юлчибай-ака стоит. Я бегом к калитке. Вот и все. «Нарочно»! Как это так — нарочно?

Нури поинтересовалась:

— А раньше видела его?

— Издали, раз или два, тоже случайно.

— Нравится он тебе?

— Оставьте, сестрица, что за разговор! — Гульнар покраснела и топливо вышла из комнаты.

Нури опять осталась одна. В памяти девушки вдруг возникла картинка короткой встречи с Юлчи жарким летом в саду. Затем она вспомнила жуткие и сладостные минуты свидания осенней лунной ночью на айване. Губы ее дрогнули, а сердце забилось так, будто эти мгновения снова только вот сейчас были пережиты. А потом душу ее охватил страх: как это она тогда сохранила себя? Чья честность, разум и самообладание спасли ее от позора?.. Если бы и джигит так же легко поддавался тогда увлечению, разве могла бы она мечтать о такой свадьбе? Нет! Ей пришлось бы или покончить с собой, или бежать куда-нибудь с батраком и нищенствовать, выпрашивая кусок хлеба.

При мысли о нужде, о бедности Нури вздрогнула. Радуюсь за себя, подумала: «Он хороший, честный джигит. Один у него недостаток — бедность. Ах, почему он не байбача!..»

Свадьба была справлена на редкость пышная, богатая и шумная. Незадолго до наступления сумерек в начале улочки, ведущей к дому Мирзы-Каримбая, оповещая о прибытии жениха, разнеслись звуки четырех карнаев и шести сурнаев. Обычно даже самых тщеславных женихов из байбачей сопровождали только две пары музыкантов: два с карнаями и два с сурнаями. А тут — целых пять пар!

Вспокоился весь квартал. На крышах домов по обеим сторонам переулка замелькали фигуры женщин и девушек в накинутых наспех паранджах и халатах. А через минуту уже все крыши были заполнены любопытными. Даже древние старухи, способные только целыми днями занимать место у сандала, и те не утерпели: не будучи в силах забраться на крышу, они карабкались на старые, покосившиеся дувалы, только бы взглянуть на этот «подобный ханскому» той.

По старинному обычаю в улочке состоялся «бой» между сторонами: две кучки самых отчаянных озорников ребятишек — одни от квартала невесты, другие со стороны жениха — сошлись на кулачки, потузили друг друга, повозились в снегу. Однако, когда, глядя на ребят, в кулаки стали поплевывать и кое-кто из взрослых парней, с увещаниями выступили старики, и мир был быстро восстановлен.

Толпа щегольски разодетых молодцов из самых именитых людей торгового ряда, окружив жениха, проследовала через высокие ворота на первую, мужскую половину двора. Здесь среди наступившей на вре-

мая тишины престарелый имам совершил обручальный обряд. Затем жениха обсыпали конфетами, зерном и серебром и вместе с его друзьями и приятелями пригласили в богато убранные покои для гостей.

А Нури после обряда снова провели в отдельную комнату на женской половине. Невесту окружала толпа подруг — девушек из таких же почтенных семей. На ней было шелковое платье, длинное и широкое, шитое по-старинному (мать запретила ей в такой торжественный день надевать «модные платья»), голову покрывал большой шелковый платок с вышитыми на нем приличными к случаю двестишиями, на ногах — мягкие, как шелк, цветные ичиги. Грудь Нури распирало от радости, но она, как и во все последние дни, старалась казаться грустной и печальной. И даже когда кто-то из подруг шутя заметил, что Нури во время обряда поторопилась с ответом о своем согласии, она не рассмеялась вместе со всеми, а, разыгрывая из себя наивную простушку, сказала:

— Откуда мне было знать? Я побоялась рассердить почтенного имама и ответила, не дожидаясь, когда он спросит в третий раз...

Угощение жениха, по обыкновению, продолжалось недолго. Окруженный толпой сопровождающих, жених, одетый в длинный, до пят, широкий, расшитый золотом халат, в большой белой чалме, увенчанной красивым золотым венцом, под сотрясающие воздух звуки карнаев и сурнаев вышел из ворот и уже открыто, не прячась, проследовал по переулку. Комнаты ичкари снова наполнились женщинами. Настало время готовиться к проводам невесты. Лутфиниса со вздохами и причитаниями прежде всего велела окурить Нури от сглаза исырком.

Когда Нури, в легкой шубе из лисьих лапок, скрытая под тяжелой паранджой из золотой парчи, вышла из ичкари, женщины высыпали на большой байский двор. Здесь невесту встретил Мирза-Каримбай. Благословляя дочь, он прочел молитву. Голос бая дрожал от волнения, казалось, что старик нарочно растягивает слова, но женщины, точно они чувствовали нетерпение невесты, как только руки бая коснулись бороды, тотчас окружили Нури и в один взмах распростерли над ней широкий, дорогой фаляк¹.

Невеста была готова следовать к свадебному каравану. Песенницы ударили в бубны, завели «Яр-яр!». Песню подхватили десятки женских голосов. Никто из гостей не заметил, как под этот шум вспыхнула короткая ссора между хозяевами. Лутфиниса попросила мужа отправить дочь на фаэтоне в сопровождении невесток:

— Разве не лестно будет, если заговорят в народе: «Кто это?» — «Да это же дочь такого-то!»

Бай решительно возразил:

— Пусть едет, как люди, на арбе.

— Вай! Что же мы, хуже Алиходжабая? — запрочитала Лутфиниса. — Он проводил свою дочь на парном фаэтоне, запряженном двумя армаками!

— Довольно! — прикрикнул на нее Мирза-Каримбай. — Зазнайство никого не приводило к добру. Я не вижу причины отступить от ста-

¹ Фаляк — полог.

рины. И время сейчас не такое. Народ начнет осуждать. Скажут, баи совсем сбесились. Как ты не понимаешь этого, глупая!

Свадебный караван состоял из семи арб. В них, кроме невесты с матерью, разместились близкая родня и женщины из богатых домов. Бедные родственницы и женщины, привыкшие объедаться на соседских тоях и поминках, толкаясь в темноте, отправились пешком.

Конем передней крытой арбы, в которую усадили невесту с матерью и жен Хакима и Салима, управлял Юлчи. Он покачивался в седле в такт шагу коня и усмехался: как чудно складывается жизнь? Девушку, от которой впервые услышал слова любви, он сам теперь везет, чтобы передать в руки другому!

Когда выехали на широкую, мощенную булыжником улицу, Ярмат, большой охотник до всякого рода шумных развлечений, хлестнул лошадь, пытаясь обогнать первую арбу. Юлчи, будто он только этого и ждал, тоже ударил по коню и отпустил поводья. Началась общая скачка всего свадебного каравана. Улицы наполнились грохотом арб, выкриками возни, звонким «Яр-яр!» женщин.

Юлчи, разгорячившись, хлестнул коня так, что тот взвился на дыбы и чуть не оборвал гужи. Но в это самое время кучка каких-то подростков перегородила веревкой дорогу. Юлчи еле остановил лошадь.

— Тетя! — крикнул он, обернувшись к арбе. — Порадуйте ребят.

Преградившие дорогу кричали:

— Не жалейте, давайте побольше!

— Без выкупа не пропустим!

Лутфиниса достала из узла пару тюбетеек, присоединила к ним пятирублевку и протянула Юлчи. Обрадованные таким подарком, ребята пожелали хозяйке:

— За свадьбой свадьбу справлять вам, тетушка!

Немного погодя караван вынужден был задержаться снова: из чайханы выбежали несколько взрослых парней и перегородили дорогу наскоро связанными поясными платками.

Ярмат разозлился, крикнул сзади:

— Что это за шутки! Гони, дави их!

Однако Юлчи сердито оборвал его:

— В этом же самый интерес тоя!

А парни требовали:

— Покажи свою щедрость, мать!

Лутфиниса снова протянула две тюбетейки и еще десять рублей деньгами.

В квартале жениха ребята тоже пытались задержать караван, но опоздали, и дело кончилось только шумом и криками.

Наконец свадебный караван прибыл на место. Возницы помогли женщинам сойти с арб и принялись переносить приданое невесты.

Посредине двора жениха горел большой костер. Как только во двор вошла невеста в сопровождении толпы женщин, вокруг костра начались игры, песни, пляски. Лучшие ташкентские песенницы завели веселую, живую свадебную: «Яблокам, гранатам твоим слава! Саду-огороду твоему слава!» Звонко загремели разогретые у огня бубны. Песенницы пошли в танце вокруг костра.

Нури стояла под распростертым над ней фаяком, окруженная толпой молодых женщин своего квартала. Она с увлечением слушала песни, украдкой из-под чиммата¹ наблюдала за танцующими. Если бы не ребята из квартала жениха, очень уж добросовестно исполнявшие обычай испытывать характер невесты, она, пожалуй, позабыла бы даже о предстоящей встрече со своим нареченным, которую ожидала с большим нетерпением. Мальчишки — ростом с вершок, а щипались очень больно. Пробретется такой озорник между женщинами, ушипнет невесту — и бежать. Нури стискивает зубы, чтобы не вскрикнуть громко, и только порой у нее вырывается невольное приглушенное «ох». На ее счастье, ребята ошибались или озоровали и вместо невесты щипали всех, кто попадался под руку.

Игры у костра закончились около полуночи. После этого невесту со двора провели в просторную комнату, передний угол которой был отделен белым пологом. Здесь женщины разделились на два стана: сторона невесты встала у порога, сторона жениха — перед пологом. Оба стана готовились к борьбе. Согласно обычаю, с обеих сторон вперед вышли «богатыри»: со стороны невесты, перевязавшись поясом, выступила приземистая, круглая, как ступа, женщина, незнакомая Нури, со стороны жениха — сваха, высокая, мужского склада, здоровенная старуха с пучком жиденьких серых волос на подбородке. «Богатыри» закатали рукава, схватились за руки. Им на помощь бросились остальные; тянули каждый в свою сторону, цепляясь вожакам за пояса, за полы. Комната наполнилась шумом, выкриками, смехом. Если у кого-нибудь срывались руки, все остальные теряли равновесие и валились друг на дружку.

После того как обе стороны, потрудившись от души, достаточно показали свою стойкость, сторона невесты, уважая мужское достоинство жениха, начала понемногу уступать. Сторона жениха перетянула «противника» на несколько шагов. Тут по знаку свахи над головами женщин раскинули другой, огромный, почти во всю комнату, фаяк. Из-за полога, прикрываясь тяжелым парчовым халатом, вышел жених. Сваха тотчас провела его под фаяк к невесте. Жених схватил Нури за правую руку, крепко обнял за стан. Поднатужившись, оторвал ее от земли и затем, спотыкаясь на каждом шагу (видно, ноша была не по нему), скрылся за пологом. Здесь он осторожно опустил невесту на постель, покрытую плюшевым одеялом, а сам присел рядом, скрестив по-мужски ноги.

Нури казалась смущенной; она отвернулась, опустила голову, прикрыла лицо кисейным платком. Жених — потому ли, что он стеснялся, или, может быть, ожидал от кого-нибудь знака, — сидел молча.

— Как жарко!.. — будто про себя, тихонько проговорила Нури.

Жених обнял ее одной рукой, второй откинул платок, ласково прошептал:

— Вы довольны, джаным?

Щуря глаз и кокетливо улыбаясь, Нури обернулась. С минуту она смотрела в ослабившееся, щуплое, с жидкими рыжеватыми усиками

¹ Чиммат — покрывало, опускающееся низко на лицо.

личико своего суженого, затем медленно опустила голову и чуть приоткрыто вздохнула...

Женщины, уставшие за время борьбы, несколько угомонились, шум в комнате стих, однако исполнение установленных обычаев правил проходило своим чередом: за «поглаживанием волос» следовало «гляденье в зеркало», затем «радость на родинах» и многие другие, и это служило забавой собравшимся чуть ли не до самого рассвета.

На следующий день, после оживленного, шумного завтрака, снова началось веселье. Во дворе ичкарни стали в круг песенницы и танцовщицы. На мужской половине пиروвали и развлекались друзья и приятели жениха. Молодежь поглядывала через щели, а некоторые, самые нахальные байбачи, даже приоткрывали калитки ичкарни и помахивали хрустящими кредитками, зазывая к себе танцовщиц. Старухи шикали на них, ругались, прогоняли.

Незадолго до полудня бородатая сваха вывела молодую невесту «на поклон». Нури в дорогой бенаресской парандже, серебром отливавшей на солнце, остановилась у порога и чуть склонила голову. Лицо ее было прикрыто десятком шелковых платков. Сваха положила на голову Нури правую руку и мужским басом, нараспев провозгласила:

— Ассалям, ассалям! Мухаммаду совершеннейшему саяям! Биби-Фатиме саяям! Четверем друзьям — сподвижникам пророка саяям! Свекру, свекрови саяям! Деверям старшим и младшим саяям!

Так как свекор был болен, то из мужской половины двора вышел старший брат жениха. Все посторонние женщины отвернулись, прикрываясь кто платком, кто рукой. Брат, не глядя по сторонам, быстро прошел через двор ичкарни, положил на голову невестки длинную сторублевую кредитку и так же быстро скрылся в калитке. Бородатая сваха ловко подхватила деньги, сунула их в карман и затем открыла Нури. Женщины вмиг расхватили платки, которыми было прикрыто лицо невесты, — все верили, что они приносят счастье. Свекровь осыпала невесту конфетами, серебром, и, пока ребятишки и взрослые чуть не в драку собирали их, старая сваха увела усталую, равнодушную ко всему Нури в комнату.

Во дворе и на террасах было выставлено напоказ приданое невесты, которому дивились все гости. А в комнатах шло угощение — здесь блюдо за блюдом подавались кушанья, сладости.

Перед вечером Лутфиниса зашла проститься с Нури. Старуха с первого же взгляда заметила, что дочь невеселая.

— Что с тобой, доченька? Ты будто не в себе? — спросила она с тревогой.

Нури, стараясь сдержать готовые брызнуть слезы, попыталась улыбнуться:

— Не беспокойтесь, айи. Это от усталости...

Лутфиниса, успокоенная, шепотом на ухо передала дочери несколько последних советов и направилась к двери.

V

Юлчи и Ораз, низко склоняясь над ямой, заменявшей очаг, старались развести огонь. Они дули с двух сторон беспрерывно, чуть не касаясь

вытянутыми губами дров, но сырые дрова только шипели, потрескивали и исходили клубами едкого дыма. Дыма было так много, что в нем терялся даже огонек чирака, обычно хоть слабо, но освещавшего жилище батраков.

Юлчи и Ораз задыхались, кашляли:

— Пуф-пуф...

— Пуф-пуф... Кха-кха!..

Шакасым лежал в дальнем углу, прижимая к груди сынишку, стараясь согреть его и усыпить. Он не выдержал и прохрипел из темноты:

— Задушил дым. Откройте дверь! Не подохнем от холода!

— Постой, разгорится же когда-нибудь этот проклятый огонь!

— Пуф-пуф! Ох, дым мне до печенок добрался!

— Довольно! Довольно, говорю, киргиз! — Шакасым закашлялся. — Ваши дрова не загорятся даже среди лета. Сейчас я раздобуду сухих.

На этот раз Шакасыма поддержал и Юлчи:

— В самом деле, бросай, Ораз, я ослеп от дыма. — Протирая слезившиеся глаза, Юлчи на ощупь отыскал дверь и распахнул ее настежь.

Помещение, в котором ютились батраки, служило раньше складом для клевера. В нем --- ни очага, ни окон, ни потолка; с крыши свешивались черные от копоти метелки камыша.

Дым расходился медленно. Юлчи вышел наружу, чтобы немного отдышаться.

Над полями в далекой выси, будто только что раскрывшиеся корбочки хлопка, сияли звезды. Полная луна стояла в самом зените и казалась недвижимой. Под ее лучами белый зимний покров вспыхивал мириадами золотистых искр на открытой поляне, горел бесчисленным множеством аметистовых звездочек там, где голубели тени от оголенных деревьев. При лунном свете скрадывалась даже невзрачность хижины батраков, а наклепанные кем-то и забытые коровьи кизяки на ее стенах казались причудливым орнаментом.

Юлчи прохаживался взад-вперед, поскрипывая подмерзшим снегом, и полной грудью вдыхал морозный воздух.

В двери показался Шакасым.

— Э-ха! — воскликнул он глухим, простуженным голосом, взглянув на небо, и заспешил куда-то на поиски сухих дров.

Юлчи, будто он только и ожидал ухода Шакасыма, тотчас вернулся в помещение. В нос ему ударил прогорклый дымный запах.

— Дверь откроешь — холодно, закроешь — задохнуться можно, а, Ораз? — проговорил он, усаживаясь рядом с другом и поджимая под себя ноги.

— Здесь собаку привяжи — и та не выдержит, — сердито сказал Ораз. — Боюсь, как бы еще не рухнул и не придавил нас этот проклятый хлев.

Юлчи еще ближе наклонился к другу:

— Скажи спасибо, Ораз, и за такую жизнь.

— Вот чудак, да может ли быть хуже этого?

— Послушай-ка, что я скажу, — Юлчи понизил голос. — Когда я

отправлялся сюда, меня вызвал бай и говорит: «Передай Шакасыму, пусть ищет другое место. Он больше мне не нужен. Если можно, завтра с первой же ходкой и свежи его в город...» Что нам делать, как сказать ему об этом?

Ораз тяжело вздохнул:

— И подлый же человек твой дядя! Столько лет заставлял на себя работать, сгори его дом, а теперь выбрасывает на улицу. Да еще среди лютой зимы!

— Хозяин, конечно, не прав, — кивнул головой Юлчи. — Он знает только свою выгоду, думает, наверное: Шакасым остался теперь с ребенком на руках и не сможет работать, как прежде. Попытался было я заступиться: «Подождите, — говорю ему, — хоть до весны. В поле и на Шакасыма работы хватит, без дела лежать не будет». Куда там! И слушать не хочет.

— Заплатит он ему что-нибудь? — спросил Ораз.

— Говорит, что все расчеты между ними покончены.

Ораз выругался:

— Этот скряга не только за харчи и одежду — за воду высчитает!.. Юлчибай, ты пока ничего не говори Шакасыму. Я сперва попробую подыскать для него какое-нибудь место и сам исподволь подготовлю его. — Ораз подумал с минуту и снова вздохнул. — Работает он по-богатырски. Да все равно трудно будет пристроить его сейчас.

— Верно. Старики не зря говорят: «У очага тесно зимой, вставай да иди домой!» А куда он пойдет в такую пору, да еще с ребенком? — с грустью проговорил Юлчи. — Ты все же попытайся договориться с кем-нибудь из окрестных баев. А потом уже скажешь Шакасыму.

— В округе много баев. Но, знаешь, какие они сейчас поставят условия? До весны помоями кормить будут, а весной и летом за эти помои работать заставят. Для баев батрак дешевле ишака! — Ораза от негодования бросило в жар, он скинул с плеч халат и молча устался на мерцавшую в темноте коптилку. Между бровями у него залегла резкая складка.

— Дада! — услышался жалобный голос ребенка.

Нельзя было понять — во сне ли мальчик закричал или же проснулся от холода. Юлчи вскочил, подсел к нему, ласково погладил по головке:

— Спи, спи, богатырь!

— А ты и гостинца не привез для него с тоя, — упрекнул друга Ораз. Юлчи махнул рукой:

— Пропади он, этот той. Я завтра ему халвы привезу.

Вошел Шакасым с охапкой дров:

— Ну, разжигайте костер. Совсем сухих нашел!..

Все трое склонились над очагом. Через минуту пламя костра озарило серые глиняные стены, черные от копоти метелки камыша, свисавшие с крыши, красными отблесками заиграло на лицах повеселевших людей.

— «Жаркий огонек что милый муженек», — сказала когда-то одна женщина. И верно! — рассмеялся Шакасым.

— Зимой для бедняка костер — и халат, и постель, и плов.

— А я, как только увижу вечером далеко в поле костер, вспоминаю родной аул,— задумчиво проговорил Ораз.

Шакасым, весело поглядывая на огонь, попросил его:

— Ну-ка, киргиз мой, бери свою домбру да затягивай песню. А тем временем и чай вскипит.

Ораз снял с колышка домбру, некоторое время медленно, будто нехотя перебирал струны. Потом увлекся и, чуть прикрыв глаза, запел грустную степную песню. Юлчи и Шакасым слушали, тихонько покачивая головами...

Черный кумган, стоявший у костра, вдруг загремел крышкой, бурно закипел. Юлчи отставил кумган, бросил в него щепотку чая. Пока чай заваривался, сполоснул пиалы.

— Еще бы горсть изюма, и был бы у нас настоящий пир,— проговорил Шакасым, принимая от Юлчи пиалу.

Ораз отложил домбру. Согревшись горячим чаем, батраки ожили, заговорили. Особенно весел был в этот вечер Шакасым. Он рассказывал смешные анекдоты о похождениях Насреддина-афанди и первый же смеялся над ними. Рассказывал он так мастерски, что Юлчи и Ораз, слушая его, покатывались со смеху.

Когда костер догорел и рубиновые угли стали покрываться налетом серого пепла, Шакасым потушил свет и пробрался к сынишке. Юлчи и Ораз, завернувшись в халаты, прилегли у костра.

Помещение наполнила густая тьма. На дворе завыл ветер.

— Опять стало холодно,— слышался из темноты голос Шакасыма.

Юлчи, стараясь укрыть под халатом свое большое тело, ответил:

— Это не людское жилье, а ледник... Ледник!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Вот уже около трех месяцев Нури живет с человеком, которого раньше не видела, не знала и даже имя его услышала от старшей невестки только накануне тоя. Как и всякая мусульманская девушка, она и не подумала противиться тому, что ее выдавали за незнакомого. Какой в этом смысл? Раз сговор состоялся и закреплен фатихой, ей больше ничего не оставалось делать, как покориться судьбе. Сговор, закрепленный фатихой,— это уже наполовину венчание. После сговора обе стороны лишаются почти всех прав на отказ от свадьбы. Обычно отцы и матери вступающих в брак, чтобы «не нарушить фатихи», стараются не замечать даже явные недостатки своих будущих невесток и зятьев.

Были у Нури и другие причины не тревожиться о своей судьбе. Она знала, что ее не выдадут за какого-нибудь бедняка,— это было яснее ясного. Отец и братья не считали достойными не только бедняков, а даже и людей среднего достатка. Поэтому они могли породниться

только с кем-либо из самых знатных баев Ташкента. Не тревожилась Нури и насчет жениха. Если в голове у нее порой и возникали вопросы: «Какой же он из себя? С кем из знакомых можно было бы его сравнить?» — то получалось всегда так, что ответ являлся сам собой и самый благоприятный.

И вот Нури в новой семье. Ее свекор — Наджмеддинбай — очень богат. У него два больших парфюмерных магазина — один в старом, другой в новом городе. Сам он ослеп от старости и уже три года не выходит из дома, но дела семьи в надежных руках — все старания и помыслы его старшего сына Абдуллабая и младшего, мужа Нури, Фазлиддина-байбачи, направлены на то, как бы приумножить отцовское богатство.

И мужская и женская половины дома застроены большими помещениями. Двор и чкари с трех сторон ограничен огромным зданием, опоясанным во всю длину террасой; к четвертой стороне примыкает вишневый сад. Во всех комнатах — ковры, ниши в стенах заполнены горами подушек и одеял, кованными сундуками, полки заставлены дорогой посудой, китайским фарфором. Особенно роскошно обставлена комната Нури: новому человеку могло показаться, что он попал в магазин дорогих вещей.

Завтраки, обеды и ужины в этой семье проходят в строгом, раз и навсегда установленном порядке и в определенное время. В доме ежедневно готовится много сытных и вкусных блюд. Но гости здесь бывают редко. При Нури не было еще ни одной пирушки.

У Нури две свекрови — одна родная, другая мачеха. От старшей жены Наджмеддинбая родился Абдуллабай, от младшей — муж Нури, Фазлиддин. Старшая — «неродная» свекровь — спесивая старуха лет шестидесяти, полная, высокого роста. Она стремится прибрать к рукам хозяйство и держать в повиновении всю женскую половину. Родная свекровь Нури — маленькая, худощавая, лет сорока пяти, еще хорошо сохранившаяся, миловидная женщина. С виду она скромна, молчалива, ласкова, а на самом деле себе на уме.

Уже на второй или третий день Нури пришлось быть свидетельницей стычки между женами бая. По обычаю, накинув прозрачное тюлевое покрывало, Нури должна была приветствовать всю семью, начиная от стариков и кончая грудными ребятами. Неродная свекровь обиделась: «Почему она тебе первой кланяется?» Младшая строптиво ответила: «Вам первой кланялись жены вашего сына!» И они крепко поссорились.

Жены старого бая бранились по всякому пустяку. Но чаще всего причиной ссор было стремление обеих распоряжаться хозяйством и нежелание ухаживать за слепым мужем.

Старшая обычно начинала так: «Ты же больше меня любила с ним. И на одну ночь, бывало, не расставалась. Вот и ухаживай. Что ж ты забросила его на старости?»

Младшая не уступала: «Ты — первая его жена. Он ничего не делал без твоего совета. Ты, бывало, чашки похлебки не дашь мне, чтоб кулаком по голове не стукнуть. Хозяйство прибрала к рукам. Только толстеть бы тебе, а о муже и думать не хочешь!»

Абдуллабай, как и отец, имел двух жен. Старшая — Айсара — лет тридцати пяти, болезненного вида, всегда печальная, тоненькая, изящная женщина, еще не утратившая былой красоты. Несмотря на слабость здоровья, она много работает, а все свободное время отдает детям. Каждый вечер, усадив вокруг сандала своих ребят, она читает им старинные повести: «Принцесса Диллирам-прекрасная», «Молодой джигит», «Санабар». Соперница ее — Марьям-хон, русская женщина лет двадцати восьми, — белолицая, высокая, с ясными голубыми глазами.

Марьям-хон попала в этот дом девятнадцатилетней девушкой. Звали ее Марией. Родилась она в Москве в бедной семье, рано осталась сиротой и вынуждена была устраивать свою жизнь сама, надеясь только на свои силы. В Ташкент она приехала с одной купеческой семьей в качестве няни. Здесь-то и увидел ее Абдуллабай.

Желание Абдуллы жениться на русской девушке вызвало много разговоров. Но Абдуллабай добился того, что Мария в присутствии имама квартала прочла символ мусульманской веры, и бракосочетание было совершено по шариату. Собственно, Наджмеддинбай и дал свое согласие на такой из ряда вон выходящий брак только на этих условиях.

Марию одели в мусульманскую одежду, заставили выучить на память несколько молитв и сур из корана. Одну ее не пускали даже за порог дома. Так в течение нескольких лет она стала «настоящей мусульманкой». Если бы не голубые глаза и русые волосы, никто бы не подумал, что она русская. Ни языком, ни привычками — ничем не отличалась теперь Мария от других женщин ичкари. Без напоминаний аккуратно совершала она все пять намазов в день, старательно соблюдала посты. Принималась ли она за какое-нибудь дело или садилась за стол — она никогда не забывала сказать ставшее привычным «бисмилла». Не менее старательно Марьям-хон соблюдала и все обычаи. Закутавшись в бархатную паранджу и набросив на лицо длинную сетку чачвана, она, как и другие узбекские женщины, ходила в гости, посещала тои, поминки, родины.

В Москве, в детстве, Мария училась в школе и кое-что читала. Она до сих пор знала на память некоторые стихи Пушкина, Лермонтова, однако, живя в ичкари, она не видела ни одной русской книги. Однажды знакомая татарская девушка, побывав у нее в гостях, забыла какой-то русский роман. Марьям-хон в тот же вечер стала читать его. Но вошел Абдуллабай и, рассердившись, изорвал книгу в клочки.

— Такие сочинения развратят тебя, приведут к отступничеству от веры! — кричал он.

Марьям пыталась доказать упрямому мусульманину, что чтение русской книги не может угрожать религии, но безуспешно.

— Есть единственная книга, — строго сказал Абдуллабай, — это книга аллаха — Коран! Другие книги и за книги не считай, цена им всем — грош. Если у тебя есть желание читать Коран, я научу тебя сам.

Некоторое время Марьям-хон тайно перечитывала обрывки русских книг и газет, попадавшие в дом в виде пакетов, но после отказалась и от них.

Первые годы Марьям никак не могла свыкнуться с тем, что у мужа есть вторая жена. Но с течением времени она свыклась и с этим и, по примеру других женщин ичкари, то мирилась со своей соперницей, то ссорилась снова.

Во время одной из таких ссор Нури пошутила:

— Опять между вами черная кошка пробежала!

Марьям-хон, чтобы позлить Нури, в свою очередь пообещала ей:

— Подождите, мы и вам подыщем соперницу!..

Это было сказано в шутку, и все же сердце Нури с тех пор нет-нет да и встрепенется: «В этом доме брать двух жен стало обычаем. А вдруг мой муж вздумает пойти по отцовской дорожке, что я буду делать?.. Эх, за кого я вышла!..»

Фазлиддин и в самом деле нисколько не походил на тех джигитов, образы которых рисовались когда-то девическому воображению Нури. Она была глубоко разочарована еще в день свадьбы, когда под шум и смех разгоряченных борьбой женщин очутилась за брачным пологом и впервые взглянула на мужа. А ведь с тех пор прошло немало времени и недостатки байбачи стали для нее еще яснее.

Правда, Фазлиддина нельзя было назвать безобразным — молодой, лет двадцати трех, среднего роста, подвижный, с быстрым взглядом карих глаз. И одевался он прилично, не хуже других купеческих сыновей, хотя и без шегольства. Но все-таки в нем чего-то не хватало, чувствовалось какое-то, на первый взгляд будто бы и незаметное, нарушение пропорций, точно у недоноска, который в самом начале своего существования был лишен нормальных условий развития. Он был какой-то хилый, шупленький, лицо непропорционально узкое с недоразвитым подбородком, усы жиденькие, рыжеватые, почти бесцветные, глаза маленькие, бегающие.

Каждое утро в одно и то же время, ни минутой раньше, ни минутой позже, Фазлиддин без завтрака уходил в магазин, а в сумерки, как правило, возвращался домой, обедал обязательно в семье и затем шел проведать отца. Лишь после вечерней молитвы он проходил в свою комнату и со стариковскими вздохами усаживался к сандалу напротив Нури и сидел молча, опустив голову. Часто, возвратившись к себе, Фазлиддин закрывал дверь, опускал на окна шторы и допоздна считал деньги. При этом он хмурил брови и что-то бормотал про себя. Закончив счет, байбача завязывал деньги в большой платок и передавал узел жене:

— Положи в сундук, завтра Абдулла-ака заберет. — Потом протягивал ногу и кивком головы приказывал Нури снять ичиги.

В один из вечеров, когда Фазлиддин, опустив голову, по своему обыкновению, дремал у сандала, Нури не вытерпела и в первый раз рассердилась:

— Неужели вы не можете поговорить со мной о чем-нибудь? Что это — сидите скорчившись, будто нищий, потерявший суму! Посмотришь на вас — сердце кровью обливается!

Фазлиддин виновато осклабился, обнажив редкие кривые зубы; не меняя положения, кротко сказал:

— Ты обижаешься? Напрасно. Подумай, со сколькими людьми мне

приходится говорить за день! Так почему же и не помолчать, не отдохнуть дома?

— В магазине у вас есть приказчики, — горячо заговорила Нури. — Пусть они работают, занимают покупателей. А вы будьте хозяином, сидите и наблюдайте. Вам можно попозже прийти, пораньше уйти. Вы знатные богачи. Заведите себе фазтон, пользуйтесь радостями жизни.

— Верно, мы крупные баи, — согласился Фазлиддин, снимая тубетейку и очищая ее от невидимых пылинок. — Наше богатство не только фазтон — и автомобиль поднимет. Но богатство-то отцовское! Я пока прибавил к нему очень мало. Дай срок, прибавлю еще и сразу заставлю заговорить о себе. Все хорошо в свое время. Однако и тогда в магазин все-таки я буду уходить рано и возвращаться поздно. Что поделаешь, такой обычай у нас, купцов. Другим нельзя доверять. Если бы я мог со всем управиться, я не держал бы ни одного человека... Но иного выхода нет — всюду сам не поспеешь. Сейчас трех приказчиков держим — и то трудно приходится.

— У вас все помыслы в торговле. Вы и во сне торгуете да деньги считаете, — усмехнулась Нури.

Фазлиддин смущенно опустил голову.

— Я, кажется, сплю спокойно.

— Где там!

— А что ж, может быть, — согласился байбача. — Рыба и плавает в воде, и спит в воде. Ничего удивительного, если я, плавая в торговле, и сплю в торговле. Ну хорошо, стели постель, — Фазлиддин помолчал и набожно вздохнул. — О боже все милостивый, не оставь меня в своих щедротях!..

Нури никогда и в голову не приходило, что у нее может быть такой муж. «И это джигит, байбача! Что мне в его богатстве!..» — злилась и роптала она на свою судьбу. Однако, чувствуя себя бессильной что-либо изменить, Нури запрятала свою обиду глубоко в сердце и ни с кем, даже с матерью, не обмолвилась об этом ни одним словом.

...К полудню во дворе не осталось и следа от выпавшего ночью снега. Земля на солнцепеке поднималась словно тесто, дышала легким, быстро исчезающим паром. С крыш по жестяным водосточным трубам журчала вода. Она падала в подставленные под трубы ведра и пузатые глиняные кувшины, пела звонкими голосами веселых струй и озорной трелью частых крупных капель. А голубое небо было такое чистое и такое ясное, что от него не оторвать глаз.

Нури открыла окно. Лучи солнца залили ковры, заиграли на китайском фарфоре, на серебряных кувшинах, на гладкой светлой трубе граммофона, но все это давно уже наскучило молодой женщине, и она ничего не замечала.

В дальнем конце двора неожиданно показалась девушка, закутанная в старенькую паранджу. Нури, истомившаяся от скуки, обрадовалась ей, как дорогой, желанной гостье, бросилась навстречу в переднюю.

— Что такое, Гульнар? Почему вы пропали без вести? — заговорила она, вводя девушку в комнату.

— Зима, холод, грязь, Нури-апа. Что, соскучились? — Гульнар

сбросила паранджу, протянула Нури завернутое в скатерть блюдо.— Блинчики с рубленным мясом,— пояснила она.

Нури капризно повела плечом:

— Здесь тоже часто и вкусно готовят блинчики. Ты всякий раз с чем-нибудь приходишь. Больше никогда ничего не приноси!

— Это старшая хозяйка — с пустыми, говорит, руками не ходи,— и заставила взять,— оправдывалась Гульнар.

Нури окинула девушку внимательным взглядом:

— Неужели мать не нашла тебе других ичигов? Смотри, в них стыдно на люди показаться!

— Ничего, никто не увидит,— усмехнулась Гульнар.— Я прямо от вас и домой. Да кто станет смеяться над дочерью бедняка!

— Хоть бы починить отдала их!

— Отец говорил, Юлчибай-ака починит, да ему, видно, все некогда.

Сердце Нури дрогнуло.

— Разве Юлчи в городе? — оживилась она.

— Давно уже.

— И умеет чинить обувь?

— Отец говорит, он сам починил себе сапоги. Ходил в мастерскую Шакира-ата — сапожника, потому что своего инструмента нет.

Обычно, когда Гульнар приходила, Нури поручала ей какую-нибудь работу по дому. Но сегодня она усадила девушку к сандалу, разостлала дастархан и принялась расспрашивать.

Гульнар сообщила Нури все домашние новости. Рассказала, как скучает по дочери Лутфиниса, как часто видит ее во сне и потом целыми днями не отводит глаз от калитки, поджидая ее в гости. Затем передала наказ матери — в следующую пятницу обязательно быть вместе с Фазлидином на пирушке, которую намерен устроить Хаким-байбача.

— На этой неделе я и сама собиралась побывать у вас. Уже целый месяц не видела матери, хоть один вечер хотела провести с ней,— сказала Нури.

— А еще через неделю и Салим-ака собирается пирушку устроить.

— Вот и хорошо,— рассмеялась Нури,— будет предлог побывать у вас еще раз.

Незаметно разговор снова перешел на Юлчи. Нури хотелось как можно больше знать об отношении к нему Гульнар. Девушка говорила откровенно, ничего не скрывая. Она рассказала, что стирала Юлчи белье, починила ему халат и рубашку, что Юлчи часто бывает у них и Ярмат подолгу беседует с ним на терраске.

Нури притворилась равнодушной.

— Юлчибай хороший джигит, верно,— сказала она, украдкой наблюдая за девушкой.— Тебе он нравится?

Гульнар вспыхнула, некоторое время смотрела растерянно, не зная, куда девать глаза. Расспросы Нури, и особенно последний, уже дважды повторенный вопрос, вызвали в душе девушки неясные подозрения. Она сразу стала сдержаннее в разговоре и очень скоро попросила отпустить ее домой.

Проводив Гульнар, Нури долго сидела, задумавшись. Она снова

отдалась воспоминаниям прошлого лета. Разгоряченное воображение влекло ее к новым, связанным с опасностью, запретным наслаждениям...

II

Юлчи уже три недели в городе. Каждый день он доставляет со склада в магазин Мирзы-Каримбая десятки и сотни кип товара, сгружает его там, вскрывает, складывает в высокие, чуть не до потолка, штабели и снова уезжает.

Старогородской магазин Мирзы-Каримбая находился в оптовомануфактурном ряду. Этот ряд, в пять-шесть крупных лавок и магазинов с каждой стороны, занимает узкий крытый переулок и примыкает к рядам торговцев шелком. Здесь нет ни обычной базарной толкотни, ни шума. Здесь не заметишь разницы между обычным и базарным днем. Под крышей этого темного переулка всегда и неизменно властвует торжественная тишина.

За прилавками магазинов оптового ряда можно видеть только строгих длиннородых стариков евреев и их расторопных, подвижных сыновей да застывших в молчаливой неподвижности — точно на молитве в мечети — баев-мусульман, с виду скромных и учтивых, а в действительности надменных и кичливых, плутоватых и до крайности жадных.

В этом ряду не увидишь пестро одетой толпы, не заметишь суетливости и спешки, не услышишь хлопанья по рукам и обычного: «Дай бог попользоваться!» Из каждой лавки тут можно слышать только один звук: шак-шук, шак-шук — шелканье счетов. Покупатели, появляющиеся здесь, с лицемерной учтивостью, негромко приветствуют хозяев. Купцы же выкладывают перед ними не куски ситца или сатина, а огромные, толстые альбомы образцов. Гости перелистывают эти «книжки», по лоскуткам отбирают что нужно и увозят затем товар целыми арбами. Отсюда товары расходятся по окрестным кишлакам, аулам, по городам -- в Чимкент, Сайрам, Аулие-Ата.

В неказистом на вид, но обширном, заполненном товарами магазине постоянно находятся сам Мирза-Каримбай и Салим-байбача. Они договариваются с покупателями о цене, о количестве товара, а остальное, что нужно, делает уже сладкоречивый, умелый приказчик Саидмурад.

В свободное время Саидмурад безмолвно стоит где-нибудь в углу, почтительно сложив на груди руки. Особенно учтиво и кротко, точно мюрид перед своим ишаном, держит он себя с Мирзой-Каримбаем.

Хаким-байбача то появляется в лавке в сопровождении нескольких покупателей, то, пошептавшись с отцом, снова исчезает на некоторое время. Он всегда торопится. В его разговоре, в движениях чувствуются стремительность и напористость.

Мирза-Каримбай иногда усаживается на стуле за прилавком. Чаше же всего, как это и приличествует доброму мусульманину, он, скрестив ноги и откинувшись на тюки мануфактуры, располагается в конце прилавка на специально разостланном коврикe и неторопливо, по одному пропускает меж пальцев черные блестящие шарики четок.

В полдень в тишине оптово-мануфактурного ряда раздается гортанное «Гарчча-май!» — такое звонкое и резкое, что, кажется, оно пронзает насквозь крышу. В переулке появляется продавец лепешек с огромной круглой корзиной на голове — приземистый, будто придавленный тяжелым грузом, с короткой жилистой шеей и в сдвинутой на самые брови засаленной тюбетейке. Продавец оставляет баю две сдобных лепешки с анисом и продолжает свой путь.

Точно в назначенное время в магазин с двумя чайниками чая входит подручный соседнего чайханчика — еще подросток, но и в походе и в манере держать себя уже старательно копирующий повадки уличных удалцов. Мальчик ставит перед баем чай, вынимает из-за уха огрызок карандаша, отмечает на столбе магазина очередной «алиф» и бесшумно исчезает.

Доставляя со склада мануфактуру, Юлчи ежедневно бывал на базаре, иногда в ожидании очередного распоряжения дяди засиживался в магазине, и перед ним понемногу начали раскрываться тайны рынка и духовный облик людей, плавающих по изменчивым бурным волнам реки, называемой торговлей. За шумом толпы на базарных площадях и в торговых рядах, за звоном золота и серебра, за шелестом бумажных кредиток юноша понемногу научился видеть жизнь. Он часто был невольным свидетелем счастья и неудач, взлетов и падения купцов, видел, как горели и терзались в этом аду ремесленники и дехканы — все те, для кого единственным средством существования был труд.

Юлчи до многого еще не дошел, многое казалось ему непонятным и таинственным. Но постепенно жизнь сама приоткрывала перед ним все новые и новые тайны. Вот, например, некоторые очень прилично одетые люди, появляясь в магазине, почему-то уже с порога почтительно скрещивали на груди руки и подходили к хозяину с униженными поклонами. Мирза-Қаримбай, против обыкновения, обращался с такими людьми грубо, корил их, заставлял бледнеть и трепетать перед ним.

Как-то одному молодому человеку, зашедшему в магазин, бай сказал: «Ну, грамотей, почему вы нарушили условия? Или вы думаете, что у нас нет острого шила, каким запугивает вас тот еврей, с которым вы тайком завели дела? О, у нас еще поострее найдется! Сумею проучить вас!...»

Юлчи недоумевал: при чем тут какое-то шило, и только через несколько дней понял смысл этой угрозы. Большинство покупателей, погрузив товар на арбы или на верблюдов, тут же доставали похожие на кирпичи, крепко связанные пачки кредиток и рассчитывались, вручая деньги Салиму-байбаче. Но некоторые брали товар и уезжали, ничего не заплатив. Однажды какой-то торговец зашел в магазин, взял десять кусков мануфактуры и тут же скрылся. Юлчи удивленно спросил Салима:

— Смотрите, он бежал без оглядки! А как же с деньгами?

Салим-байбача рассмеялся, показал джигиту хрустящую белую бумагу и бросил ее в ящик.

— Вот и все, — сказал он. — Это называется векселем. Придет срок — уплатит.

— А если заупрямится? — недоуменно спросил Юлчи.

— Мы его сумеем прижать так, что глаза на лоб ползут! Потеряет дом, разорится, — спокойно пояснил Салим-байбача.

— Понял, понял! Это и есть то самое шило, которым грозился дядя. Третьего дня приходил один, а он ему: мы, говорит, вам шило воткнем. Шило...

— Бэ! Что шило! — скривил губы Салим-байбача. — Это отравленная стрела, а может, и еще что похуже... Это огонь — он сжигает дотла!

Юлчи ничего не сказал. Он вскочил на лошадь, и колеса его арбы загромыхали по булыжнику мостовой.

Стояли жестокие сухие морозы, какие бывают в Ташкенте раз в два-три года и держатся всего по нескольку дней. Однако по случаю базарного дня торговые ряды были заполнены густыми толпами народа. Большинство людей одето бедно. У многих головы по уши замотаны обрывками ветхой чалмы, а то и просто старым женским платком, босые ноги обернуты грязными тряпками.

Больших трудов стоило Юлчи проехать через ряды, где продавались тюбетейки. Здесь была настоящая давка. Очень много женщин. Их жалкую одежду не могли скрыть даже паранджи; а горе, заботы и тревогу на лицах можно было увидеть даже сквозь самые густые сетки чачванов. Дрожание рук, протягивающих тюбетейки, приглушенные, полные уныния голоса, худоба — все говорило о бедственном положении этих тружениц, иглой добывающих скудные средства к существованию.

Юлчи выехал на мучной базар, к большой соборной мечети. Площадь здесь была забита оборванной голодной бедной с мешками, с сумками. Хитрые и ловкие, грубые и крикливые торговцы охотились за горемыками, пришедшими сюда купить горсть муки, работали руками, зубами, глазами, орудовали своими весами с камнями, заменяющими гири.

А у мечети ряды нищих: убогие старухи, попрошайки-мальчики, грязные оборванные дервиши.

Юлчи охрип от непрерывных «пошт-пошт!» и еле выбрался с базара. Голову юноши сверлила мысль: «Кто имеет деньги, у того есть свои «шилья» и свои «стрелы». И добро бы они кололи ими только друг друга! Если поглядишь да пораздумаешь, оказывается, все их шилья и стрелы втыкаются в конце концов в народ, в ремесленников, дехкан, поденщиков, батраков... Купцы сидят в своих лавках, укутавшись в дорогие шубы, в суконные теплые халаты. Дома их ожидает сытная еда, они всегда довольны, веселы. Дети их обуты, одеты, в тепле. А бедный люд — всю жизнь трудится и никогда не ест досыта. Недаром говорят: сытому — смех, голодному — слезы. Я каждый день перевозжу сотни тюков материи, а себе не могу справиться теплого халата...»

Размышляя таким образом, Юлчи не заметил, как подъехал к складу. Здесь он погрузил товар и отправился в обратный путь.

Нахлестывая коня, Юлчи быстро проезжал Хадру. Вдруг он резко потянул повод: у аптеки, прижавшись к стене, сидел Шакасым и, бормоча что-то жалобным голосом, просил у прохожих милостыню!.. По тому,

как он прижимался к стене, как робко, не поднимая глаз, обращался к прохожим, было видно, что он страдал и готов был умереть со стыда.

Юлчи с минуту растерянно глядел на Шакасыма. «Если окликнуть, бедняга еще больше застыдится. Да и я как буду смотреть ему в глаза? Хоть бы деньги были при мне, помог бы. Ничего нет!» Он ударил лошадь, но через несколько шагов снова остановился: «Э, будь что будет!» Юлчи спрыгнул с седла и негромко позвал:

— Шакасым-ака!

Шакасым поднял голову, нерешительно оглянулся. Узнав Юлчи, шаркая опорками чариков, подошел — как был — со сложенными на груди руками.

— Как живешь? — стараясь придать голосу бодрость, спросил Юлчи.

— Что скрывать, братец... Вот, видишь... — Шакасым разжал руку и показал несколько медяков. Глаза его наполнились слезами. — Что поделаешь? Зима, холод... Ребенок... Я всего только два дня... Только два дня... Небо далеко, земля жестка...

— Ораз же пристроил вас к какому-то баю-скотоводу?

— Погореть бы этому баю! Прожил я у него около двух месяцев. Потом он прогнал меня. Как только таких людей земля терпит!..

— Терпит, видно, потому что принимать брезгует. Вы не обижайтесь, но, если говорить правду, нищенство — последнее дело. Работать надо. Какая бы работа ни была... А где сынишка?

— Отдал в приемьши одному бездетному. А насчет работы — где она? Вот солнце пригреет, на поденщину пойду. Чем нищенствовать, лучше умереть. Тысячу раз лучше!..

— Весны не ждите. Снег сгребайте, воду носите чайханщикам. Завтра-послезавтра я зайду, где вы будете?

— Вон в той чайхане найдешь меня. Ну поезжай, поезжай. Ты ведь тоже под чужой волей ходишь...

Юлчи был так взволнован, что забыл и про коня, на котором ехал, и про мануфактуру, которую вез. Неожиданно сзади что-то затрещало, лошадь резко пошатнулась в сторону и остановилась. В ту же минуту послышался чей-то грубый окрик:

— Эй, где глаза у тебя? Что ты за арбакеш!..

Юлчи вздрогнул, оглянулся — оказалось, что его арба зацепилась осью за колесо другой, встречной арбы и сломала несколько спиц.

...Дня через три Юлчи устроил Шакасыма погонщиком на маслябойню. С хозяином маслябойни Юлчи познакомился, покупая у него жмых для байских коров. Тот вместо платы обязался кормить Шакасыма и предоставить ему угол для жилья, а при хорошей, добросовестной работе пообещал еще и «чаевые».

Шакасым принял эти условия как великую милость.

III

Вечерело. Юлчи сидел один у ворот хозяйского двора. В узеньком переулке, который в ту пору обычно оглашался звонкими голосами ребят, — ни души. Переулок сплошь залит непролазной грязью, здесь не

только затевать игры — по делу и то надо было пробираться осторожно, шаг за шагом, прижимаясь к дувалу.

Покосившиеся, крытые камышом и глиной хижины и полуразвалившиеся дувалы по обеим сторонам переулка являли в сумерках невыразимо печальную картину. Они заставляли думать о бедности, о постоянной нужде, гнездившихся рядом, в самом близком соседстве с богатыми хоротами огромного байского двора...

Шагах в двадцати скрипнула калитка. Через минуту мимо Юлчи, коснувшись паранджой его колен, в байские ворота прошла девушка, ведя на аркане корову. Это была Гульнар. Они с матерью ухаживали за хозяйской коровой, но доили ее всегда на глазах самой Лутфинисы.

Сердце юноши вострепелось и застучало так, словно хотело вырваться из груди. Теперь Гульнар для Юлчи уже не прежняя незнакомка, которая изредка вспоминалась ему с прошлого лета. Нет, теперь эта девушка стала для него самой дорогой и самой близкой на свете!

Впервые счастье улыбнулось Юлчи в тот день, когда он возил Нури к «самому надежному» знахарю. Немного отогревшись после поездки, он поднялся, прошелся по людской и вдруг остановился перед окошком: во дворе, неподалеку от людской, сидела на корточках девушка и мыла на снегу посуду. Юлчи прильнул к окну. Заметив его, девушка вспыхнула, вскопчила и, промелькнув перед глазами падучей звездой, вмиг исчезла.

А через день они встретились снова. Произошло это вот как. В день свадьбы Нури тетка позвала Юлчи на женскую половину кипятить чай — женщинам трудно было справляться с двумя огромными самоварами. Еще исстари было заведено, что в день свадьбы в ичкари чай для гостей кипятят мужчины. Даже самые фанатичные и самые ревнивые мужья не видели в этом отступления от обычаев и нарушения благочестия. К тому же дело это обычно поручалось работнику, а ведь работник в глазах хозяина только наполовину человек.

Юлчи прошел в ичкари. Устроившись в одном из дальних уголков обширного двора, он занялся самоварами.

Во дворе сновало много бедно одетых женщин, обслуживавших гостей. Среди них была и Гульнар. На этот раз на ней был, правда уже поношенный, бекасамовый камзол. На голове — новый платок, на ногах — почти новые ичиги и галоши. Она все время торопилась. Распорядительницы тоя и другие женщины постарше без стеснения подходили к Юлчи, но девушка все время держалась поодаль. Чай она принимала не прямо от него, а через руки других подавальщиц. Чтобы не стеснять девушку, Юлчи старался не смотреть в ее сторону.

— Гульнар,— подзадоривали ее подавальщицы,— ну что, он съест тебя? Подойди поближе. Джигит — настоящий сокол!.. На тое нечего стесняться.

Постоянная спешка и беготня с чайниками чая для гостей, с водой для омовения почтенным наставницам религиозных школ и женам ишанов вынуждали Гульнар подходить к Юлчи все ближе. Она уже не закрывала лицо кончиком платка, только отворачивалась, когда приближалась к нему, иногда взглядывала на юношу и порой чуть заметно улыбалась.

Комнаты и даже террасы ичкари были переполнены женщинами. Здесь также во всем чувствовалась твердая рука Мирзы-Каримбая с его правилом: «Каждый должен быть принят в свое время, в своем месте и соответственно своему положению». Все гости были разделены хозяйкой на три группы: первая — это жены ишанов, казиев и пожилые женщины из самых знатных домов; вторая — жены баев, купечества, а также женщины, чем-либо полезные хозяйке. Обе эти группы располагались в чисто прибранных и богато обставленных комнатах ичкари. Сюда подавались все лучшие и самые дорогие угощения, сладости, фрукты. Третью группу составляли те, которых в доме бая презрительно называли «рваные паранджи». Это приглашенные только ради приличия бедные родственницы, соседи. Они располагались на террасах, теснясь у нескольких специально для этого случая поставленных сандалов. Сюда на старых ржавых подносах подавали изъеденный шашелем урюк, джиду, местную карамель, такую липкую, тягучую, что прилипнет к нёбу — и хоть щипцами отрывай, и наскоро испеченные лепешки, такие тонкие: дунь на нее — и, как говорится, до самой Бухары улетит.

За порядком в ичкари наблюдала хозяйка тоя Лутфиниса. Около полудня она вышла во двор, передала Юлчи большую пачку чая, помянула Гульнар и, когда девушка подошла, зашептала обоим:

— Это самый лучший чай. У меня сидят жены ишанов, жена и невестка Тураходжабая, дочери Мухамедшариф-казия. Им надо заварить покрепче. Поняли? Ты, доченька Гульнар, когда будут просить чаю из моей комнаты, шепотком предупреждай об этом Юлчи.

Гульнар и Юлчи понимающе улыбнулись, и эта улыбка сразу сблизила их. Девушка подходила теперь чуть не каждую минуту. А Юлчи всякий раз со смехом спрашивал: «Для ишан-айим? Для жены Шарифа-казия? Или — для тетушки Хайри?» — «Самый густой», — отвечала Гульнар нежным, смеющимся голоском и, принимая чайник, так глядела на джигита, что у него замирало и таяло сердце.

Семена любви, запавшие в душу Юлчи холодным зимним днем, с тех пор проросли, распустились и, согретые теплом юношеских надежд и сладостных грез в долгие бессонные ночи, расцвели пышным цветом. Но думает ли о нем девушка? Найдет ли его любовь хоть слабый отклик в ее сердце? Этого Юлчи не знал. Часто Гульнар, как сегодня, закутавшись в паранджу, проходила мимо него, иногда он, сидя на терраске с Ярматом, совсем близко слышал ее голос. Но лицо девушки и ее глаза со дня свадьбы Нури сияли и улыбались ему только в мечтах. Сумерки сгущались. Темные провалы калиток проглатывали одного за другим прохожих, возвращавшихся из мечети с вечерней молитвы. Небо хмурое, над городом ни одной звездочки. В темноте растаяли деревья, дома, дувалы.

Юлчи смотрел перед собой в темноту, а перед его глазами во всех подробностях вставал день свадебного пира в ичкари. Он видел Гульнар, ее лучистые глаза, светлую улыбку, и ему казалось, что тот пасмурный зимний день был самым светлым днем в его жизни...

Мечты Юлчи прервал неожиданно прозвучавший из темноты голос:

— Где тут дом Мирзы-Каримбая?

Юлчи вскомчил — голос показался ему знакомым:

— Кто это? Не вы ли, Ишбай-ака?!

— Юлчи? Вот когда довелось тебя увидеть!

Они поздоровались. Ишбай жил в кишлаке по соседству с Юлчи, работал чайрикером и, несмотря на бедность, по мере сил помогал его семье. Юлчи пригласил гостя в людскую, но тот отказался:

— Хозяин прислал в город с кладью. Я оставил все в караван-сараяе и побежал разыскивать тебя. Еле нашел. Теперь надо поскорее возвращаться.

— Хотя парой слов перемолвимся. Расскажите, как живут мои родные! Идите! — уговаривал Юлчи.

— Нет. Не могу,— стоял на своем Ишбай.— Домашние твои все здоровы. Мать привет передавала. Братишка работает на мельнице Курбан-аксакала. Живется им трудновато. Да в кишлаке сейчас все так. Мать просила денег прислать хоть немного. Если есть, давай, пусть малость подкормятся.

Юлчи опустил голову, снял тубетейку и по кишлачной привычке почесал затылок.

— Вы хорошо знаете, Ишбай-ака, что живу я здесь ради матери и брата с сестрой. Но сейчас при мне нет и медного гроша. Придется просить у бая.

— В спросе, говорят, беды нет. Ничего ззорного не будет, если и попросишь. Дитя не заплачет, мать не покормит. Ведь бай сродни тебе, сделает, наверное, снисхождение.— Ишбай понизил голос.— Только ты сразу все не бери. Возьми часть, а остальное пусть лучше хранится у хозяина. В голодном доме и катык, говорят, не успевает закинуть — сколько ни пошли, все проедят.

— Ладно.— Юлчи хлопнул Ишбая по плечу.— Завтра попрошу и постараюсь отнести вам. Где вы будете, на хлебном базаре, что ли? — Юлчи подумал и прибавил: — Ну, а если не выйдет, тогда попозже пошлю. Найду надежного человека.

— Правильно. Так и сделай, братец мой. Посылать надо только с надежным человеком. Нельзя верить всякому, хотя бы и однокишлачнику. В теперешнее время правый глаз — левому враг...

Они, стоя, поговорили немного, и Ишбай ушел.

Поздно вечером Юлчи направился к баю. Подойдя к хозяйской двери, он заколебался. Бедняку даже свое заработанное трудно просить. К хозяину надо подойти вовремя: бывает, он не в духе, злой, сердитый, бывает — веселый и добрый. Наконец решившись, Юлчи осторожно открыл дверь.

Мирза-Каримбай, обложенный со всех сторон подушками, сидел у прикрытого атласным одеялом сандала. Не меняя положения, он взглянул на племянника:

— Заходи, дорогой, заходи. По какому делу?

Юлчи, постеснявшись пройти по ковру в грязных сапогах, отвернул ковер, опустился на колени почти у самых дверей и объяснил, зачем пришел. Мирза-Каримбай выслушал его и долго сидел молча с закрытыми глазами. Потом чуть приподнялся, облокотился на сандал.

— Что у бабьей породы ум короток, давно всем известно, племянник,— заговорил он тоном наставника.— Нельзя сказать, чтобы и мать

твоя — Хушрой-биби — отличалась умом. Достаточно послать один раз — и готово, она будет просить денег каждую неделю. Ей захочется вкусно поесть, сладко попить, а потом пожелает завести и по второй смене одежды. Одним словом, она забудет, что иногда надо и потерпеть, и потеряет всякую меру. Если хочешь послушать моего совета и быть человеком, никогда не принимай близко к сердцу жалобы женщины.

— Моя мать не такая, — осторожно возразил Юлчи. — Она женщина трудолюбивая. Прошло уже восемь месяцев, а она до сих пор ни копейки еще не просила. Я, дядя, хочу только, чтобы мать и брат с сестрой не надоедали с нуждой другим...

Бай, точно он и не слышал возражения племянника, пропуская меж пальцев бороду, продолжал:

— Деньги добывать трудно, но уметь расходовать их с толком еще труднее. Собственно, в этом и заключается вся суть. Терпеливость и воздержание, умение довольствоваться малым — вот что спасает от нужды бедного человека! У моего порога работало немало людей всякого сословия и положения. И почти все они погрязали в долгах. Один работник прожил у меня целых девять лет и все не мог разделаться с долгом. Так и сбегал, бросив рваные чарики. Двадцать рублей за ним осталось. Значит, и на том свете придется ему ответ держать... Ты мне свой... Потому и советую тебе — никогда не подставляй шею под ярмо долгов. Понял?

Юлчи слушал дядю хмурый. Когда тот кончил, он неохотно кивнул головой и продолжал сидеть молча.

Бай долго о чем-то размышлял. Потом пошарил по карманам, вынул пятирублевую бумажку, положил ее на сандал. Немного подумав, прибавил еще трехрублевку, затем еще целковый и бросил деньги на ковер перед Юлчи:

— Шесть рублей пошли. А три — при себе оставь на расход. Да передай матери, чтоб на эти деньги пшеницы купила. Жизнь и пропитание от самого Адама на пшенице, на хлебе держится. Сам праотец Адам, в первый раз вспахав землю, посеял пшеницу. Это — благословенное зерно. Из пшеницы можно сварить коджу, а смолов ее на муку — аталу, лапшу — одним словом, тридцать два разных кушанья можно сготовить. Вот что значит пшеница. А мать пусть, по одеялу глядя, протягивает ноги, понятно?

Юлчи взял деньги и со стесненным сердцем молча вышел от бая. Он подумал: «Чтоб получить девять рублей, пришлось выслушать девяносто нравоучений. Видно, если я не буду твердым, то от своего заработка получу только огрызки».

Спать ему не хотелось, и он, хотя время было уже позднее, вышел на улицу.

В этом квартале было два человека, которые прились по душе Юлчи. Один — кузнец Каратай, другой — сапожник Шакир-ата. С Каратаем он подружился, подковывая в его кузнице хозяйских лошадей и починяя арбу, а в мастерскую Шакира-ата заходил попросить инструмент, чтобы своими руками починить себе обувь. Старик никогда не отказывал и относился к юноше как к родному сыну.

Юлчи потянуло к сапожнику. Пройдя мимо тускло светившегося

окошка мастерской, заклеенного промасленным листом бумаги, он открыл легкую дверь:

— Здравствуйте! Не уставать вам, отец!

— Заходи, сын мой,— сапожник привычным движением чуть приподнял очки. — Давно ты не показывался.

Шакир-ата сидел в углу мастерской за толстым, ровно срезанным чурбаном. Это был старик лет шестидесяти пяти, худой — кожа да кости, с лицом несколько продолговатым и лбом, изрезанным глубокими морщинами, с жидкой небольшой бородкой. С пятнадцати лет, работая сначала учеником, затем подмастерьем, а потом и самостоятельным мастером, он привык сидеть целыми днями согнувшись, и теперь спина его совсем сгорбилась. Весь облик этого человека говорил о том, что жизнь его была полна трудностей, тяжких забот и постоянной нужды.

Мастерская — тесная, с низким потолком, с тонкими каркасными стенками. Все углы завалены старыми колодками, обрезками кожи, чашками и банками с сапожным клеем, тряпками для подкладок и прочим хламом. Свежего человека сразу обдавало чадом от большой висячей лампы.

Ученик мастера — четырнадцатилетний Юлдаш — сидел у окошка. Нажимая изо всех сил, он разглаживал натянутые на правило маленькие ичиги (Шакир-ата был мастером по детской обуви). Потом вычернил их сажей и принялся за окончательную отделку. Ичиги, сшитые из тонкой, кустарной выделки кожи, начинали понемногу блестеть — «принимали вид».

В переднем углу мастерской сидел сын Шакира-ата Тахирджан. Он, как слышал Юлчи, уже продолжительное время болел чахоткой. В прошлом стройный, красивый, теперь Тахирджан высох будто соломинка. На лице у него — ни кровинки. В умных карих глазах — сознание обреченности. Он непрерывно кашляет, коротко и резко. Откашлявшись, долго не может отдышаться. Плечи его в это время приподнимаются, худые лопатки выпирают еще больше.

Юлчи очень жалел этого человека и всегда пытался отвлечь его от тяжелых мыслей. На этот раз он тоже сказал ему несколько дружеских слов.

Тахирджан устало улыбнулся: он ежедневно слышал десятки подобных утешений, и число их становилось тем больше, чем быстрее таяло его тело.

— Болезнь моя неизлечима, братец. Она с каждым днем все ниже пригибает меня к земле. И ни один день не приносит мне облегчения. Любое лекарство оказывается для меня ядом. — Тахирджан закашлялся, закрыл глаза, с трудом отдышался и продолжал: — Если болезнь излечима, даже чистая вода помогает — и человек выздоравливает. А я от лекарства только слабее и делаюсь вялым...

Шакир-ата ласково посмотрел на сына:

— Не говори так, сын мой. Неверие и отчаяние — это от дьявола. Аллах для каждой болезни сотворил лекарство. Только сейчас не стало знающих врачей. В старое время были Ибн-Сина, Лукман-хаким. Они знали средство от каждой болезни. Для Ибн-Сины, к примеру,

была бы у больного жива душа — и довольно, он вылечивал. Обо всем этом, сынок, я слышал и знаю — в старинных книгах так пишут.

— Да, но где же найти таких лекарей? — грустно усмехнулся Тахирджан.

— Их нет, сынок,— Шакир-ата тяжело вздохнул.— Эх... все теперь испортились, все развратились. Лекари стали обманщиками. Поэтому-то сейчас и заговоры и лекарства не помогают. Теперь об исцелении только аллаха, создателя нашего, молить надо.

— Аллах гнев свой ко мне проявил, а вот милость, видно, скрывает,— безнадежно махнул рукой Тахирджан.

Шакир-ата, явно недовольный сыном, пристально посмотрел на него через очки.

— Не поддавайся соблазну неверия, сын мой! — сказал он строго.

По морщинистому лицу старика разлилась тень глубокой печали. В мастерской наступило молчание. Слышно было только, как мальчику-ученик, занятый уже новой заготовкой, беспрерывно шмыгал носом.

Юлчи приходилось слышать, что страдающим такими «затяжными» болезнями, как у Тахирджана, помогает вольный воздух степей и гор. Он посоветовал:

— Тахир-ака, скоро весна, поезжайте в горы. Свежий ветер и чистый воздух, как самое лучшее масло, пойдут вам на пользу. Что волосинку из теста, вытянет из ваших жил всю болезнь. Потом хороший кумыс там будете пить. Горный кумыс — он совсем другой.

— Верно, очень верно! — согласился больной.— Горный воздух, кумыс, зелень весны — лучшее лекарство для моей болезни. Об этом мне говорил и ученый доктор. Но что поделаешь? Ехать в горы нужны деньги. Кто мне приготовит там даровой кумыс и мясо? А положение наше — сами знаете... — Покашливая, больной кивнул на старика и обвел взглядом мастерскую.

Юлчи не сдавался:

— Можно что-нибудь придумать... Подождите, вот Зияходжибай, он одного с вами квартала. К тому же вы с ним соседи, калитки ваши рядом, одна к другой прилепились, не так ли? А у него в Чимкентских горах много баранов, лошадей. Вчера сын его хвалился: у нас, мол, столько-то косяков лошадей, в них столько-то кобыл, столько-то жеребцов!.. Я прямо рот разинул. Понимаете, кумыса, говорит, столько, что не успевают выпивать! — Юлчи взглянул на больного.— Сыновья Зияходжибая там бывают, вот вместе и поехали бы. По-соседски...

Тахир горько рассмеялся и покачал головой:

— Вы здесь новый человек, братец мой Юлчи. И вы совсем не знаете нрава здешних людей.

— Ну, а попросить если...

В разговор вмешался Шакир-ата.

— Знаешь, Юлчи,— сказал он, не отрываясь от работы,— недаром говорят: «Чем протягивать руку к хлебу алчного, лучше умереть с голоду!» Понимаешь смысл этого? Вот! Ты говоришь, лошади и бараны Зияходжибая все горы и степи заполонили? И летом кумыса некуда девать? Верю. Да только какая польза от этого нам с тобой? Ну, допустим, я по нужде пойду к баю с покорной просьбой. Думаешь, этот

сын распутницы так и согласится? Нет! Скорее у собаки кость выпросишь, чем какой-нибудь пустяк у этого скряги! — Старик минуту молчал. Набрал в рот воды, сбрызнул голенище ичига и, расправляя его, продолжал: — Чем больше я беднею, тем Зияходжи больше радуется, Юлчибай!

Юлчи удивился:

— А какое у него может быть зло против вас?

— Зла нет, а дурной умысел есть. Двор его примыкает к нашему. Но для него он мал. Вот бай и задумал прибрать к рукам мой клочок земли, застроить его и жить привольно... Знаю я. Он давно зарится. Я зубами и руками держусь за свое убежище, и потому бай было поостыл. А вот как только Тахирджан заболел и нас придавила нужда, он опять наострил уши, бессовестный. Даже людей подсылал, выводывал мои намерения. Вот теперь сам и подумай — выходит, чем хуже болезнь Тахирджана, тем больше радости ему, подлому. — Старик затряс головой и вдруг закричал так, будто перед ним стоял Зияходжибай: — Да я и с ноготь своего места тебе, мужу развратницы, не уступлю!..

Юлчи пожалел, что своими неудачными утешениями только растравил сердечную рану старика и его больного сына. Но разве он мог знать, что так получится!..

В мастерскую без стука вошел высокий угрюмый человек лет сорока пяти в надвинутом по самые брови казахском малахае:

— Не уставать вам, мастер!

— Пожалуйте, Икрамбай. Присаживайтесь, — радушно пригласил гостя старик.

Икрамбай опустил на корточки, прислонился к стене, снял с головы малахай и молча принялся вертеть его в руках.

Тахирджан, виновато взглянув на Юлчи, тихо сказал:

— Устал я. Пойду домой.

Покачиваясь от слабости, он поднялся и, опираясь на палку, заплетающимися шагами направился к выходу.

Икрамбай, словно он только сейчас заметил больного, окинул его безучастным взглядом, равнодушно спросил:

— Как здоровье?

— Спасибо, — ответил Тахирджан чуть слышно. Дрожащей рукой больный открыл дверь и вышел, не оглянувшись на гостя.

Юлчи до сих пор ни разу не встречал Икрамбая в своем квартале. Одежда на госте была грубая, нескладно сшитая, но зато новая, добротная. Видно было, что он человек с достатком. Из дальнейшего разговора Юлчи понял, что Икрам — разъездной торговец и оптовый заказчик Шакира-ата, что он дал старику вперед деньги под ичиги и теперь пришел за товаром.

Шакир-ата со свойственным должникам смирением, расточая благословения Икраму и его детям, униженно сообщил, что сейчас он в состоянии дать только десять пар ичигов.

Икрамбай возмущился:

— Денег я вам давал на сорок пар ичигов? На сорок! А спрашиваю только двадцать. Было бы, конечно, лучше, если бы вы сразу отдали

все и рассчитались. Но трудно требовать то, чего нет. Вот и отдавайте все, сколько есть готовых.— Торговец кивнул на разложенные в ряд около Шакира-ата ичиги, блестящие свежей отделкой.

Старик снова начал спрашивать, пустил в ход все свое красноречие:

— Я был близким другом твоего покойного отца. Хоть в память его смилуйся, сын мой. Ты, слава богу, из торговых людей. Не ремесленник убогий, как я. Если рассказывать обо всех моих горестях, их ни в какую книгу не вместить. Большой сын, невестка да три внука. И все они на попечении у меня — старика. Завтра среда. Базарный день. Оставь мне десять пар. Продам, и этим прокормимся пока. Хоть ради голодных моих внучат окажи милость, дай отсрочку дней на десять... на неделю.

— У каждого свои заботы, отец! О пропитании беспокоитесь не вы один,— холодно заметил Икрамбай.

Юлчи сидел молча, низко опустив голову. Грубость и холодное упрямство торговца раздражали его. Он хмурился, пощипывал кончиками пальцев жиденькие, только-только пробивающиеся усы и думал: «Словами такого разве проймешь? Схватить бы его поперек и вышвырнуть на улицу. Только старику от этого едва ли будет легче. Все равно этот живоглот сдерет с него. Да еще и к ответу притянет. Потому на его стороне сила — деньги. А за беднягу старика кто заступится!..»

Старик сделал еще одну попытку смягчить торговца:

— Я имел дело со многими купцами. И ни одного даже на копейку не обманул. Мое за ними пропадало, а ихнее — нет... Я согласен питаться одной водой. Тысячу раз согласен! Но даже на чужую соломинку не позарюсь... На той неделе непременно получишь. Непременно!

Икрамбай усмехнулся:

— Эти ваши разговоры — ни к чему. В наше время никто не допустит, чтобы другой присвоил его добро. Ну давайте, мне пора. Спать хочется, глаза слипаются. А завтра с рассветом в кишлак отправиться.

Шакир-ата снова заговорил о своей нужде. Жаловался он не только на свою судьбу, а и на бедственное положение всего ремесленного люда. Рынки, говорил он, заполнены фабричными товарами, кустарные изделия идут за бесценок, и многие мастера «складывают свои колодки и инструменты» — разоряются... Однако жалобы старика только ожесточили Икрамбая.

Юлчи не вытерпел, гневно взглянув на торговца, сказал:

— От слов старика и камень растаял бы! Вы заберете двадцать пар ичигов, а целая семья должна котел пустой водой полоскать. Надо же и совесть иметь. Не колите шилом высохшую от работы грудь старого человека.

Икрам даже не взглянул в сторону Юлчи.

— Я свое спрашиваю. К чужому кошельку рук не протягиваю,— равнодушно проговорил он.

Шакир-ата поднялся. Растирая занемевшие коленки, он принялся отсчитывать ичиги. Поставив их попарно перед Икрамом, старик с дрожью в голосе сказал:

— Бери, сын мой, торопись забрать свое добро!..

Торговец встал, потянулся, зевнул. Потом сосчитал ичиги и, отделив пять пар, отложил их в сторону:

— Пусть эти пять пар останутся вам. Не обижайтесь, отец.

У старика задрожали губы.

— Забирай все! Чем скорее рассчитаюсь, тем лучше. Может ли обижаться человек на то, что разделяется с долгом? Радоваться надо!

— Мы с вами земляки, мастер. Мы еще понадобится друг другу. К следующей неделе приготовьте еще пятнадцать пар. Если хотите, я могу вам и кожу доставить. Ну ладно, об этом потом поговорим. Всех вам благ!

Забрав пятнадцать пар ичигов, торговец вышел.

Старик старался казаться спокойным и даже бодрым, но было заметно, что он сильно расстроен. Он не находил инструментов, лежавших рядом, рука его, шарившая в поисках колодки, несколько раз попадала в клейстер, на кончике крючковатого, с широкими ноздрями носа блестели капли пота.

У мальчика-ученика уже слипались глаза, но он, чтобы не огорчить мастера, старательно тачал голенище очередного ичига, разводил и сводил руками, поскрипывая навощенную дратвой.

В мастерской становилось холодно. Ветер напирал на тонкую дверь, гремел промасленной бумагой окошка.

Юлчи пора бы и уходить, но неловко было оставлять Шакирата в такую минуту. Чтобы отвлечь старика от горестных мыслей, он спросил:

— Значит, завтра — на базар, отец?

— Если ремесленник в среду не побывает на базаре и ничего не продаст, у него целую неделю руки будут связаны, — ответил Шакир-ата. — Хоть дела мои и неважные, да какой-нибудь выход найдем.

— А как же вы их поправите — ваши дела? Ведь этот дурак все вам испортил.

Старик смочил слюной кусок кожи, помолчал и пояснил:

— Продадим оставшиеся пять пар ичигов, купим ниток, воска, клею, лаку. Так? Затем, дома у меня есть немного кожи. Правда, подошвы нет. Но и тут выход найдем. Ты хочешь знать — какой? В прошлом году я сшил себе пару ичигов. Ткач, говорят, без поясного платка, а гончар — без кувшина, — слышал небось? Поносил я те ичиги три дня на праздник и спрятал. Ну вот, мы их продадим и подошвы купим. Дела наши и поправятся. Но что в котле варить — не могу пока придумать, сынок. Плова мы не едим. Для нас был бы маш или пшено да репа — и довольно. Не так много и денег надо, чтобы котелок наш кипел целую неделю.

Шакир-ата тяжело вздохнул, вдруг схватился за сведенную судорогой ногу и, охая, принялся растирать ее.

— Отец, может, вам денег дать, чтоб котелок ваш кипел? — Юлчи потупился. — Немного... три рубля.

Старик, склонив набок голову, долго смотрел на джигита поверх очков. В его взгляде были и растроганность и глубокая благодарность.

— Спасибо, сынок! Дай бог дожить тебе до ста лет, внуков и правнуков вырастить. Денег мне ты не давай. Заработал в поте лица и расходуй на себя. А для меня и слова твои дороже золота. Потому ты укрепил ослабевший дух мой.— Шакир-ата ударил кулаком себя в грудь.— Этот старик каких только невзгод не видел! А сегодняшняя — разве трудность? Пустяк! Эта седая голова много перевидала и еще много увидит. Аллах Тахирджана бы исцелил — вот мое желание...

Шакир-ата снял очки, вытер слезы и снова принялся за работу. Боясь обидеть старика, Юлчи не стал настаивать.

— Будет нужно, спросите, я найду. Хорошо?

— Если очень большая нужда случится, тогда другое дело.

Шакир-ата еще раз поблагодарил юношу и от всей души пожелал ему счастья и удачи в жизни.

Юлчи вышел на улицу. Резкий ветер засвистел в ушах, швырнул ему в лицо острыми как иглы снежинками.

Скользя и спотыкаясь в темноте о кочки на застывшей дороге. Юлчи направился к себе.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Нури с каждым днем все больше разочаровывалась в мужа. Сильно преувеличивая его недостатки, она, особенно в последнее время, видела в нем одно плохое. О чем только не думала она, оставаясь одна,— даже развестись собиралась. Но все ее планы и поводы для развода, такие хорошие на первый взгляд, при более глубоком размышлении оказывались никуда не годными. Разве согласится Мирза-Каримбай развести дочь с таким зятем, как Фазлиддин! Нури понимала, что это невозможно. Тогда сердце ее устремилось к запретным удовольствиям. Так как она крепко верила в силу богатства, то путь тайных наслаждений казался ей самым доступным и удобным. Окончательно она пришла к такому решению в тот день, когда свекровь сообщила ей о предстоящем отъезде Фазлиддина в Москву.

Вечером, когда Фазлиддин после продолжительной беседы со старшим братом Абдуллабаем зашел к себе, Нури с притворной обидой сказала:

— Говорят, вы в Москву собираетесь. А почему я ничего не знаю?

Фазлиддин, усаживаясь на свое постоянное место у сандала, улыбнулся:

— Мне самому только сегодня стало известно. Я должен поехать вместо брата.

— Когда?

— Завтра-послезавтра...

— А что вы будете делать в Москве?

— Торговать, душа моя. И настоящая торговля, и настоящая

прибыль только там, в Москве... Что привезти тебе из Москвы? Приказывай!

Нури кокетливо склонила голову:

— Возвращайтесь благополучно, больше мне ничего не надо.

— Я привезу тебе таких подарков, каких ты и во сне не видела. Самых дорогих, самых удивительных вещей привезу.

— Невестку, говорят, смотри, когда в дом прибудет, а приданое — когда развернут. Пока не привезете, не поверю.

Весь этот вечер Фазлиддин был весел и разговорчив, часто смеялся Нури, чтобы не упустить удобного случая, решила пойти на хитрость. Она сделала печальные глаза, чуть отвернулась и, вздохнув, негромко сказала:

— Вот вы все богатством своим хвалитесь. А я плохо верю в это богатство. Не знаю, за что только вас называют московскими баями¹. Вы, наверное, и торгуете-то на чужие деньги...

— Ха-ха-ха! — громко рассмеялся Фазлиддин. — Это мы работаем на чужие деньги?! Сыновья Наджмиддинбая?!

— Откуда мне знать, — равнодушно ответила Нури. — Мне так кажется...

Слова жены задели самолюбие Фазлиддина. Он пристально взглянул на Нури:

— Это почему же, а?

— Не похожи вы на баев. У вас даже работника в доме нет, женщины сами дрова рубят... Мы часто сидим без воды — некому принести. — Нури отвернулась снова.

— Так вот ты чем хочешь нас укорить? — покачал головой Фазлиддин.

— А что, не правда? Вот вчера я рубила дрова... даже руки заболели. — Нури издала показала свои изнеженные ладони. — Можно ли обойтись без работников в такой большой семье?

Фазлиддин сделал серьезное лицо.

— Верно, один работник нужен, — степенно, по-стариковски заговорил он. — Только трудно найти честного, совестливого человека. Работник должен быть таким, чтобы он иголки хозяйской не смел тронуть, чтобы ни души, ни тела не жалел для хозяина. Сказал ему: умри — он должен умереть, сказал: воскресни — должен воскреснуть. А где такой возьмешь? Трудно узнать, что внутри у человека. Смотришь — по наружности будто ангел, а на самом деле в нем сидит богопротивный шайтан. У нас много лет работал один старичок — бездомный бедняк. Золотой человек! И со всей работой справлялся, и предан был, точно купленный за деньги раб. Зато и отец отплатил ему добром за добро... Не видел бедняга ничего хорошего при жизни, так после смерти дождался.

— Что же сделал для него отец?

— Похоронил как следует, когда он умер. Не бросил просто в яму, как это делают с чужими. А зарезал барана, поминки устроил. Я сам

¹ Московский бай — бай, который вел торговые дела с Москвой, с московскими купцами.

около года каждый четверг читал Коран по покойнику. А можно ли сделать человеку большее добро?

— Вы сказали правду. Работник должен быть как раб, — согласилась с мужем Нури. — А такого не сразу найдешь. Один работать ленив, другой приврать любит, третий — вор. Конечно, надо выбрать проверенного человека.

— Вот-вот! — кивком головы выразил свое одобрение Фазлиддин. — Именно проверенный человек нужен. А где его найдешь?

На щеках Нури проступил румянец.

— Ну только разрешите, я сама найду, — вдруг сказала она. — У отца есть работник, что хотите — и смиренный, и честный. Вот с места не сойти, если лгу! Работает за троих. К тому же он наш родственник. Будет сыт, одет, обут, — и довольно с него. Мы его и возьмем, хорошо? Только, если пообещали, не отказывайтесь от своих слов!

— Ладно, — ответил Фазлиддин. — Но отдадут ли они такого хорошего раба?

— Мне? — воскликнула Нури. — Обязательно отдадут!

Нури еще долго говорила с мужем, старалась быть приятной ему, хотя думала совсем о другом. Она радовалась, что задуманный ею план может осуществиться так скоро. Муж храпел, а она долго еще лежала с открытыми глазами и все мечтала...

II

Гульнар толкнула калитку, вошла во двор. Лицо ее было бледно, губы дрожали. Она сбросила паранджу на обрывок кошмы на терраске, прислонилась к столбу и некоторое время стояла растерянная, с блуждающим взором.

Мать ее, Гульсум-биби, — худощавая, тихая женщина лет сорока, занятая на терраске починкой одежды, подняла голову и нежно посмотрела на дочь:

— Напугалась чего-нибудь?

Гульнар едва пошевелила губами:

— Нет...

— Голова заболела?

— Нет...

Девушке хотелось остаться одной. Она с трудом оторвалась от столба и медленно побрела в дом.

Вот уже несколько месяцев Гульсум-биби замечает, что дочь ее часто грустит, ищет уединения. Не находя других причин, Гульсум сваливала все на бедность: у дочери нет нарядов, не говоря уже о коврах, сюзане, нет ни вершка ткани на приданое. «Стыдится подруг, бедняжка, — думала она. — Потом, в такие годы ей бы веселиться, а она только и знает что спину гнет на хозяйской работе: стирает, за коровой присматривает, детей нянчит. А может, у нее хворь какая? — беспокоилась мать. — Кроме бога, нет у меня защиты, пусть же он сохранит мое единственное сокровище!»

На этот раз Гульсум-биби всю вину свалила на мужа: «Подохнуть тебе, такому отцу! Только и знает твердит: «Выдам дочь за бая, за

земельного, хотя бы она была у него и второй женой». Сгинуть твоим желанием, дочь мою на огне хочешь сжечь! А дочка — она ведь разумница — догадывается об его поганых намерениях, вот и горюет, страдает. Сам, подохнуть ему, малаем служит, а тоже гордится, важничает. Сколько сватов выпроводил: один, видишь ли, низкого рода, другой — ремесленник, третий, говорит, арбакешит — горе тешит. Вот хотя бы мать молодого плотника — сколько раз уже наведывалась!.. Лежит у меня сердце к этому парню. У человека в руках цветок, а не ремесло! Сам холостой, дом есть, место готовое. Чего бы еще надо? Так он еще причину нашел: «Судьба дочки, говорит, не в моей воле, а в руках благодетеля моего и отца — бая. Он сам и жениха ей выберет и выдаст...» Сгинуть тебе, а не отцом быть! Чужой — всегда чужим останется. Счастлива будет моя дочь или высохнет от тоски и горя — для Мирзы-Каримбая все равно. Чужой он нам, чужой и есть!»

Гульнар вошла в маленькую, темную — с одним окошком, — сырую комнату, все убранство которой состояло из старой кошмы, нескольких щербатых пиал на полке, старого сундука да пары ситцевых покрытых заплатами, одеял в нише, протянула ноги к сандалу и прилегла на кошму. Минуту назад, возвращаясь от подруги безлюдным переулком, она, чтобы лучше видеть дорогу, откинула чачван и вдруг лицом к лицу столкнулась с Юлчи. Девушка вздрогнула, торопливо закрылась. Но Юлчи все же успел увидеть ее. Живые, выразительные глаза и широкое мужественное лицо джигита осветились какой-то особенно теплой, ласковой улыбкой. Гульнар, скользя и разбрызгивая грязь, бросилась к дому. У калитки она остановилась, чтобы перевести дух, но сколько ни старалась, все же не могла скрыть от матери свое волнение.

Гульнар крепко полюбила Юлчи. При одном имени его сердце девушки начинало биться чаще и сильнее. Чувство это зародилось с того памятного дня, когда им вместе пришлось обслуживать хозяйских гостей. Первое время Гульнар не понимала, что творилось с ней. Но тревога в сердце с каждым днем нарастала, и девушка, до этого знавшая о любви только по сказкам, начала понимать истинную причину своих страданий. После свадьбы Нури она ни разу не посмела встретиться с Юлчи и обменяться с ним хоть двумя-тремя словами: боялась родителей, боялась посторонних глаз. Как она будет смотреть людям в лицо, если о ней начнут говорить, что она стала чьей-то любовницей? Ведь молодую девушку так легко оклеветать. В то же время ей не давала покоя еще одна мысль — а вдруг отец скажет: «Мирза-Каримбай нашел жениха, готовься к свадьбе, жена!» Ведь это может случиться, отец слушается бая во всем!..

Со двора послышался голос Ярмата, потом — овечье бляенье. Приподнявшись, девушка посмотрела в окно: отец привязывал к тутовому дереву большого, жирного барана. Халат на нем до самого пояса захлостан, даже на бороде и лице брызги грязи.

— Где твоя дочь? — крикнул Ярмат Гульсум-биби.

Гульнар вскочила, на ходу сунула ноги в капиши и выбежала во двор.

— Поддай воды!

Гульнар налила в глиняный кувшин воды, протянула отцу.

— Полей! — Ярмат присел на край террасы, подставил грязные сапоги и принялся жаловаться: — Ох, помираю, дочка! Гнать одного барана — это мученье. Даже самому великому грешнику в судный день бог не придумает такого наказания! Пройдет два шага и остановится среди улицы, в самой грязи. Будто ноги пригвоздили ему к земле. Сколько ни бейся — ни с места! За шею тащишь — упирается, сзади под курдюк подталкиваешь — тоже. А какой у него курдюк, видала? Пуда полтора сала выйдет! До костей салом оброс! Да, полакомятся завтра охотники до нарына!

— Всю жизнь так, — усмехнулась Гульсум-биби. — Вы мучаетесь, а лакомиться будет кто-то.

Ярмат обернулся, хмуро посмотрел на жену и сердито закричал:

— Что?! Больше ничего не нашла сказать, глупая женщина?! Ты лучше спросила бы, за сколько куплен баран, напомнила бы мне: попроси, мол, у хозяина голову, печенку, требуху... Да, пожалуй, и нарына завтра отведаем. Этого ты не подумала, а?

— А что нам дадут, кроме объедков? — заметила Гульнар, мельком взглянув на мать.

Непочтительное вмешательство дочери еще больше рассердило Ярмата. Хмуро поглядывая то на жену, то на дочь, он покончил с мытьем сапог, затем умылся сам, напился чаю и велел жене идти на байский двор.

— Хозяйка зачем-то звала, — сердито пояснил он и затем прибавил: — А сюда сейчас подойдет Юлчи, надо засветло зарезать барана, прибрать мясо, сало.

Гульнар вдруг оживилась и поспешила поддержать отца:

— Верно! Лучше пораньше со всем управиться. В темноте что за работа. И Хаким-байбача, наверное, будет торопить.

Ярмат смягчился. Он велел подать нож, брусок, вымыть большие глиняные корчаги под мясо. Гульнар вмиг все приготовила. Потом прошла в комнату и опустилась на колени перед окном: отсюда она могла видеть своего джигита.

III

Нури пришла к своим в полуденное время в пятницу. Одетая она была очень нарядно. На руках по несколько пар золотых браслетов, на пальцах бриллиантовые кольца, поверх плюшевой жакетки парчовый камзол, отливавший разноцветными огнями, будто сотканный из золота и серебра... При ее появлении в комнатах ичкари поднялась суматоха. Раньше всех подбежала мать. Дрожащими руками она обняла дочь, поцеловала ее в лоб. Затем гостью окружили невестки и не меньше десятка женщин-родственниц. Каждая справлялась о здоровье, желала благополучного возвращения из Москвы мужа. Нури, однако, была скучна и молчалива. Рассеянно слушая болтовню женщин, она нехотя выпила две пиалы чаю, потом встала, вышла во двор, заглянула на кухню. Там она застала Гульсум-биби и еще двух

женщин-соседок. Гульсум пекла в тандыре лачира для шурпы. Две соседки суетились у очага. В большом котле для нарына варилась жирная колбаса из конины, во втором — баранье мясо.

Нури снова вышла во двор. Увидев пробежавшую мимо Гульнар, она окликнула девушку, поговорила о каких-то пустяках и вдруг спросила:

— Кто у вас дома?

— Недавно там были отец с Юлчи, — ответила Гульнар и хотела уйти, но Нури остановила ее и, чему-то улыбаясь, предложила:

— Пойдем туда. Если мужчины на терраске, мы посидим в комнате. Я утомилась здесь — суматоха, шум, ребята...

От удивления Гульнар не сразу нашлась что сказать. В девичестве Нури очень редко заглядывала в их хибарку. А если и заходила случайно, то даже не присаживалась к сандалу, брезгуя их одеялами и подушками. «Видно, после замужества нрав у нее изменился!» — подумала девушка и, обрадованная, спросила:

— Правда, вы не шутите, сестрица? А старшая госпожа ничего не скажет?

Нури не ответила. Она подошла к террасе, накинула чью-то паранджу похуже и, ласкаясь к матери, сообщила ей о своем намерении.

Лутфиниса выпучила глаза:

— Что с тобой, доченька! Кто ты и кто они? Зачем тебе ходить по лачугам работников? Неужели тебе у матери плохо? Или я не так приветила родную дочь? Если хочешь, велю приготовить место в отдельной комнате. Сбрось эту паранджу!

— Ничего не надо, айи, — ласково сказала Нури. — Устала я с проводами вашего зятя. И здесь шум, гам. Мы посидим и поговорим с Гульнаром. Она мне споет что-нибудь.

— Ох, бой-бой! Ну, как знаешь, дитя мое. Только долго не засиживайся... Да смотри, — добавила Лутфиниса совсем тихо, — вшей не наберись!

Гульнар провела Нури к себе, разостлала одеяло и усадила ее, подложив под спину подушку. Девушка сегодня была счастлива. Вчера, когда Юлчи помогал отцу разделявать баранью тушу, она через окошко несколько раз встретила с его взглядом, полным любви и ласки. Глазами и молчаливыми улыбками они рассказали друг другу о том, что хранилось у обоих глубоко в сердце.

И сейчас Гульнар очень хотелось взглянуть в окно на Юлчи, который сидел на терраске, по-богатырски скрестив ноги, и чинил конскую сбрую. Однако боязнь вызвать подозрение у Нури заставила ее побороть это желание. Она смеялась, говорила о разных мелочах, старалась развлечь гостью.

Нури слушала невнимательно и часто отвечала невпопад. Несколько раз она, томно склонив голову, бросала взгляд на терраску. Заметив рассеянность гостьи, умолкла и Гульнар.

Неловкое молчание это было нарушено приходом Ярмата.

Ярмат давно жил в доме и был доверенным слугой, поэтому Нури при нем не закрывалась, как и Гульнар не пряталась от Мирзы-Каримбая.

Довольно потирая руки и улыбаясь, Ярмат опустился на колени в двух шагах от сандала:

— Здоровы ли, сестрица Нури? Спасибо, что перешагнули порог нашей хижины. Сердце мое от радости готово прыгнуть выше самых высоких гор. Спасибо, спасибо! Я вас любил и люблю больше, чем свою дочь. Вот и отблагодарили — вспомнили Ярмата и пришли...

Нури, не вставая с места, холодно поздоровалась. На вопросы навязчивого работника она отвечала короткими «да» или «нет». Тогда Ярмат стал обращаться к дочери. Он без умолку болтал, рассказывал, как swekor Нури — Наджмеддинбай когда-то построил на свои средства мечеть, какая обширная торговля у Фазлиддина-байбачи. Наконец он поднялся и, молодцевато выпрямившись, направился к двери.

Гульнар попросила:

— Принесите тесто, я тоже буду его крошить, чтоб помочь женщинам.

— Осталось уже немного, дочь моя. Сейчас Юлчибай освободится и покрошит. Вы лучше посидите поговорите. Ну, я пошел к гостям.

Нури посмотрела в окошко и, как только за Ярматом закрылась калитка, попросила:

— Я проголодалась. Сходи, Гульнар, скажи матери, пусть пришлет чего-нибудь. Фисташек побольше захвати. А может, ты там нужна. Сходи узнай.— Нури вздохнула, поправила волосы, шаль.

— Я — с радостью! Давно бы сказали, сестрица.— Гульнар вскочила, проворно накинула паранджу.

Нури осталась одна. Первой ее мыслью было выйти на терраску к Юлчи. Но она тут же раздумала: «Увидит Гульнар или Ярмат — опозорюсь. Что же делать?» Нури снова села к сандалу. Сердце ее учащенно билось, губы пересохли. Наконец она решила: «Открою окно и поговорю. Если войдет кто-нибудь, скажу, душно в комнате, потому и открыла...»

Юлчи только было собрался крошить тесто, как вдруг открылось окно. Он поднял голову — перед ним разодетая, сияющая золотом и драгоценными камнями стояла Нури. Юноша застыл от неожиданности, лицо его залилось румянцем.

— Здоровы ли, веселы ли? — смущенно проговорил он, склоняясь над тестом.

Нури кокетливо рассмеялась:

— Мне всегда весело. А увидела вас — и еще веселее стало.— Боясь упустить время, она сразу же заговорила о том, ради чего пришла в лачугу батрака: — Юлчи-ака, я хочу забрать вас отсюда.

— Куда же это? — не понял Юлчи.

— К себе... К нам... — поправилась она. — Нам нужен такой человек, как вы. Работа у нас в тысячу раз легче. Вы не откажетесь, да? Я вам только добра желаю.— Покусывая кончик волос своей длинной косы, Нури выжидающе смотрела на Юлчи чуть прищуренными глазами.

Юлчи ответил не сразу. «Эге, муж-байбача уже наскучил, видно! — подумал он.— Ненадолго же хватило тебе твоей радости. Теперь приглашаешь меня в работники, чтоб играть как с малым ребенком.

Понятно!..» Уйти от Мирзы-Каримбая значило расстаться с Гульнар. А для Юлчи одна улыбка Гульнар была дороже всех радостей жизни. Подняв голову, он сказал мягко:

— Не трогайте вашего бедного родственника, оставьте его в покое. Я живу здесь, и у меня есть свои маленькие надежды. Вам работник нужен? Я могу найти. Есть на примете один верный человек.— Юлчи бросил нож, приложил руку к сердцу.— А меня оставьте.

— Юлчи-ака, у нас вы скорее добьетесь исполнения ваших надежд и желаний. Что вам нужно? Деньги, чтобы кормить ваших родных в кишлаке, хорошая одежда? Если вы будете у нас работать, вы все это получите от меня! — Нури вызывающе рассмеялась.

— Я не пойду, если бы вы даже вздумали увести меня насильно. Счастье не только в деньгах и в одежде. Деньги я заработаю...

— А в чем же еще?

— Об этом позвольте мне знать,— тихо, но твердо сказал юноша.

Нури была растеряна. Она никак не ожидала, что этот батрак откажется от ее заманчивого предложения.

— Оказывается, вы очень упрямый и своевольный. Но рано или поздно вы должны будете согласиться!..

Нури сердито захлопнула окно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

На женской половине двора Наджмеддинбая расцвели черешни. Теплый воздух был наполнен пьянящим запахом цветов. В белой кипении их, пронизанной лучами яркого солнца, роились и звенели тысячи пчел и весенних жучков.

Аисты давно прилетели; где-то на соседней крыше слышалась детская песенка:

Пришла весна,
Аисты прилетели,
Крылья их стали
Как листочки бумаги —
слиняли...

Под черешней, на широкой деревянной кровати с выкрашенной голубой решеткой, на мягких одеялах полулежит, облокотившись на подушку, Нури.

Напротив, в десяти шагах от нее, стирает белье Гульнар. Не отрываясь от работы, девушка то запоет тихонько, то перекинется словом-другим с Нури. Сегодня она особенно хороша. Под лучами весеннего солнца отливают серебром ее белые, точеные руки с засученными выше локтя рукавами, горят черные косы, вздрагивают длинные, густые ресницы.

Время от времени к ним подходит свекровь Нури. Она не может нахвалиться девушкой:

— Мешки золота-серебра сыпь на тебя, Гульнар, и то мало. Пошли аллах тебе счастья и удачи в жизни! Спасибо отцу-матери — научили тебя работе, уму-разуму...

Нури почувствовала в словах свекрови укор себе, пренебрежительно скривила губы:

— Пропади оно, золото-серебро, если его сыпать к ногам каждого... Что оно — пыль?

— Вай, Нуриниса,— выразительно повела бровью свекровь,— знаешь, в старину говорили: девушке не трон золотой пожелай, а счастье с мизинчик дай... Может, и Гульнар счастье улыбнется. Войдет она невесткой в хорошую семью, вот тебе и золото-серебро.

— Не хвалите так, тетушка-сватья. А то зазнаюсь и стирать не захочу,— ответила со смехом Гульнар и уже серьезно добавила: — Найдется какой-нибудь бедняк и для дочери батрака. Был бы хороший да умный — и довольно.

У Нури не было желания ни говорить, ни шевелиться. После разговора с Юлчи она не находила покоя, то теряла всякую надежду и ей становилось все безразлично, то злилась и придумывала новые хитрости. Каждый раз, когда на память приходил Юлчи, сердце ее загоралось обидой и гневом. «Какой-то малай в доме моего отца — и не обращает на меня внимания! — возмущалась она.— Чем он гордится, почему привередничает? Ну, побоялся тронуть меня в девичестве... А теперь чего ему бояться! Нет, тут что-то не то. Я все раз-узнаю, все раскрою!»

Нури лениво сошла с кровати. Упершись руками в бока и высоко задрав голову, она, точно невестка в гостях, стала медленно прохаживаться вдоль ряда черешен нарочно на виду у хлопотавшей по двору свекрови. Всем своим видом она говорила: «Стерпишь — терпи, а не стерпишь — широкая тебе улица! Мать меня не для работы родила. С кем ты меня сравниваешь? Гульнар — одно, а я — другое!»

Нури обошла широкий двор, сад, остановилась около Гульнар, снисходительно спросила:

— Уморилась?

— Нет. Я и побольше этого стирала.

— Вот приедет твой пачча...

— А когда он приедет?

— Давно бы должен быть... Вот приедет он, я найму себе прислугу и работника.

— Особенно нужна вам прислуга,— согласилась Гульнар.

Нури стояла, держась за ветку черешни, и чуть приметно усмехалась.

— В работники Юлчибая хочу взять,— сказала она, пристально сверху вниз глядя на Гульнар.— Он испытанный человек. Что ты на это скажешь?

Гульнар на миг подняла голову, посмотрела на Нури и снова склонилась над корытом. Девушка ничего не сказала, но Нури и без слов поняла, что кроется за этим молчанием; Гульнар побледнела губы ее вздрагивали.

— Что ж ты молчишь? — насмешливо спросила Нури.— Разве

плохо будет, если Юлчибай перейдет к нам? Он мой родственник. Я буду хорошо платить ему. Тетка в кишлаке узнает — обрадуется. Обязательно заберу Юлчи. Да он и сам на крыльях прилетит.

— Хорошо... Порадуйте вашу тетушку. А мы — что ж... — дрожащими губами выговорила Гульнар и отошла с бельем к веревке.

Глядя ей вслед, Нури значительно кивнула головой и рассмеялась.

Вечером Гульнар возвращалась домой, низко опустив голову, погруженная в невеселые думы. Мир казался ей беспросветно темным. Она знала характер Нури: если та чего захочет, обязательно добьется. «Зачем ей понадобилось совать свой нос в мужские дела? — тревожно думала девушка. — Работника пусть ищет муж. И разве нет других, кроме Юлчи? А потом, с каких это пор Нури стала так заботиться о забытой кишлачной тетке и ее сыне? Нет, тут что-то неладно... Нури еще в девушках была ветреной. Бывало, такое скажет, что слушать стыдно...»

Девушка пришла домой совсем разбитая. Мать сообщила ей, что завтра утром они должны будут выехать в загородное поместье. Но Гульнар встретила эту новость безразлично.

Ярмат с семьей ежегодно переезжал в поместье месяца на два раньше хозяев, чтобы к их приезду привести в порядок сад, двор, хозяйство. Вместе с отцом и матерью там с утра до ночи работала и Гульнар.

Незадолго до часа вечерней молитвы пришел Ярмат. Он сказал, что завтра будет занят другими делами и придет в поместье только вечером, а женщин с утра повезет Юлчи. При этом известии дым печали, застлавший сердце Гульнар, начал рассеиваться. Она легла в постель, но, хоть и утомилась за день, не сомкнула глаз — все ждала рассвета.

II

Юлчи сидел на облучке фазтона, хмуро поглядывал на низкие, мрачные ворота незнакомого двора, за которыми часа полтора-два назад скрылся Салим-байбача, и думал: «Что ему делать в этом глухом месте? Какая нужда была на ночь глядя выезжать из дому?..»

Со стороны ворот неожиданно послышался чей-то возглас:

— Юлчибай!

Юлчи поднял голову, расправил усталые, натруженные за день плечи, обернулся на зов: от ворот к нему подходил старший зять Мирзы-Каримбая — Танти-байбача:

— Что ты здесь делаешь, Юлчи?

— Привез Салима-ака, — стараясь скрыть раздражение, ответил Юлчи.

— Салима? А где же он?

— Уже часа два, как скрылся за этими воротами.

— Ага, понятно! — Танти, пьяно покачнувшись, обернулся к старику, сидевшему на табуретке в тени ворот. — Так-то, значит, вы преданы мне, а, Шамурад? Мой кошелек уже кажется вашему хозяину тощим.

Нашли на Асальхон покупателя с более толстой мошной, а мне другой товар — попроще — подсунули? Ладно, ладно!..

Старик вскочил с табуретки и засеменял к Танти со сложенными в груди руками.

Байбача продолжал, передразнивая:

— «Было ли хоть раз так, чтобы она не нашлась для вас, братец мой Мирисхак! Были бы деньги — они вам из арш-аалла доставят ее. За деньги я ключи от рая раздобуду и передам вам из рук в руки!..» А выходит, ключи - то другому в руки попали, а?..

Старик униженно кланялся, лопотал что-то в свое оправдание. Танти досадливо отмахивался:

— Знаем! Знаем теперь!..

Юлчи заметил этого человека еще с вечера, когда они подъехали к воротам. Старик тогда сидел на своей табуретке посредине тротуара и, так же вот униженно раскланиваясь, вскочил навстречу Салиму. Старику было лет под шестьдесят; белая борода всклокочена и спутана, словно мелкие корни вывороченного бурей карагача; на плечах — длинный, с рукавами камзол, видно шитый когда-то из хорошего, дорогого материала, но сейчас потертый и засаленный до блеска, на ногах — потрескавшиеся и облупившиеся от времени лаковые ичиги и рваные галоши.

Старик все продолжал оправдываться:

— Гюльандом — розоликая пери. Меда Асальхон вы отведали. Теперь другие пусть доедают воск, а вы наслаждайтесь ароматом розы. Разве мы не знаем вашего вкуса?..

— Ладно. Довольно. Мы еще поговорим, — грубо перебил старика байбача. — А пока идите и передайте вашему хозяину: пусть приготовит корзину с вином и пивом. Что мне надо — вас не учить.

Старик попятился и засеменял к воротам. Танти-байбача рассмеялся.

— Знаешь, кто это такой, Юлчи? — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Это знаменитый Шамурадбай! Когда-то слава о нем гремела и в Ташкенте и в Фергане. Он был пиром¹ людей, предпочитавших заботам жизни ее радости. Царствовал в этом дворце наслаждений. А потом разорился и, как видишь, оказался у его порога.

Байбача подошел к фонарю фазтона, взглянул на часы:

— Сейчас одиннадцать. Салим скоро не выйдет. Отвезешь меня...

Юлчи не успел ничего ответить, как Танти-байбача повернулся и скрылся в воротах...

Танти кутил с самого полудня. Проигравшись в кумар в компании каких-то приезжих самаркандских баев, он несколько дней сидел дома без гроша в кармане. Но сегодня ему повезло: удалось за хорошие деньги продать одну из своих лавок, и он после завершения сделки решил повеселиться. Танти взял парного извозчика и, развалясь на мягком сиденье, прежде всего отправился в новый город. Проехался по залитым весенним солнцем улицам, обсаженным деревьями, зеле-

¹ Пир — наставник, духовный отец.

неющими свежей листвой, прокатил мимо памятника генералу фон Кауфману.

Здесь прогуливались несколько офицеров, подтянутых, с лихо закрученными вверх усами, с грудью, выпяченной так, словно каждый из них только что глотнул воздуха и шел, стараясь сдерживать дыхание. Танти-байбача тотчас же изменил позу. Будто выполняя какую-то важную обязанность, он принялся раскланиваться на обе стороны: сначала описывал головой небольшую дугу, затем поднимал ее и снова низко склонял уже вместе со всем корпусом.

Отдав таким образом дань «хорошему тону», Танти повернул извозчика и поскакал в старый город прямо в этот глухой переулочок...

Юлчи соскочил с козел, несколько раз прошелся перед воротами. Что делать? Отказать Танти — значило обидеть его, поехать с ним — может рассердиться Салим.

Из ворот вышел Танти-байбача вместе с закутанной в паранджу женщиной, а вслед за ними с тяжелой корзиной, позванивавшей бутылками, — Шамурадбай. Танти велел поставить корзину в фазтон и тотчас усадил женщину.

Юлчи начал было возражать, ссылаясь на то, что не предупрежден хозяин, но Танти-байбача рассердился:

— Брось! Хозяин — я. Придет время — я так встряхну за ворот твоего Салима... Садись... Погоняй!

Не доезжая Чор-Су, Танти велел Юлчи сворачивать в узкий тупик по левой стороне улицы. Когда коляска остановилась, байбача помог женщине сойти, затем, указывая на корзину, коротко приказал Юлчи:

— Неси!

Просунув в щель палку, байбача сбросил цепь, накинутую с внутренней стороны, раскрыл тяжелые ворота. Миновав темный крытый навес, Танти открыл дверь михманханы, прошел в комнату, зажег лампу. Юлчи, следовавший за ним, поставил корзину с вином у окна и отошел к двери.

Танти-байбача опустил на одеяло, ухарски сдвинув на висок тюбетейку, крикнул в дверь:

— Заходите, душа моя!

На пороге показалась молодая женщина лет двадцати. Это была Гюльандом. Она уже успела сбросить паранджу в передней и оказалась в широком атласном платье, в тонкой шелковой косынке и лаковых сапожках на низком каблуке.

Гюльандом действительно была красавицей. Высокая, стройная, с полной грудью и с тонким лицом; лицо смугловатое, точно подернутое легким загаром, и глаза — большие, внимательные и грустные. От нее веяло свежестью, красотой и изяществом — видно, «дом наслаждений» еще не успел наложить на ее облик своей дьявольской печати.

Прошелестев платьем, Гюльандом остановилась рядом с Танти, внимательным взглядом чуть прищуренных глаз посмотрела на Юлчи, кивнула в его сторону.

— Братец, видно, из простых кишлачных джигитов. Это хорошо.

Там, где простота, — там и сердечность. А я вот попала между знатных и... оказалась здесь.

— Что, в плохое место попали? Смотрите!..— Танти-байбача повел вокруг рукой, указывая на убранство комнаты.

Гюльандом окинула взглядом михманхану и, не скрывая иронии, сказала:

— Чудно! Неужели это вы сами со своей ветреной головой столько добра нажили?

Юлчи невольно рассмеялся. Танти-байбача только ухмыльнулся, приняв слова Гюльандом за шутку.

Гюльандом, кивнув байбаче, вышла зачем-то в переднюю. Юлчи тоже повернулся было к двери, но Танти остановил его:

— Не торопись уезжать, успеешь еще. Поддай-ка вон ту бутылку с красной головкой, выпьем.— Байбача помолчал, наблюдая за Юлчи, и вдруг ударил кулаком по колену.— А Салиму и Хакиму я еще наступлю на горло! Я терплю, пока старик не свалился, а закроет глаза — я их прижму! Они стараются лишить меня женой доли наследства. Но я не сплощаю!

Юлчи подал Танти бутылку.

— Зачем раньше времени шум поднимать? — спокойно заметил он и снова повернулся к двери.— Ну, я поехал.

— Подожди, не торопись. Выпей пиалу!.. Не хочешь? Тогда вот это возьми! — Байбача вынул из кармана серебряный целковый и бросил его на ковер.

— Благодарствую, Мирисхак-ака. Только мне это ни к чему... я не возьму...

Танти рассердился:

— Погляди сюда, глупый! Зачем нос задираешь? Ты должен ценить деньги, потому — ты бедняк. Запомни — так ты не разживешься и никогда не будешь человеком. В наше время без денег не проживет и ангел. Если нужно, ради денег, как говорят, цыгану ишака не брезгуй напоить. Вокруг тебя все денежные люди. Вот дядя твой, Хаким, Салим, я и еще много баев. Склоняйся перед ними, оказывай им почет, и они тебя по головке гладить будут, озолотят. Знаю, ты не такой. Потому и советую: брось эту привычку! Возьми деньги!..

Юлчи сделал шаг к Танти-байбаче. Губы его дрожали.

— Спасибо за совет, Мирисхак-ака. Но, говорят, честь джигита дороже денег. Я хоть и мало добываю, но зато добываю честно, своим трудом.

Танти-байбача выпил пиалу вина, кивнул на дверь в переднюю.

— Эту красавицу видел? — сказал он насмешливо.— Она дочь такого же, как мы, мусульманина. Сейчас я для нее ничего не пожалею. Но если огорчит чем — вышвырну и еще лучшую найду. Вот! И все дело в деньгах. Ее с родителями тоже сила денег разлучила!.. Это у тебя все молодость, молодечество. Брось!

— По-моему, — горячо возразил Юлчи, — дело не только в деньгах. Дело и в людях. Вернее, в денежных людях. Вот все добро, что вы сделали для дочери бедняка! — он указал на корзину с вином и, даже не попрощавшись, шагнул через порог михманханы...

Улицы были темные, безмолвные. Редко где слышался свисток или колотушка какого-нибудь одинокого караульщика.

Юлчи гнал лошадь, не замечая дороги. Душа юноши кипела негодованием. Он очень жалел, что не ответил Танти еще резче. «Деньги для них — все. Мужчины их круга покупают за деньги честь жен и дочерей бедняков, а женщины — честь мужчины. Вот и Салим-байбача, наверно, обнимает за деньги дочь какого-нибудь бедняги... А его жди. Всю ночь без сна, а завтра с утра надо отправляться в поместье...»

Вспомнив о предстоящей поездке с семьей Ярмата, Юлчи повеселел. Он оглянулся вокруг: фаэтон катил по Урде, а над вершинами высоких тополей, выглянув из-за легкого облачка, уже повис серебряный осколок луны...

III

...Арба выехала за город. Домашний скорб семьи Ярмата умещался в нескольких узлах, на арбе было просторно, и Гульнар с матерью удобно расположились в передке.

Юлчи, счастливый тем, что везет любимую девушку, весело понукал коня и тихонько напевал какую-то песенку.

Гульнар, закутанная в паранджу, дрожащим от волнения голосом иногда перекидывалась словом-другим с матерью, но с Юлчи заговорить не смела, да и никак не могла найти предлога. Вчерашний разговор с Нури все еще тревожил сердце, но она старалась отогнать печальные мысли.

Ослепительно ярко сияет солнце. Воздух чистый, прозрачный. Над головой ясное голубое небо. А вокруг куда ни глянь — празднично одетая земля: зеленеют холмы, цветут сады; яблони, персиковые и урюковые деревья кажутся со стороны огромными букетами. На полях то там, то здесь дехкане ковыряют омачами землю, подгоняя ударами палок тощих, усталых волов. Возле самой дороги какой-то паренек рыхлит свою полосу кетменем. Время от времени он останавливается, звонким голосом затягивает песню. Ему подпевают птицы в садах. А подальше, на холмах, одиноко бродит мальчик-пастух...

Сгрузились они неподалеку от байского дома в маленьком дворике, окруженном невысоким дувалом. Посредине двора — открытый навес. Гульнар с матерью тотчас принялись подметать двор и раскладывать по местам свои пожитки.

Когда покончили с самым необходимым, Гульсум-биби велела поставить чай. В маленьком арычке рядом с дувалом воды не оказалось. Гульнар накинула на голову вместо паранджи материнский камзол, взяла ведра и отправилась к головному арыку. Шла она по прошлогодней тропинке. Вокруг — молодая весенняя зелень, вдали — синие горы, все знакомые с детства места...

Гульнар вдруг остановилась: на берегу арыка стоял Юлчи и поясным платком вытирал лицо — он только что умылся.

Девушка на мгновенье задумалась — идти или вернуться? — и пошла вперед.

Юлчи посторонился, несмело предложил:

— Оставьте здесь ведра, Гульнар, я принесу.

Гульнар стыдливо отвернулась:

— Спасибо, я привыкла сама. Да и вы устали, наверное.

— Устал? — улыбнулся Юлчи. — Нет, Гульнар, мне еще стыдно устать. Особенно сегодня... когда я помогаю вам...

— Правда? — тихо спросила девушка. — Или это вы так, чтобы сказать что-нибудь приятное?

— Верьте, Гульнар, слова мои от чистого сердца.

Гульнар зачерпнула мутноватой воды, поставила ведра на берег аррыка.

— Верю, — сказала она. — Все говорят, что вы любите правду и... хорошо работаете... Так хорошо, что я боюсь, как бы вас не забрали другие...

— Не понимаю, Гульнар, о чем вы? — Юлчи невольно шагнул к девушке. — Кто меня может забрать?

Гульнар чуть повернулась, на один миг приоткрыла лицо.

— Сказать вам?.. Нури-апа хвалилась: Юлчи, говорит, обязательно будет работать у нас. — Гульнар вздохнула. — Правда, уходите?

— Эх-ха, вон о чем вы? — улыбнулся Юлчи. — Нури-апа, наверное, во сне видела меня своим работником. Пусть же она прежде расскажет свой сон воде. Никуда я не уйду, хоть в цепи закуют и силой будут тащить! Верно, здесь у дяди нет ни дня покоя. Можно, конечно, найти место лучше. Но я не хочу...

— Почему? Каждый ищет, где ему спокойнее и легче. — Гульнар украдкой взглянула на джигита. — У Нури-апа хорошее место.

Юлчи замялся, помолчал немного.

— Если я прямо скажу, не обидитесь?

— Почему я должна обижаться? Может, даже обрадуюсь, кто знает...

— На вас не могу наглядеться, от вас не хочу уходить, Гульнар!..

Сердце Гульнар забилося часто-часто. Она отбросила камзол с лица и, сама того не замечая, шагнула к Юлчи. На длинных и густых ресницах девушки утренней росой заблестели слезинки.

— Правда? Правда, Юлчи-ака?

— Правда, Гульнар! Вы не верите мне?

— Я... не знаю. — Девушка на миг опустила глаза, потом радостно взглянула на Юлчи: — Нет, верю!.. Я вам верю больше, чем себе. Вы правдивый, открытой души джигит... знаю...

Юлчи привлек девушку, дрожащей рукой нежно погладил ее по волосам. Оба они, любящие и счастливые, долго глядели друг другу в глаза...

IV

Нури по себе судила о нравах и поведении всех девушек и женщин и была уверена, что между Юлчи и Гульнар есть тайная связь. «Это она вскружила голову Юлчи, встала помехой на пути моих желаний, — решила Нури. — Только эта батрачка радуется раньше времени. Как она смеет! Да я ей глаза выцарапаю, подлой рабыне! Ее ли дело увлекаться любовью!..»

Нури не стала долго раздумывать и дня через два побежала к своим. «Вот расскажу обо всем Гульсум, тогда увидишь, как заниматься шашнями!» — думала она.

Острая досада охватила Нури, когда оказалось, что семья Ярмата уже выехала в загородное поместье, но она не отступила от задуманного и решила разоблачить девушку с помощью своей матери.

После угощения Нури с матерью остались вдвоем и по обыкновению принялись перешептываться, делясь новостями. Лутфиниса, охая и вздыхая, жаловалась на невесток. Изливала перед дочерью все свои обиды и огорчения, рассказывала обо всем, что случилось за последнее время в семье и у родни.

Нури, чуть ли не с детства привыкшая к сплетням и пересудам, слушала с большим вниманием. Она то смеялась, то сердилась вместе с матерью, то поучала ее.

Наконец Лутфиниса умолкла. Тогда «книгу злословия и клеветы» раскрыла и без запинки принялась читать дочь. Заговорив о Гульнар, Нури придала своему голосу особую таинственность. Озираясь по сторонам, словно ворона, опасаящаяся за свою добычу, она зашептала:

— Жаль, Гульсум-апа нет. Надо было бы кое-что рассказать ей. Вы тут сидите, айи, и не знаете, какие дела творятся у вас под боком!

— Э-э! — насторожила уши Лутфиниса, еще ближе придвигаясь к дочери.

— Гульнар, подохнуть бы ей, оказалась настоящей развратницей!

— Что?! Что ты говоришь? — заиграла белками глаз Лутфиниса.

— Совсем, говорю, развратилась! С Юлчи вот так связалась.—

Нури крепко сцепила указательные пальцы перед глазами матери.— Любятся они... И, по-моему, Юлчи тут не виноват. Во всем виновата эта чертовка... Гульнар. Если девушка навязывается сама, джигит разве откажется!

— Вай, подохнуть бы ей маленькой! — Лутфиниса поджала губы, покачала головой. Старуха так была уверена в словах дочери, что даже не сочла нужным спросить, откуда Нури знает эту новость.— Ах, бесстыжая! А если родит?! — вдруг вспыхнула она, будто пламя на ветру.

Нури не думала, что дело могло зайти так далеко, но промолчала.

— Хотя бы не понесла! — продолжала мать, хрипя и мучаясь от одышки.— Ну и девушка, зачахнуть ей! Ну и распутная! А посмотришь — с виду как будто скромная, разумная...

— Такие-то, айи, всегда развратные. В груди у них шайтан сидит,— ответила Нури.

— Правду говоришь, доченька, правду,— поспешила согласиться Лутфиниса.— Ты вот шумливой росла, словно мешок с орехами. И сестра твоя была веселая и озорная. А обе, слава богу, выросли чистыми и непорочными, что сахар, завернутый в бумажку. Глаза ваши лица мужчины не видали... Конечно, Гульнар низкого рода, оно и сказывается. Кто у нее отец? Кто мать? Малай и рабыня... Порода-то низкая, вот и тянет в грязь. Вот что, Ярмат пусть пока не знает. А Гульсум я шепну на ушко. «Дочь свою, скажу, выдавай куда-нибудь на сторону, пока не поздно. Ищи, скажу, ровню».

Нури помолчала, задумавшись. Она теперь боялась, как бы мать не разболтала обо всем в семье. «Если отец и братья узнают, они прогонят Юлчи. Тогда я уже не смогу взять его к себе в работники и расстанусь с ним навсегда. Да и Юлчи в гневе может рассказать о наших встречах и опозорить меня».

Она тронула колено матери.

— Айи, вы смотрите не расскажите отцу и братьям. И невестки не должны об этом знать. Зачем поднимать в доме шум из-за какой-то батрачки? Расскажите только Гульсум. Ладно?..

— Подожди, Нури,— нетерпеливо перебила дочь Лутфиниса.— А почему бы им не выдать Гульнар за Юлчи, раз они уже спутались? Так принято: если девушка свихнулась, ее выдают за ее любезного.

Такого предложения со стороны матери Нури никак не ожидала. Она сначала растерялась, но быстро нашлась и возразила:

— Не говорите пустого. Юлчи пришел к нам работать, и пусть работает. У него ни денег, ни места своего здесь нет, и сам еще совсем молодой — зачем ему жена? Как говорится: «Мышь и так чуть пролезет в нору, зачем же ей еще решето к хвосту привязывать?» Через пять-шесть лет он в своем кишлаке женится.— Нури решительно взмахнула рукой.— Об этом и рта не раскрывайте! Кто знает, может, Юлчи-бая мы возьмем в работники. Зять ваш очень хвалил его, спрашивал: «Не уступят ли они этого парня нам?»

— Да я думала только соединить этих двух беспутных,— оправдывалась мать.— Ты верно говоришь. И отец твой не любит, когда работники женятся. Раз Гульнар испорченная девушка, лучше будет, если она исчезнет подальше с глаз. Найдет какого-нибудь босяка по себе.

Лутфиниса тяжело поднялась и, схватившись за спину, охая и приговаривая на каждом шагу «Товба!», направилась совершать омовение.

V

Уже две недели Гульнар вместе с отцом и матерью с утра до ночи работает в саду. К приезду хозяев в поместье все должно цвести и блистать как в раю.

А сад прекрасен. Каждый уголок его радуется своей особой прелестью. Целыми днями в нем не прекращается веселая игра солнца и легкого ветерка, цветов и зелени. В арыках серебрится вода. Хауз, отороченный зеленой травкой, переливает мелкой рябью и кажется наполненным не водой, а светом. Яблони, вишни, персики — все плодовые деревья слились в один сплошной цветник, поднятый высоко над землей. В конце сада беспрестанно трепещут выстроившиеся в ряд высокие, стройные тополя. Поют птицы, поет вода в арыках, поют листья на деревьях, и вместе с ними поет Гульнар. Поет она тихо, чуть слышно. Большой грех, если посторонние хотя бы издали услышат голос девушки... При отце и при матери Гульнар и на это не решилась бы. Но сейчас она одна. Мать ушла в город к хозяевам. А отец запряг лошадь и уехал куда-то по спешному делу.

Гульнар поднимает освобожденные из-под земли виноградные лозы и тонкими лентами талового лыка привязывает их к дугам подпорок. Девушке радостно, девушке весело. Вот уже несколько дней в груди у нее не грусть и не печаль, а светлые надежды.

Вдруг со стороны главных ворот послышался знакомый голос:
— Ярмат-ака!

Сердце Гульнар затрепетало. Взволнованная, она только на миг застыла на месте. Потом побежала, непокрытая, с развевающимися по ветру косами. Миновала внутренний двор, устремилась к воротам — и тут увидела Юлчи: он входил во двор, ведя в поводу коня.

Девушка остановилась, отступила за калитку, но оставила приоткрытой одну створку, чтобы видеть Юлчи. На губах ее, свежих, как бутон розы, расцвела улыбка.

А джигит стоял в нескольких шагах от калитки и, поглаживая шею коня, отвечал ей ласковым взглядом.

— А где Ярмат-ака?

— Отец уехал куда-то на арбе. Наверное, за подпорками для винограда.— Девушка улыбнулась.— Вы откуда? Вас не слышно и не видно.

— Я на главном участке,— не отрывая глаз от Гульнар, взволнованно заговорил Юлчи.— Работы много. От хозяина каждый день приходят новые и новые приказы: делай так, делай вот этак... Но мысли мои и сердце мое здесь, в этом саду... Приехал я с надеждой услышать ваш голос. Да вот — на счастье и увидел вас...

Гульнар, застыдившись, опустила голову.

— Не за этим приехали. Дело, видно, какое-нибудь есть...

Юлчи подошел к ней совсем близко:

— Правда, только ради вас приехал. Людям сказал, что за кетменем поеду. Кетменей у нас и в самом деле не хватает. Пожалуй, увезу кетмень Ярмата-ака.

— Вынести? — Гульнар уже прямо взглянула на Юлчи.

— Несите.

Юлчи успел загореть от солнца и степного ветра. И это очень шло к нему. Гульнар казалось, что джигит, стоявший перед ней, силой и мужеством мог бы поспорить со львом. Но вместе с этим в глазах его девушка видела любовь и нежность.

Принимая кетмень, Юлчи тихонько сжал руку девушки. Некоторое время он восхищенно смотрел на нее, не в силах выразить словами переполнявшие сердце чувства. Потом широкое, мужественное лицо его вдруг осветилось теплой, ласковой улыбкой:

— Помнишь, что говорила в тот день?

«Да, да!» — ответила она кивком головы и застенчиво улыбнулась. А вслух прошептала:

— Помню.

Губы их слились. В крови, казалось, растаяло и заструилось по жилам горячее весеннее солнце...

Легкой рысью выехал Юлчи на соседний холм и оглянулся на оставшийся позади сад. Глаза его отыскиали Гульнар. Светлое платье девушки белело издали в лучах солнца чистым, нетронутым снегом.

И вся она — высокая и стройная, будто прозрачное видение, — то вспыхивала, то вновь потухала среди цветов и зелени. Юлчи следил за ней, пока она, как сказочная перь, не скрылась в гуще сада. Затем тронул коня и поехал медленным шагом.

А сердце Гульнар после неожиданной встречи не вмещало нахлынувшей радости. Отдавшись думам о любимом, девушка не заметила, как подвязала целую гряду виноградника, как наступил вечер. Она забыла даже вскипятить себе чаю.

Когда приехал отец, Гульнар разожгла огонь, поставила варить обычную постную шурпу.

Перед тем как свариться шурпе, возвратилась из города и Гульсум-биби. Вид у нее был больной и усталый. Гульнар еще никогда не видела мать в таком состоянии.

— Что случилось, айи, вам нездоровится?

Гульсум-биби ничего не ответила, только взглянула на дочь злыми глазами, прошла под навес, сбросила паранджу и пластом растянулась на кошме.

Из сада подошел Ярмат, спросил, что нового в доме хозяев. Не получив ответа, вспылил, обрушился на жену с руганью.

Дрожая как в лихорадке, Гульнар кое-как налила шурпы. Гульсум-биби даже не притронулась к еде. Девушка через силу проглотила две-три ложки. Ярмат же, крошив в свою миску черствого хлеба, быстро опорожнил ее, затем пододвинул к себе нетронутую миску жены.

— Злая собака! — ворчал он. — От твоих насупленных бровей холодом веет.

— Мама устала, зачем вы ругаетесь? — заступилась Гульнар за мать.

— Что, на ней пахали в городе? Устала она, подохнуть ей! — сердито закричал Ярмат.

Гульсум-биби продолжала неподвижно лежать на кошме.

Как только зашло солнце, Гульнар, хоть ей и не до сна было, легла в постель, укрылась с головой одеялом и долго плакала.

Наутро, едва открыв глаза, она сразу же взглянула на мать: лицо Гульсум-биби было таким же хмурым и злым, как и вчера.

Чтобы не попадаться на глаза матери, девушка поспешила к арыку, кое-как умылась, утерлась концом платка и тотчас заторопилась в сад на работу, но Гульсум-биби остановила ее:

— Подожди, не спеши. Пока отца нет, поговорить надо с тобой, провалиться тебе! Ты отравила мне сердце! — Гульсум-биби вскочила с кошмы и проворно закрыла на цепь калитку.

Гульнар застыла посреди двора. Гульсум-биби грубо схватила ее за руку, потащила под навес. Задышавшись от гнева, спросила:

— Сколько месяцев ребенку, провалиться тебе? — и пнула девушку носком капиша.

— Что? Как вам не стыдно! — вскричала Гульнар, ударяясь головой о столб.

— Тише, не кричи!.. Опозорила ты меня, голову мою до самой земли пригнула, подохнуть бы тебе маленькой! Говори, когда связа-

лась... Когда сошлась с этим, с Юлчи, порази его стрелой молнии.

Гульсум-биби повалила дочь и принялась шипать ее, точно щипцами. Но Гульнар не чувствовала боли.

— Это клевета! Боже, прими душу мою! Кто защитит меня, если родная мать поверила такой клевете!

Девушка рыдала, кулаками била себя по голове, по лицу.

— Какая клевета? В чем клевета? — шипела Гульсум-биби, с остервенением дергая дочь за ухо.— Ты же сама призналась Нури, а Нури сказала матери. Я все знаю. Чуть с ума не сошла. Не помню, как добралась из города.

Услышав имя клеветницы, Гульнар вырвалась, вскочила и в иступлении закричала:

— Ложь! Все ложь! Нури сама распутница. Я ничего ей не говорила! Я чиста, айи, чиста!.. Я еще не потеряла ума, стыда-совести. Я не такая бесстыдница, как Нури! — Девушка повалилась на пол.

Гульсум-биби не сдавалась:

— Правду говори, все равно смерть тебе! Скажу отцу — он тебе голову оторвет... и Юлчи... обоих вас уничтожит... Хоть перед смертью правду скажи!

Гульнар продолжала рыдать и биться мокрым от слез лицом о грязную, пыльную кошму. Она твердила одно:

— Ложь! Ложь! Ложь!

Отчаяние дочери смягчило сердце Гульсум-биби.

— Ложь? Как мне верить тебе? — говорила она, уже не в силах сдерживать слез.

Содрогаясь от рыданий, Гульнар подняла от кошмы голову:

— Не верите — дайте Коран, я поклянусь на Коране! Потом можете убить меня. Все равно перед богом я предстану чистой, с открытым лицом. А не верите — после узнаете, что я не виновата.

Захлебываясь от слез, девушка обняла мать. Гульсум-биби оттолкнула ее, запричитала:

— Ах, где же смерть моя?.. Убила ты родную мать! Зачем только я родила тебя! И Юлчибай тоже — говорили, что он хороший, и самой он мне нравился. Стирала ему, латала. А он что наделал!

Гульнар вскочила, в упор посмотрела на мать опухшими и покрасневшими от слез глазами и с неожиданной смелостью выкрикнула:

— А Юлчи чем виноват? Я люблю его. Это правда. А остальное все — ложь, клевета!

— Люблю-у?! — Гульсум-биби снова вспыхнула гневом.— Где ты научилась таким словам? Вот это и есть, что ты стала беспутной!

Но Гульнар уже осмелела. Сознание правоты придало ей силы.

— Айи,— заговорила она,— верьте, я чиста. Я сохранила себя! Хотите, пойдите к Нури, к старшей хозяйке. Пусть Нури при мне скажет, что я ей говорила. Верно. Они — хозяйева. Но им, видно, мало того, что мы на них батрачим, они хотят и имя наше очернить! — Гульнар схватила мать за руку.— Идемте! Я не могу стерпеть этой клеветы. Не бойтесь их, айи, пусть прогонят нас, что ж с того? С голоду не пропадем, мы привыкли к нужде. Проживем и без них... Не пойдете?

Бойтесь? Тогда я сама пойду, одна. И пристыжу Нури. Пристыжу не клеветой, а правдой!

Гульнар отпустила руку матери, метнулась к ичигам, торопливо принялась обуваться.

Гульсум-биби подбежала, крепко схватила ее за руку:

— Уймись, не будь такой опрометчивой!

— Нет, не могу снести такой клеветы! — вырываясь, выкрикнула

Гульнар.

Гульсум смягчилась:

— Так, значит, все это неправда? Значит, между вами... ничего такого не было? — с облегчением спросила она.

Гульнар обняла мать, прижалась к ней и заговорила взволнованно:

— Айи, ну что мне делать? Что мне делать, если даже вы не верите? Разрезать ножом грудь и показать вам сердце? Почему вы им верите, а меня считаете обманщицей?

Гульсум-биби уже ласково гладила голову дочери.

— Успокойся, доченька, — говорила она сквозь слезы. — Если Нури наклеветала, пусть ее судит бог. Когда-нибудь она будет наказана. Не поднимай шума, нехорошо получится, если отец узнает. Я сама пойду в город, поговорю с хозяйкой и пристыжу Нури.

Гульсум-биби усадила Гульнар, сняла с нее ичиги. Отдохнув немного, велела ей идти на работу и сама, не дожидаясь, направилась к саду. Через несколько шагов она обернулась и строго предупредила:

— С этой минуты даже думать перестань о Юлчи, слышишь!

Гульнар печально вздохнула.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Юлчи продолжал работать у Мирзы-Каримбая. Летом он сгорал на солнце, глотал пыль, зимой терпеливо переносил холод и непогоду. Он пахал, поливал, косил, возил на поле навоз, доставлял в город хлопок, развозил по магазинам мануфактуру, был за кучера... Он не считался со временем, не знал ни пятниц, ни других праздников. Полную лишений и тяжелого труда жизнь скрашивала ему одна надежда, одна мечта — Гульнар... Любовь к Гульнар привязала Юлчи к дому Мирзы-Каримбая и держит его вот уже третью зиму...

Гульсум-биби, скрыв сплетню от Ярмата, долгое время строго следила за дочерью, но ничего предосудительного ни в поведении Гульнар, ни в поведении Юлчи не замечала. И Нури, видимо остерегаясь разоблачения Юлчи, больше не поддерживала своей клеветы, хоть и затаила к обоим глубокую ненависть.

Гульнар шел восемнадцатый год. Как и все мусульманские девушки, она не смела проявлять открыто ни веселья, ни радости, не имела права дать волю своему голосу — ни запеть, ни даже заговорить громко. Перед отцом и матерью, перед знакомыми и посторонними, перед мужчинами и женщинами — перед всеми она должна была быть немой.

Но любовь порой придавала девушке силы и смелости. Правда, очень редко она украдкой выходила из дому и где-нибудь подальше от людских глаз виделась с Юлчи. И эти короткие минуты свидания, заполненные несколькими ласковыми словами да блеском горевших любовью глаз, были для Гульнар великим счастьем.

Ярмат все чаще задумывался над тем, как бы пристроить дочь в «подходящую» семью. Дело это он доверил Мирзе-Каримбаю, надеясь на него больше, чем на себя, и сам пока ничего не предпринимал. Но он твердо решил, что зимой выдаст дочь, и уже несколько раз заговаривал с баем о свадьбе своей «слабенькой».

Мирза-Каримбай отвечал ему по-разному: «Чего ты спешишь? Одна дочь у тебя, придет время — выдашь». Или: «Надо выбрать жениха. Найдется человек — бедный ли, богатый, но способный вынести на своих плечах дом и хозяйство, тогда и устроим той. Потерпи». Осенью неожиданно умерла жена Мирзы-Каримбая — Лутфиниса, болевшая сердцем. Ярмат после этого не посмел докучать баю разговорами о свадьбе дочери и только про себя думал: «Надо бы по возможности хоть сойтись с каким-нибудь подходящим человеком и устроить сговор. А со свадьбой можно было бы подождать и до весны...»

Удрученный смертью хозяйки, он и дома редко когда вспоминал теперь о своих планах выдать дочь и тем радовал Гульнар. Девушка надеялась, что мать в конце концов сжалится над ней и уговорит отца выдать ее за Юлчи прежде, чем тот найдет какого-нибудь другого жениха.

Гульнар не знала да и не могла знать, что судьба готовила ей и ее возлюбленному тяжкие испытания...

II

Мирза-Каримбай принимал у себя в покоях отчет своего приказчика Махамадрасуля, скромного человека лет сорока, с виду похожего на муллу. Махамадрасуль служил в приказчиках уже много лет, работал на многих баев. В прошлом году Мирза-Каримбай обратил на него внимание, переманил к себе и назначил приказчиком в мануфактурную лавку в городе Аулие-Ата.

Махамадрасуль имел немалый опыт в торговом деле и не терялся перед хозяевами при отчетах. А сейчас он сидел перед сандалом, опустившись на колени, и, несмотря на холод в михманхане, краснел и потел.

Перед отъездом из Аулие-Ата Махамадрасуль, целую ночь не смыкая глаз, щелкая костяшками счетов, подытоживал торговые записи в своих тетрадах. Там ему казалось, что все обстоит отлично, и он рассчитывал на хороший прием. А получилось наоборот — не успел он после приветствия присесть на одеяло, как хозяин обрушился на него:

— Почему вы приехали без моего разрешения? — И, не дожидаясь ответа, жестко продолжал: — Здесь никто вас не ждал. Шесть месяцев назад я вызывал вас, мы поговорили. Если бы снова понадобились, я дал бы знать письмом или телеграмму отбил бы. Что пользы снова между Аулие-Ата и Ташкентом? Запомните раз и навсегда: коль скоро

вы у меня служите, каждое дело вы должны начинать только с моего согласия. Самовольства я не потерплю...

Махамадрасуль, не поднимая головы и не опуская почтительно сложенных на груди рук, начал оправдываться:

— Бай-ата, здесь, похоже, произошло какое-то недоразумение. Прежде всего, меня сюда Салимджан-ака вызвали. Можете у них у самих спросить. Затем, здесь, в Ташкенте, как вам известно, у меня семья. Мне передали, что богоданным моим детям — сыну с дочкой — занездоровилось. Приняв в соображение все это и руководствуясь желанием Салимджана-ака, я и отправился в путь.

— Бэ! — насмешливо протянул бай. — А кто он — Салимджан? Что он понимает? Пока глаза мои смотрят, вы должны знать только меня! Разве дело — закрывать лавку лишь потому, что о семье соскучился? И затем поездка в Ташкент — разве она даром обойдется? Расходы на дорогу, подарки детям... Ну хорошо, раз приехали — поговорим. Если желаете, вот счеты. — Бай взял с полки счеты, прокатил их по ковру к Махамадрасулю и прибавил: — Для нас-то все равно. Мы и без счетов умеем обходиться.

«Сегодня бай, видно, с левой ноги встал», — подумал Махамадрасуль. Он некоторое время сидел, низко опустив голову. Потом провел рукой по лбу и начал отчитываться. Но говорил он уже неуверенно, пальцы его дрожали и так же неуверенно откладывали костяшки счетов. Отчет в присутствии иронически улыбающегося и лукаво поглядывающего бая, который не упускал из виду даже самой последней мелочи и бросал поминутно ядовитые замечания, проходил не так гладко, как предполагал Махамадрасуль. Лишь твердая уверенность в правильности своих расчетов помогла ему не растеряться окончательно.

Закончив отчет, Махамадрасуль открыто взглянул на бая.

— Вот, бай-ака, каково положение дел, — скромно проговорил он. — По-моему, оно неплохо.

Мирза-Каримбай, захватив бороду в горсть, усмехнулся:

— Неплохо? А мы такое положение дел считаем очень плохим. Сознайтесь: ведь Аулие-Ата — страна казахов, — наверное, вы там увлекались больше нарынком, чем делами, а? Скажу прямо, братец мой Махамадрасуль. Если я открываю лавку и наполняю ее товарами, то я делаю это ради прибыли. Недаром говорят: если супру прогрызут мыши, просыпется мука. У вас именно так и получилось. Верно, вы в своем отчете все показали правильно, но у меня есть и свои расчеты. И мои — всегда будут вернее. Вам известно, что приказчики у меня есть во многих местах — в Чиназе, в Коканде, в Чимкенте... Я могу их видеть, могу и не видеть, однако дела каждого из них мне известны. Я всегда обо всем знаю, и от меня они ничего никогда скрыть не смогу. И вы ничего не скроете.

Слова бая были несправедливы, и все-таки Махамадрасуль сидел смущенный, не зная, куда девать глаза. Он старался приумножить богатства бая, жил вдаль от семьи, экономил на одежде, стеснял себя в пище. И вот его же обвиняют в пристрастии к нарынку! В своей жизни Махамадрасуль много слышал от баев напраслины, но обида, нанесен-

ная ему Мирзой-Каримбаем, стрелой вонзилась в сердце. Он уже готов был призвать хозяина к справедливости, но бай в это время заметил стоявшего под окном незнакомого человека и сделал ему знак войти.

Человек открыл дверь, но постеснялся пройти дальше и остановился на пороге. Одежда на нем была поношенная, забрызганная грязью. Сам он выглядел простоватым, добродушным кишлачным жителем.

Мирза-Каримбай подозрительно оглядел его, спросил:

— Кого вам надо?

Вошедший смущенно пробормотал, что он однокишлачник Юлчи, вынул из поясного платка письмо, бросил его баю. Смущенно потоптался у порога и, хлопнув дверью, вышел.

Бай развернул написанное на чайной обертке, сложенное вчетверо письмо, надел очки; держа бумагу против окна, пробежал по ней глазами. Некоторое время он сидел молча, шевеля губами, наконец сунул письмо под стоявший на сандале пустой поднос.

Махамадрасуль, не зная, что может означать молчание хозяина, не решался высказать ему свои возражения.

Минутное безмолвие нарушил сам бай.

— Махамадрасуль, — заговорил он по-прежнему строго, — я даю человеку мясо, сало, приправу и приказываю приготовить мне вкусную шурпу. Человек готовится шурпу, но снимает сверху жир, съедает мясо, а мне приносит голые кости и воду... Поняли? Как это будет по-вашему? Подумайте!

Бай, довольный своей мудростью, добродушно рассмеялся, потряхивая бородкой, но тут же, словно спохватившись, замкнулся и снова стал строгим и неприступным. Махамадрасуль почувствовал себя окончательно оскорбленным. При всей своей учтивости он не мог сдержаться, поднял голову и обиженно сказал:

— Бай-ата, не следовало бы вам возводить такую напраслину на беспомощного своего слугу, который трудится ради вас как преданный раб. И жир, и мясо, и вода той шурпы достались вам. Чего же вы еще хотите? Я работал добросовестно и нисколько не злоупотреблял вашим доверием. Многие расходы, которые по договору должны быть отнесены на вас, я принял на себя. По-моему, с тех пор, как люди научились торговать, никто не видел такой выгоды. Прибыль увеличилась в восемь-девять раз.

Мирза-Каримбай по-прежнему смотрел строго, но заговорил громко, тоном отеческого наставления:

— Прибыль, братец мой, должна быть больше не в девять, а в десять — пятнадцать раз. Вы понимаете, какое сейчас время? Война-а! Цены на мануфактуру повышаются чуть не каждый час: утром одна цена, а вечером уже другая...

Махамадрасуль все еще с обидой заметил:

— В Аулие-Ата я каждый день прислушиваюсь к новым ценам.

— Так и должно быть! — одобрил бай. — Цена каждый день до крыши скачет и будет скакать, пока не кончится война, затеянная белым царем. Я сейчас прекратил продажу мануфактуры большими партиями. Если сегодняшняя прибыль — мясо, то завтрашняя, наверное, будет чистым салом. Сейчас товар быстро разбирают и за налич-

ные, а вы много продали в кредит. Как по-вашему, должен я сердиться за это? — Бай помолчал.— Вот что: поскорей взыскивайте с казахов долги! Не могут внести деньгами — берите пшеницей. И потом, если мои слова задели вас, братец мой, не обижайтесь. Я говорил для вашей же пользы... Ну, добро, приходите завтра в лавку, мы еще потолкуем.

— Хорошо, хорошо, бай-ата. Да приумножится ваше состояние!

Махамадрасуль со сложенными на груди руками, пятясь, отступил к порогу, тихонько прикрыл за собой дверь.

Бай некоторое время смотрел ему вслед, затем отвернулся, скользнул взглядом по письму, но, видно, тотчас забыл о нем и потянулся за счетами.

III

Юлчи сидел на корточках, прислонившись к столбу кузницы — открытого с двух сторон навеса с растрепанной камышовой крышей и черными от копоти и угольной пыли стенами,— и неторопливо беседовал со своим другом, кузнецом Каратаем.

Каратай стоял рядом с горном, у наковальни, бил молотом по красному от накала куску железа, то сплющивал его, то оттягивал, то загибал. Задорно постукивая в такт маленьким молоточком, ему помогал тринадцатилетний сынишка его Халтай.

Каратаю на вид тридцать восемь — сорок лет. Это большеголовый, широкий в кости, приземистый человек с толстыми, сильными кистями рук. Он привлекал Юлчи своим постоянством, смелостью и прямоотой суждений, а также тем, что, несмотря на годы, сохранил в сердце огонь молодости и отваги. Они дружили уж около двух лет. В свободное от работы время Юлчи часто заходил к кузнецу, откровенно делился с ним своими радостями и огорчениями. Иногда к их беседе присоединялся и Джумабай, брат кузнеца, холостой парень, работающий на очистке трамвайных путей.

Юлчи только что принес из соседней чайханы чайник чаю, наливал понемногу в пиалу, не торопясь пил сам или протягивал Каратаю. Между делом они, как и всегда, обменивались новостями, перебрасывались короткими фразами. Только когда Каратай сунул в горн новый кусок железа и в кузнице смолк перестук молотков, Юлчи заговорил о самом главном, из-за чего пришел сегодня к другу. Он рассказал, что в ближайшее время собирается как следует потолковать с Мирзой-Каримбаем, выяснить, что причитается ему за два с половиной года работы, а потом через кого-нибудь осведомить бая о своем желании жениться на Гульнар и попросить его замолвить слово перед упрямым Ярматом.

Каратай, потирая изрытый глубокими морщинами лоб, поддержал друга:

— Верно, палван. Если не втянуть в это дело бая, тебе трудно будет добиться какого-нибудь толка. Этот выродок Ярмат метит высоко сесть. Оно понятно: в нынешнее время люди льнут к тем, у кого больше дурных денег. А денежки, они сторонятся карманов таких, как мы, и сами стараются попасть в мощну какого-нибудь бая. Там, видно, им теплее, спокойнее и безопасней...

— Да, деньги боятся карманов бедняков,— согласился Юлчи.— А баям особенно война помогает — из каждого рубля десять делает. Все торговцы сейчас ходят наострив уши, только пройдет какой-нибудь слух — как сразу на всем базаре вскочат цены. И так каждый день. Вот наш хозяин, смотри, как у него дела развернулись. Даже лежалый товар покупатели берут нарасхват. Деньги текут к нему, как мука по мельничному лотку.

Каратай, наклонившись к Юлчи, зашептал:

— Война белого царя богатым принесла радость, а народ совсем нищим сделала. Возьми хоть таких, как я,— кузнецов, ремесленников. Дела наши — фиит! — Каратай как-то по-особенному присвистнул.— Все, братец, кое-как перебиваются, лишь бы с голоду не умереть.— Кузнец оглянулся и зашептал еще тише: — Говорят, под белым царем пол шатается. Слышно, русский народ против войны. Положение-то, оказывается, везде одинаковое. Война всюду с бедных последнюю шкуру содрала.— Каратай выпрямился и уже громко закончил: — Ты дальше этой зимы не откладывай. И обязательно своего дядю-бая проси. Замолив от два слова — Ярмат твой и не пикнет...

— Сама Гульнар, кроме меня, ни о ком и слышать не хочет,— похвалился Юлчи.— Но она — девушка, связана волей отца. А если бай возьмется за дело, конечно, все должно пройти гладко.

Каратай сунул в бочку с водой зашипевший кусок железа и снова обернулся к приятелю:

— По-моему, Мирза-Каримбай хоть и живоглот, а тебе поможет. Что он теряет? Сосватает дочку своего батрака за своего же родственника, который так же честно служит ему, и делает он это не за счет своего кармана... Это — одно. И второе: если Ярмат выдаст дочь на сторону, какая от этого польза баю? А если он женит на Гульнар тебя, ты будешь еще больше привязан к его дому. Ясно — баю это выгодно. Не так ли? — кузнец взглянул на Юлчи и усмехнулся.

— Это ты брось,— возразил Юлчи.— Не только год или месяц — мне и дня лишнего не хотелось бы у него жить. Покончим с делом, а там видно будет, где наша доля...

Каратай хитро подмигнул:

— Знаю. Понимаю. Надоело цепи таскать. Но сейчас ты пока погуше наобещай баю. Ты простой, откровенный человек, а он хитер и лукав. Вот и тебе надо быть похитрее. Если он по веточке ходит, ты сумей по листочку пройтись. Тогда и будешь в выигрыше!

Юлчи громко рассмеялся. Он протянул руку, похлопал друга по плечу и, полный самых радостных надежд, напевая вполголоса какую-то песенку, направился в байский двор.

Время было под вечер. Несколько подростков стравливали двух собак. Лай взъерошенных, озлобленных псов и крики мальчишек заполняли узкое пространство между дувалами.

Юлчи, ни на что не обращая внимания, продолжал широко шагать по кочковатой, подмерзшей улице.

— Эй, джигит!

Услышав знакомый голос, Юлчи поднял голову: навстречу ему шел Шакир-ата.

— Тебя только что разыскивал какой-то однокишлячник,— предупредил сапожник.— Виделся ты с ним? Я ему рассказал, как найти твой двор.

Еще ранней осенью, встретив одного земляка, Юлчи послал с ним для матери двадцать рублей денег и с тех пор никаких вестей из дома не получал. Он ускори́л шаг.

Войдя в ворота, юноша увидел Мирзу-Каримбая, занятого омовением. Когда хозяин поднялся, Юлчи спросил у него о земляке. Бай вытер лицо, затем молча, жестом руки пригласил его следовать за собой.

В михманхане Мирза-Каримбай, по своему обыкновению, уселся к сандалу. Некоторое время он молчал, потирая лоб ладонью. Видимо, затрудняясь, с чего начать, покусывал кончик бороды. Потом сказал:

— Тебе письмо есть. Но оно принесло нерадостные вести.— Бай отодвинул поднос, протянул Юлчи листок бумаги.— Ты разумный джигит и покоришься воле аллаха...

— Что за известие? — взволнованно спросил Юлчи.

Мирза-Каримбай вздохнул:

— О, суетный, бранный мир!.. Ты лишился матери, племянник...

— А! — только и мог произнести побледневший Юлчи.

Мирза-Каримбай снова заговорил о необходимости покориться воле аллаха, о том, что смерть над каждым держит свой меч; напомнил, что умирают даже пророки и святые. Но Юлчи ничего не слышал. Могучий стан джигита согнулся под тяжестью горя. Мысли его были там, в родном кишлаке.

Добрая, нежная мать! Ради счастья и благополучия детей она трудилась, не зная и покоя, и отдыха. До последнего вдоха она, наверное, вспоминала его — Юлчи... Как счастливый, невозвратный сон проходили перед глазами Юлчи дни и годы, прожитые вместе с матерью. Вот последнее из воспоминаний...

Мать провожала его в город. Со слезами на глазах она благословила сына, но не остановилась у порога, а, накинув на голову легкий халат, вышла вслед за ним на тихую кишлячную улицу и проводила его до большой дороги. Ее сердце не хотело расставаться с сыном, rvalось вместе с ним, видно, чуяло недоброе.

Юлчи, наконец, тяжело вздохнул, поднял голову.

— Когда же?..— спросил он, не в силах произнести слово «умерла».

— Уже неделя прошла. Ты теперь каждый день читай Коран в память о ней. Для души умершего нет ничего лучше.

Юлчи ничего не сказал. Крепко сжимая в руке письмо, он вышел во двор. Сердце его разрывалось от горя. Он не сдержался и заплакал навзрыд, роняя крупные слезы.

IV

Было серое зимнее утро. Густой туман давил грудь, стеснял дыхание. Гульнар с матерью завтракали, примостившись к сандалу. На облезлом подносе лежала похожая на глиняный колобок ячменная лепешка, горсть червивого сушеного урюка. Мелкие угли только на минуту согрели сандал и угасли.

Гульнар, закутавшись в старый ватный халат, нехотя откусывала

лешку, разливала чай из самодельного самовара, переделанного соседним медником из большого кумгана.

С улицы вошел Ярмат. Поеживаясь, он присел к сандалу, загрузившими пальцами отер заиндевевшие мокрые усы, принялся за чай.

— Остыл,— недовольно проворчал он.— Если в зимнее время не попить горячего чаю...

Гульсум-биби напомнила о том, что в доме ни полена дров, ни горсти угля, не на чем лишний раз вскипятить самовар.

— Каждый год одно и то же. Летом готовишь горы топлива, а теплом зимою наслаждаются хозяева...

Ярмат оборвал жену:

— Не болтай зря! Если попрошу у хозяина, без топлива не останемся. Сохранил бы аллах от смерти!..— Ярмат помолчал.— Вот проводили Юлчи... Вы, наверное, еще ничего не знаете...

— Куда проводили? Зачем? — вздрогнула Гульнар.

— Мать у него умерла,— пояснил Ярмат, мельком взглянув на дочь.— Вчера вечером письмо пришло. Только что проводил его в кишлак. Если быстро пойдет, поздно ночью будет дома.

— Не оставь ее, аллах, своими милостями, от смерти не уйдешь,— вздохнула Гульсум-биби.

Ярмат строго взглянул на дочь.

— Трудно будет Юлчи,— сказал он.— Младший брат, подросток, у кого-то работает и себя прокормит. А вот сестра пятнадцати лет... Куда ей деваться?

— Бедняжка! — участливо воскликнула Гульсум-биби.— Несчастной девушке будет труднее всех. Матери нет, один брат здесь, другой там, оба в людях. Что только Юлчи будет делать с ней?

— Не знаю,— пожал плечами Ярмат.— Может, там, в кишлаке, замуж выдаст, может, сюда привезет. Мне он ничего не говорил. Хозяин, наверное, посоветовал что-нибудь...

Гульнар больше в разговор не вмешивалась. Горе, свалившееся на плечи Юлчи, опечалило и ее. К горлу девушки подступали слезы. Боясь выдать себя, она встала и тихонько вышла во двор. Здесь, одна, она попыталась представить себе идущего в кишлак джигита: гордая голова опущена, в глазах глубокая скорбь, он одиноко шагает по укрытой снегом степи... Вот если бы вместе они шли через холмы и овраги, она делила бы с ним горе, утешала бы, ласкала его.

Послышался голос Ярмата:

— Гульнар, где ты!

— Я здесь! — торопливо откликнулась девушка. Чтобы скрыть слезы, она бросилась на кухню, принялась умываться холодной как лед водой.

Ярмат подошел к двери кухни, предупредил:

— Вся работа теперь на мне одном. Я вернусь поздно. Ты немного погода пройди в мужскую половину. Надо подмести и прибрать в михманхане.

— А там никого нет?

— Кому же там быть? Все разошлись по делам.

— Хорошо, отец.

...Гульнар убрала одну комнату; вынесла во двор одеяла, выбила их; подмела пол, вытерла тряпкой блестящие, отполированные шкафы красного дерева, большие и малые китайские вазы, расставленные по нишам. Затем перешла во вторую. Это были покои самого Мирзы-Каримбая. На сандале лежали оставленные им очки и перламутровые четки. Гульнар положила их на полку, потом открыла окна и принялась подметать пол, то и дело откидывая за спину длинные черные косы.

Неожиданно во дворе послышались чьи-то шаги. Гульнар выглянула в окно: по двору, направляясь к двери михманханы, проходил Мирза-Каримбай. Проворно застегнув камзол на все пуговицы, девушка продолжала мести. А когда Мирза-Каримбай вошел в комнату, посторонилась и, прижавшись к стене, чуть слышно проговорила:

— Ассалам!

— А, девушка-цветок! Ты здесь, моя беленькая?!

Бай приветливо посмотрел на Гульнар, потом прошел в глубь комнаты, добродушно улыбаясь, пояснил:

— Забыл одну вещичку — человек на сохранение оставил. Пришлось вернуться.

Мирза-Каримбай со звоном отпер стоявший в нише тяжелый железный сундук, накрытый сверху паласом, достал что-то, поспешно спрятал в карман и снова запер сундук.

Гульнар, ожидая, когда уйдет хозяин, стояла, по-прежнему прижавшись к стене. Ей было стыдно. С того времени, как умерла старая Лутфиниса, она по приказу матери старалась как можно реже попадаться баю на глаза и сейчас, оставшись с ним наедине, от смущения не знала, куда девать себя.

Бай остановился посреди комнаты, внимательно оглядел девушку.

— Беленькая моя, как же ты плохо одета, а! — заговорил он мягко. — Почему Ярмат мне ничего не сказал, не попросил? А мать как? Она получше одета? Не стыдись, говори прямо, моя беленькая. Почему отворачиваешься? Бой-бой, чего это ты застыдилась? Расскажи, как вы живете, чего у вас не хватает. Если вы мне не будете говорить, то кому же! Я ведь вам — отец родной.

Удивляясь такой заботливости хозяина, девушка стыдливо потупилась.

— Живем мы по-прежнему, — почтительно ответила она. — Сами знаете...

— Мне некогда проверять, дочь моя. Да одному и не усмотреть за всем, — сказал бай, сделав шаг в сторону девушки. — По-прежнему — значит плохо? Ну, а теперь обязательно должны жить хорошо. Отец твой уже сколько лет мне служит. Когда он поступил, ты была еще младенцем, а может быть, и в утробе матери. Не помню, много времени прошло. Отец твой хорошо работал, дочь моя, не буду скрывать. И вот теперь он будет вознагражден за его труды, я выведу вас в люди.

Бай, прищурив глаза, снова оглядел девушку с ног до головы, облизнул губы.

Лицо Гульнар горело от стыда, но было неприлично стоять молча, когда хозяин пообещал сделать столько добра семье, и она, не поднимая глаз, сказала тихо:

— Вашей доброты мы не забудем...

Приставив веник к стене, девушка повернулась, принялась было стирать пыль с этажерки, но бай позвал ее:

— Подойди сюда, дочь моя, я тебе покажу кое-что.

Гульнар покраснела еще больше, оглянулась на старика, но не двинулась с места.

Бай снова открыл сундук, достал какой-то узелок.

— Иди сюда! — поманил он рукой и улыбнулся.

Девушка нерешительно подошла. Бай развязал узелок.

— Видишь? Вот это — жемчуг. Это вот — горит — бриллиант.

А это — яхонты, изумруды...

На ладонях старика сияли разноцветными огнями драгоценные камни — один красивее и ярче другого.

Девушка невольно залюбовалась:

— Это жемчуг, говорите? Какой чистый! У Нури-апа был такой!

— Все это настоящее, дочь моя! У меня плохих вещей не бывает! — с гордостью заявил Мирза-Каримбай, потом чуть приметно подмигнул и рассмеялся: — Возьми вот это ожерелье, попробуй надень. Все это ведь делается для девушек и женщин. И тебе будет очень к лицу. На, бери, примеряй, — говорил бай и сыпал драгоценности в горсть Гульнар.

Девушка некоторое время любовалась украшениями. Но вдруг вспомнила Юлчи, одиноко шагавшего где-то по снежной степи, и глаза ее затуманились.

— Нет, я не стану надевать, бай-ата. Посмотрела, и довольно. Возьмите. — Она протянула драгоценности Мирзе-Каримбаю.

— Вот глупая! Чего стыдишься? — Старик впилился в Гульнар жадным, прилипчивым взглядом слезящихся глаз, потряхивая бородкой, возбужденно говорил: — Ну хорошо, хорошо. Сейчас не надевай... Положи в карман, спрячь, после, дома, наденешь.

— Что? — удивилась девушка.

— Чего ты стесняешься, цветок мой? Это я тебе отдаю. Возьми, спрячь!

Гульнар даже отступила на шаг.

— Нет, не надо! Я никогда такого не носила, бай-ата. — Она взяла веник и, чтобы не пылить, принялась тихонько мести.

Мирза-Каримбай, повторяя: «Твоя воля, дочь моя, твоя воля», — куда-то спрятал драгоценности, затем медленно и неохотно вышел из комнаты.

«Нрав бая, похоже, лучше стал. Раньше он был скупым, нелюдимым, — думала Гульнар, убирая комнаты хозяина. — Отец говорил, что богатство его через край переливается, а что ему делать с ним? Зачем оно ему? Видно, к старости одумался, о добрых делах вспомнил. Хорошо, если он будет добрым к отцу и к Юлчи».

Перед глазами девушки снова засияли драгоценности. Она готова была раскаться, что ничего не взяла. Но тут в ее сознании зашевелилось какое-то смутное подозрение, и она подумала: «И хорошо сделала, что не взяла. На душе спокойнее».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Хаким-байбача, в дорогой бобровой шапке и в синем суконном халате, степенно, не глядя по сторонам, возвращался из магазина. На повороте к дому его встретил элликбаши Алимхан.

— Мулла Хакимджан, сделайте такое одолжение, зайдите к нам,— пригласил он приятным, вкрадчивым голосом, легонько пожимая руку байбачи.

Хаким, полагая, что это обычная любезность, ответил:

— Спасибо, Алимхан-ака. Я, пожалуй, пройду домой.

— Нет, мой байбача,— значительно улыбнулся элликбаши,— я хочу сказать вам пару слов по секрету. Пожалуйте, жертвой мне стать за вас.

Хаким-байбача пожал плечом и нехотя последовал за Алимханом. Миновав темный, крытый проход, они по крутой дощатой лестнице поднялись на балахану. Крытая камышом и глиной, балахана снаружи была невзрачной, но внутри оказалась хорошо отделанной. Потолок украшен фресками, правда уже потемневшими от времени, но, видно, исполненными рукой опытного мастера. Ниши — ганчевые, по-старинному расположенные клетками одна над другой. Посреди комнаты разостлана новая ярко-красная кошма, подальше, на высоком месте,— уже подержанный чистый ковер. Вокруг сандала — новые одеяла.

Хаким-байбача присел к сандалу и откинулся на услужливо подложенную сзади подушку. Элликбаши осторожно снял тонкий суконный чекмень, повесил на колышек в стене аккуратно свернутую белую чалму. Потом заторопился вниз, в жилую половину дома, за угощением.

Алимхан был шеголеватым, хорошо сохранившимся для своих лет человеком. Ему было уже под шестьдесят, но никто не смог бы дать более пятидесяти. Заметно поседевшая борода его и усы были всегда аккуратно подстрижены, расчесаны, приглажены. Одевался он хорошо и со вкусом. На пальцах — кольца с крупными камнями. Были у него и часы, и, разговаривая с кем-либо, он то и дело поигрывал свешивавшейся на грудь серебряной цепочкой.

Какого-либо определенного дела Алимхан не имел. Одно время он занимался мелкой торговлей, но уже давно забросил ее. Алимхан был из тех людей, которые, не утруждая себя заботами, умеют неплохо устроить жизнь. Хитрый и изворотливый, он был великим мастером во всякого рода темных делах. Взять в долг деньги и присвоить, составить подложный документ и отобрать у какого-нибудь простака землю или двор с постройками — для Алимхана обычное дело.

Особенно развернулся Алимхан с тех пор, как стал элликбаши. В этой должности он бессменно состоял уже двенадцать лет и, несмотря на жалобы бедноты в казыхане и в другие учреждения, неизменно преуспевал в своих мошеннических проделках. И все потому, что он был в близких, почти приятельских отношениях со всеми имамами, улемами, малыми и крупными баями своего квартала, особенно с Мирзой-Каримбаем.

«Талантам» Алимхана не было счета. Как эликбаш, он любил и умел распорядиться где надо и неизменно присутствовал на всех тоях, поминках, совал свой нос во все дела, с головой уходил в споры, скандалы и тяжбы жителей квартала — одних тяжущихся помирит, других сам стравит. Во всех случаях он защищал не правого, а богатого и щедрого на взятки. Если умрет кто-нибудь из денежных или многоземельных людей, он обязательно перессорит наследников. А потом начнет ловить рыбу в мутной воде и большую часть имущества оттягает себе. Завсегдатай всяких веселых компаний и вечеринок, Алимхан сам никогда никаких пиров не устраивал.

Оставшись один, Хаким-байбача припомнил все известные ему проделки Алимхана, еще раз удивляясь ему и преклоняясь перед его ловкостью. Приглашение на балахану вызвало в нем подозрения. «Нужно быть осторожным, — рассуждал байбача. — Он, похоже, придумал какую-нибудь новую каверзу. Может, совета хочет спросить? Нет, он никогда ни у кого советов не спрашивал. В чем же дело? Если попросит денег, конечно, скажу, что нет».

Алимхан поставил на сандал поднос, полный фруктов и сладостей. Потом внес бурно кипевший самовар, налил чаю. С обычной для него льстивостью он пригласил гостя откусать. Хаким-байбача положил в рот маленький, с урюковую косточку, кусочек лепешки, давая понять хозяину, что он не располагает временем.

— Говорите, Алим-ака...

— Не торопитесь, я давно имел желание побеседовать с вами. Прошу! — Алимхан жестом указал на поднос и принялся не торопясь распространяться о войне. Все известные ему новости он передавал таким тоном, будто сам только что прибыл с фронта. Рассказывал всякие небылицы о немецкой артиллерии, аэропланах и еще о каком-то «непостижимом уму» оружия врага.

Хаким-байбача, интересовавшийся известиями о войне, невольно заслушался. Потом и сам втянулся в беседу. Он выложил все, что слышал от русских, татарских и еврейских купцов о событиях в России, о пошатнувшемся положении царской власти.

Оба собеседника в меру своего разумения старались подыскать доказательств несостоятельности подобных слухов. Каждый из них просил аллаха о даровании победы царю и его армии.

После этой увлекательной беседы, растянувшейся на целых полчаса, Хаким-байбача снова выразил нетерпение. Эликбаш помолчал с минуту, обдумывая, с чего начать обещанные «пару слов».

— Мулла Хаким, есть одно очень тонкое дело. — Алимхан улыбнулся. — Но благое дело. Прежде чем приступить к нему, я счел за необходимость посоветоваться с вами. Если будет угодно аллаху, вы не только выскажете свое мнение, но и примете на себя руководство...

— Говорите. На хорошее дело я всегда готов. — Хаким-байбача взял из серебряного портсигара папиросу, зажал в губах, протянул портсигар Алимхану, потом выжидающе уставился на хозяина.

— Как известно, Хаким-байбача, о мужчине никогда нельзя сказать, что он постарел, подряхлел. Творец вселенной силой своего могущества мужчину создал основательно, совершенно. Бриллианты муж-

ской силы неиссякаемы... Не правда ли?..— Алимхан, будто молодой щеголь, ухарски зажал дымившую папиросу в уголке губ и продолжал: — Вот уже четыре месяца, как умерла ваша добрая матушка. Не кажется ли вам, что нашего благодетеля и отца женить надо? Годы его порядочные, верно, но он еще очень бодр. Сердце его — сердце джигита. Я это хорошо знаю. Он еще не отстранился от дел, любит веселые беседы, часто бывает у друзей... Короче говоря, по всему видно, что Мирза-Карим-ата еще понимает толк в удовольствиях нашего брэнного мира и желает еще долго вкушать от этих удовольствий. А коль скоро дело обстоит именно так, нам необходимо прислушаться к желаниям этого человека. Вот я и думаю: вы — старший сын, я — один из его друзей, возьмемся и общими силами поженим его... Доброе бы дело было, а?..

Элликбаши улыбнулся и в ожидании ответа Хакима-байбачи легонько поглаживал усы.

— Очень хорошо, — охотно согласился Хаким, — я и сам об этом подумывал. Неплохо было бы найти подходящую смирную женщину, чтобы она могла присмотреть за отцом, воды для омовения подать, постель приготовить. — Байбача взглянул на собеседника. — Алимхан-ака, отец говорил об этом с вами? Или вы по-дружески сами заботу проявляете?

Элликбаши налил гостю чаю, откусил маленький, с горошину, кусочек сахара, отпил глоток сам.

— Первым заговорил об этом ваш отец, — не торопясь начал он. — С неделю назад мы долго беседовали с ним. Но я до сих пор никак не мог вас встретить в таком месте, чтобы поговорить с глазу на глаз. Впрочем, это ничего, — с добрым делом, говорят, никогда не поздно. Только, я уже говорил вам, мулла Хаким, что у бая-ата нашего молодое сердце. А он хочет, чтобы сердце его еще больше помолодело. Поняли? Так что о женщине, которая бы годилась только воды подать, и речи быть не может, братец мой!

Хаким-байбача покачал головой, помолчал, пощелкивая пальцами о край подноса.

— Молодую жену хочет взять, говорите? Чудно!

— Намерения вашего отца, пожалуй, еще посерьезней, — подхватил элликбаши. — Он хочет нецелованный цветок сорвать. А что вы на это скажете? Я готов преклониться перед этим человеком. Пользоваться всеми благами жизни в этом брэнном мире больше, чем кому бы то ни было, подходит именно вашему отцу. — Алимхан таинственно понизил голос. — Не стану от вас скрывать, наш Мирза-Карим-ата хочет жениться на девушке!

У Хакима от удивления глаза полезли на лоб:

— На девушке! Правда? Тавба!

— Хэ-хэ-хэ! — мелко рассмеялся элликбаши. — В словах моих даже с кончик иголки нет лжи, байбача. Я ведь в этом деле, можно сказать, не больше как толмач. Жених наш и на девушку уже намекнул, какая пришлась ему по сердцу. Так что перевяжитесь поясом старания, байбача, и думайте, как лучше удовлетворить желание отца. Ого, дел тут много! Вы, оказывается, нрава своего отца не знаете, а?..

Хаким-байбача был взволнован.

— Чья же она, эта будущая наша мать? — нетерпеливо спросил он.

— У вас под боком, Ярмата дочь! — весело ответил элликбаши.

— А?! Что вы говорите? Такое мне и в голову никогда не могло прийти!

Байбача даже побледнел. Он нервно закурил новую папиросу, почти грубо спросил:

— Разве нельзя найти другой... девушки?!

— На этот счет ваш отец высказал такие соображения: «Она выросла у нас, на моих глазах. Смирная, испытанная...» Однако, мне кажется, дело не только в этом. Девушка, видно, ярким пламенем горит перед его очами. Похоже, что душа его очень склонна к ней. Во всяком случае, мне так показалось. Оно и понятно, красивая девушка всякому, как солнце, греет сердце. Девичья порода — то же красное яблоко: увидишь, как яблоко отливает на солнце, плавая в воде, и даже нагнуться забудешь, протянешь к нему руку... Так что вы скажете, байбача? Если мы соединим дочь Ярмата с вашим отцом, не будет ли она на месте, как бриллиант в гнездышке на кольце?»

Хаким не ответил. Низко опустив голову, он задумался. Байбача был в обиде на отца. Особенно его злило то, что отец выбрал именно Гульнар.

Алимхан, известный своим сладкоречием рассказчик на пирах и вечеринках, разошелся. Он говорил о чувствительной натуре Мирзы-Каримбая, о пользе женитьбы стариков на девушках; часто облизывая губы, живописал прелести девушек и наслаждения, какие они могут доставить. Хаким-байбача наконец не выдержал, вскочил с места:

— Ну, я пошел.

Элликбаши загородил ему дорогу:

— Хаким-байбача, наш благодетель твердо порешил это дело. Вам ли жалеть для родного отца дочь какого-то батрака? Вы разумный молодой человек, не мне вас учить. Одно должен напомнить: исполнение желаний отца — ваша святая обязанность. Как бы там ни было, сын — раб отца.

— Хорошо, что я должен делать? — не глядя на Алимхана, спросил байбача.

— От вас требуется совсем немного: осторожно разъяснить дело младшему брату, сестре... и еще кто там у вас есть, подготовить их, чтобы не было никакой обиды... И все. А насчет тоя постараться — это уж я сам...

Хаким-байбача не сказал ни «да», ни «нет», холодно распротился и ушел.

Возвратившись к себе, Хаким даже не взглянул на игравших во дворе ребяташек, которые бросились было к нему с криками «дада», и прошел прямо в свою богато обставленную, недавно пскрашенную в голубой цвет комнату. В доме было холодно, но он не присел, как обычно, к сандалу, а, не раздеваясь, бросился на новую, блестящую никелем кровать, купленную только ради украшения дома. Он долго лежал и думал.

Хаким-байбача понимал, что помешать отцу, отличавшемуся твер-

достью характера, жениться на девушке невозможно, тем более что для этого не было никаких оснований. Но ему было очень неприятно, что отец женится на Гульнар. Когда Гульнар выросла и расцвела первой девичьей красотой, Хаким-байбача сам заглядывался на нее. Но взять ее в жены он вначале не решался. Во-первых, если человек, уже имеющий детей, берет вторую жену, то в семье неизбежны ежедневные ссоры. Байбача боялся, что ему придется постоянно видеть нахмуренные лица жен и выполнять обязанности казиза по разбору скандалов между ними. Во-вторых, он считал, что женитьба на дочери батрака, как бы девушка ни была красива, нанесет ущерб его гордости и доброму имени.

Позже Хаким придумал выход, казавшийся ему вполне надежным и безупречным. Выход был такой: он переселит под каким-нибудь предлогом семью Ярмата в один из городов Ферганы, хотя бы в Коканд, где он чаще всего бывает, и там женится на Гульнар. Одна жена в Ташкенте, другая — в Коканде. Они не смогут встречаться друг с другом, и не будет никаких раздоров. Об этой женитьбе мог бы никто и не знать вовсе. А сам он жил бы то в Ташкенте, то в Коканде.

Когда байбача собрался всерьез приступить к выполнению задуманного, умерла мать, и он вынужден был отложить дело до весны.

Хаким-байбача снова и снова раздумывал над созданным положением. Осуществить сейчас прежний план — значило навлечь на себя гнев отца. Байбача очень жалел, что так долго проявлял нерешительность и упустил время. Выхода никакого не было. Теперь ему волею-неволею приходилось отказать от Гульнар.

Жена байбачи Турсунуй принесла на китайском блюде баранье мясо, жаренное с яйцами.

— Вставайте, остынет,— предупредила она, ставя блюдо на сандал.

Хаким вздохнул, поднялся с кровати. Поел немного, отодвинул блюдо, спросил жену:

— Салим дома?

— Ушел за доктором или за табибом. Сынишка его Шавкат что-то заболел.

— Вернется, скажи ему, пусть обязательно зайдет ко мне,— распорядился байбача. Он спрятал ноги под сандал и укутался теплым одеялом.

Салим-байбача застал брата крайне озабоченным. Хаким давно уже судился с одним человеком из-за земельного участка, и Салим подумал, что суд вынес решение не в пользу брата.

— Вы огорчены, что случилось? — заботливо спросил он.

— Отец собирается жениться. Что ты на это скажешь? — сразу приступил к делу Хаким-байбача.

— Так скоро? Не дождавшись даже первых поминок?

Хаким-байбача махнул рукой.

— Умерла — схоронена. Пусть будет уготовано ей место в ряю... Я говорил с эликбаши. Старик ему все поведал.

— Ну что ж! Пусть поищет. Если найдет порядочную женщину, бездетную, пожилую,— пусть сватает.

Хаким-байбача выразительно посмотрел на брата, усмехнулся и покачал головой.

— Что?! Он хочет жениться на молодой? — догадался Салим.— Тавба! Его ровесники сидят дома и знают только четки да молитвы! — Салим-байбача сердито хмыкнул и даже отвернулся.

— Отец наш, оказывается, еще бодр,— осторожно начал разъяснять Хаким-байбача.— На старости лет ему еще раз захотелось вкусить от радостей жизни. Почему же мы должны препятствовать ему? А потом, нрав отца ты знаешь. Кто сумеет удержать его, если он что задумал?.. Не волнуйся, брат, я тебя позвал на совет,— Хаким понизил голос.— Знаешь, отец задумал стать зятем Ярмата. Собирается жениться на Гульнар!..

Салим-байбача даже привскочил от неожиданности. Он гневно ударил кулаком по сандалу, чуть не свалив стоявшую на нем большую лампу. Не в силах выговорить слова, он долго сидел, уставившись на брата. Левое веко его нервно подергивалось.

— Что ты так дрожишь? — стараясь казаться спокойным, сказал Хаким-байбача.— Воля отца — воля аллаха. Отец хочет жениться на девушке — пусть женится, хочет взять Гульнар — пусть берет. Не будем ему препятствовать, не будем огорчать старика...

— Гульнар, наша рабыня, будет нам матерью! А убогий Ярмат — дедушкой! — заорал Салим.

— Тише. Тише ты! — успокаивал брата Хаким.— Женщины услышат — сколько разговору будет. Не женится на Гульнар, так возьмет дочь какого-нибудь другого бедняка. Какая порядочная семья выдаст девушку за старика, обросшего внуками.

— Девушка ли, вдовушка ли, Гульнар ли, другая ли — это все равно. Я против женитьбы отца на молодой.

Салим вскочил и зашагал по комнате. Через минуту он подошел к сандалу, взял из портсигара папиросу. Позабыв о спичках, нетерпеливо, обжигая брови, прикурил от лампы. Остановившись над братом, заговорил:

— Понимаете, о чем я беспокоюсь, брат? Молодая жена начнет щенить одного за другим. Придет время, отец умрет, и лягушата Гульнар поднимут головы. У них найдутся покровители, защитники. Все богатство будет разделено, не знаю, на сколько частей. А делить на всех — и гору растащить можно. И тогда семья Мирзы-Каримбая зачахнет, потеряет силу. Вы об этом подумали?..

Мысли Хакима-байбачи до сих пор были заняты другим и об этой стороне дела он действительно не думал. К тому же материально он чувствовал себя достаточно прочно. Часть денег он пустил в оборот тайно от отца и брата и сумел приобрести порядочный капитал, принадлежащий лично ему. Но теперь и перед его глазами замелькала гурьба ребятишек — неродных братьев и сестер. Он опустил голову на руки и долго сидел молча. Наконец, словно утомившись от размышлений, вздохнул и тихо сказал:

— Горячиться — этого мало. Ты выход найди. Чтобы и шашлык не подгорел, и вертел остался цел.

Салим-байбача не ответил. Кусая от злости ногти, он нервно зашагал по комнате, поминал отца, Ярмата, Гульнар словами одно другого крепче и острее.

Хаким-байбача остановил брата:

— Подожди, не изводись напрасно. Лучше посоветуй что-нибудь.

— А что вы на это скажете?..— Салим неожиданно опустился на колени возле сандала, присел на пятки и зашептал: — Если отец до женитьбы все имущество, землю и прочее запишет на нас и скрепит печатью... потом пусть берет кого хочет.

Хаким-байбача быстро взглянул на брата. Облегченно вздохнул, ухмыльнулся в усы.

— Очень бы хорошо! Многие так делают. Только не обидит ли это старика?

— А чего тут обидного? — возразил Салим.— Он ведь для нас наживал богатство. Если старик твердо решил жениться на Гульнар, он не должен отказать нам в этой просьбе. А не пойдет на такие условия — я никак не согласен...

Хаким пожал плечами:

— Какая польза от того, что ты будешь против? Только отца прогневишь. Он все равно сделает так, как задумал. Но мысль твоя хороша. Я завтра же дам знать отцу об этом условии через элик-баши. Какой ответ будет, сказать не могу. Но, во всяком случае, уговорить попытаюсь... Вот что, брат, я дня через три-четыре уезжаю в Фергану. Так ты тут не обижай и не серди старика. Хорошо?

Салим-байбача, раздраженный уступчивостью и уклончивостью брата, хотел было ответить резкостью, но в это время отворилась дверь и вошел Танти-байбача. Оба брата с заметным смущением поднялись ему навстречу.

— Я, кажется, помешал вашей беседе? Здравствуйте!

Не снимая шубы, Танти присел к сандалу. Внимательно оглядел братьев:

— Отчего вы смутились? Случилось что? Все ли у вас благополучно?

— Благополучно, благополучно...— в один голос торопливо ответили братья.

— А я к вам с радостной вестью,— горделиво заявил Танти-байбача.— Вашему племяннику Абиджану бог послал сына! Раскошеляйтесь на суюнчи!

— Ого, очень хорошо! Поздравляем с внуком!

— В шестнадцать лет уже сына имеет Мирабид, а? Тавба!

— Маленький отец!

— А мы еще смолоду дедушками стали,— шумно расхохотался Танти.

Салим-байбача ехидно рассмеялся:

— Вот наш отец и правнуком обзавелся. Теперь он должен большой той устроить...

Хаким-байбача промолчал и только строго взглянул на брата.

Турсуной и Шарафатхон сидели у сандала и делились друг с другом своими горестями. Сегодня они узнали, почему их мужья — Хаким и Салим-байбача — уже в течение трех дней были такими хмурыми и неласковыми. Желание свекра жениться казалось для обеих большим несчастьем. Ведь только недавно они избавились от сварливой свекрови, которая считала себя единственной хозяйкой в доме, постоянно требовала почитания и преклонения. Но еще больше их расстроило намерение старика взять Гульнар.

Позабыв на время взаимную вражду, они говорили о неожиданно нагрянувшей на них беде. «Гульнар — девушка-рабыня, — рассуждали они. — Кто наши отцы? Самые известные баи Ташкента. И разве рабыня может быть нам свекровью? Гульнар хоть она и низкого рода, но красива собой. Чтоб угодить молодой жене, старик обязательно поставит ее над нами. А ей того и надо — как любимая жена она станет делать все, что ей вздумается. Нас отстранит от всего и на наших же головах, как говорится, будет орехи колоть. Дочь бедняка, она должна быть жадной на добро. Все самое ценное в доме она постарается прибрать к рукам, а мы останемся ни при чем. Перед свекром мы и рта раскрыть не сможем. Мужья наши тоже не посмеют перечить отцу... Если бы старик женился на пожилой женщине, тогда другое дело: мы бы сговорились и общими силами отшвырнули бы ее от всего, как подушку...»

Со стороны ворот послышался громкий плач Нури. Снохи зашевелились и побежали встречать золовку.

После смерти матери Нури приходила к своим очень часто. В первые дни она казалась действительно убитой горем, но очень скоро примирилась с судьбой, по-прежнему была способна хохотать по всякому пустяку, хотя каждый раз при посещении отцовского дома по обычаю начинала плакать и причитать от самых ворот. Как же! Иначе соседи могли подумать: «Дочь Мирзы-Каримбая оказалась черствой и легкомысленной!» Войдя во двор ичкари, Нури опускалась на корточки на террасе и, закрыв лицо платком, выла и причитала, хотя на глазах у нее не появлялось ни слезинки. Турсуной и Шарафатхон были несказанно рады смерти свекрови, но тоже старались как можно протяжней и жалобней вторить главной плакальщице.

Так было и на этот раз. После «плача» Турсуной и Шарафатхон провели золовку в дом и тотчас принялись нашептывать ей о намерениях старика. Нури при первых же словах новостей вся затряслась как в лихорадке, глаза ее загорелись бешенством.

— Где Гульнар? — рванулась она. — Задушу! Сейчас же задушу!..

Обе невестки побледнели. «Ведь мужья наказывали им пока молчать об этой тайне. Они наперебой принялись успокаивать золовку:

— Не подымайте шума, отец обидится. Осторожней надо. Упадите братьям в ноги, плачьте, умоляйте их, только не говорите, что слышали от нас! Скажите: сама найду для отца подходящую женщину...

Весь остаток дня Нури ходила по дому словно помешанная. Ве-

чером, когда пришел Салим-байбача, она бросилась перед ним на колени, обняла ноги, принялась вопить. Салим поднял сестру, усадил ее к сандалу.

— Мне еще тяжелей, чем тебе, — сказал он с дрожью в голосе. — Но что пользы вопить, Нури? Мы все — рабы отца. Я не говорю, чтобы ты смирилась совсем. Но... рот пока зажми. Что будет — увидим. Воля отца...

— Какой он отец? — вскричала Нури. — Еще не остыла земля на могиле матери, а он уже вздумал жениться на батрачке! Как я могу терпеть? Чтоб подлая рабыня да была старшей в нашем доме?! Знаю, эта распутница, подохнуть ей, сама сбила отца с пути!..

Салим-байбача зло рассмеялся. Потом заставил сестру утихнуться, сделал знак жене выйти и принялся разъяснять свою мысль о завещании.

На следующее утро Нури, не желая мириться с выбором отца, нашла какую-то старуху, пообещала одеть ее с головы до ног и попросила проводить себя к надежной ворожее. Старуха потащила Нури к известной «колдунье с бубенцами».

Они миновали квартал Шор-тепе на окраине города, спустились в глубокий овраг и вошли в небольшой одинокий двор, окруженный старыми, полуразрушенными дувалами и покрытый плешинами солончаковых пятен. Посреди двора, чернея дуплом, стоял огромный древний тал с голыми, беспорядочно разросшимися корявыми ветвями.

Нури шла впереди. При ее появлении вороны, во множестве сидевшие на ветвях тала, тревожно закаркали. Когда Нури приблизилась к маленькой, с циновку, терраске, из угла, гремя цепью, поднялся большой лохматый пес. Нури отшатнулась, бледная, прижалась к старухе и с ужасом оглянулась по сторонам, будто очутилась ночью одна на кладбище.

Пес отрывисто рывкнул и снова улегся на прежнее место. В ту же минуту черная, закопченная дверь высокого, как крепость, но уже ветхого глинобитного дома бесшумно открылась и на пороге показалось какое-то необычайно странное существо, очень похожее на скелет, обтянутый кожей. Это и была колдунья. Возраст ее невозможно было определить. Лицо сморщенное, с провалившимися щеками. Глаза маленькие, как бусинки, сидели глубоко и горели мрачным, наводящим страх огнем. Из-под черного платка свисали грязные, засаленные волосы, такие же густые, длинные и растрепанные, как у пса.

Держась за дверное кольцо тонкими, костлявыми пальцами, колдунья долго всматривалась в лицо Нури, потом, волоча по земле подол длинного темного платья, сделала два шага ей навстречу.

Нури, боясь приблизиться, поздоровалась с колдуньей издали. Затем, волнуясь, бессвязно рассказала о цели своего посещения. Колдунья молча кивнула на дверь и первой вошла в дом.

В помещении было холодно и темно, как в зиндане. Колдунья скрылась за белевшей в дальнем углу комнаты занавесью. Немного погодя оттуда послышался ее скрипучий голос:

— Закройте дверь. Покровители мои боятся света...

Когда дверь была закрыта, Нури, ничего не видя вокруг, опустилась на корточки. Вдруг из угла раздался звук бубна, увешанного бубенцами. Нури вздрогнула и закрыла глаза.

Бубен то звучал глухо и монотонно, то вдруг рассыпался стремительно частой, сумасшедшей дробью, перезвон же бубенцов рушился со всех сторон, множимый эхом голых стен. Казалось, что в бубен бьет сам дьявол, пролетающий темной ночью над страшными кручами, а под его зловещую музыку танцуют увешанные погремушками юркие джинны.

К жутким звукам бубна скоро присоединились и хриплые подвыванья колдуньи:

— Йо Султан! Йо чилтан! Ху-ху-ху!..

Колдунья выла и бормотала долго. Она то умоляла о чем-то джиннов, то смеялась диким, нечеловеческим смехом...

Нури и в самом деле казалось, что она находится в жилище злых духов и что духи эти окружают ее со всех сторон. Она не смела открыть глаз. Голова у нее кружилась, на лбу выступил холодный пот.

— Идемте, Нури-ай!

Нури услышала голос старухи, своей спутницы, как сквозь сон, но тотчас вскочила и, не помня себя, спотыкаясь, бросилась к выходу. Во дворе, словно очнувшись после страшного кошмара, она с облегчением вздохнула, хотя в ушах ее все еще слышались зловещие звуки бубна.

Немного погодя во двор вышла колдунья. Она прошамкала, что джинны «порвали нити, связывающие сердца Гульнар и Мирзы-Каримбая»; широко разинув рот с парой полусгнивших зубов, зевнула так, что на месте сморщенного лица оказался черный провал, затем вынула из-под полы и передала Нури зашитый в тряпицу комочек величиной с орех. В узелке, по ее словам, были могильная земля, обломок ржавого ножа, щепочка от табута, кусочек мыла, ноготь мертвеца и еще многое другое. Каждое из этих средств должно было накликать на Гульнар беду: могильная земля заставит ее скорее смешаться с прахом; от обломка ножа сердце Гульнар должно затвердеть как железо и покрыться ржавчиной; мыло поможет, чтобы девушка растаяла без следа; губительная же сила щепочки табута и ногтя мертвеца была ясна сама по себе.

Колдунья посоветовала зарыть узелок под порогом Гульнар и еще добавила, что нужно взять комок теста, скатать его в колобок наподобие человеческой головы и непрерывно втыкать в него сорок иголок, отчего Гульнар почувствует сильные головные боли и вскоре умрет.

Нури сунула страшной старухе десять рублей и заторопилась домой, чтобы поскорее выполнить все ее советы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Ярмат вошел к себе во двор и остановился около жены, занятой приготовлением мешанки для байской коровы. Лицо его расплывалось в довольной улыбке, во всем облике сквозило нетерпение поделиться какой-то большой неожиданной радостью. Он спросил, где Гульнар.

Услышав, что дочь только что ушла на хозяйский двор, Ярмат наморщил лоб и распорядился:

— Скажи, пусть пока не ходит туда!

Гульсум-биби вопросительно взглянула на мужа.

Ярмат позвал жену на терраску.

— Садись,— строго приказал он. Потом присел сам и заговорил торопливо, не в силах больше сдерживать себя: — Я только сейчас от эликбаши. Очень интересные новости пришлось мне услышать, жена. Ты знаешь, что за человек наш эликбаши? Это отец всего квартала! Все, начиная от семилетних ребят и кончая семидесятилетними стариками, встречают его саламом, с почтительно сложенными на груди руками. Это человек высокой чести и единственный из единственных в беседе. Законы знает!

У Гульсум-биби больше не хватало терпения. Внимательно всматриваясь в лицо мужа, она спросила:

— А для чего он звал вас? Что-нибудь хорошее?

— Хорошее! Такое хорошее, что, кажется, и во сне нам не снилось! Сейчас все по порядку расскажу.— Ярмат строго взглянул на жену.— Только ты и пикнуть не смей, а то так и швырну тебя с террасы!

— Сгинуть вашей злости, постоянно вы с угрозами!

Ярмат нахмурился:

— У женщины ума меньше, чем у курицы, никак нельзя не припугнуть... Так вот, значит, эликбаши позвал меня. Беседа с мудрым человеком — чистая улада. Скажет что — и ни в одной книге того не найти, до чего все разумно... Ну и мастер же говорить! Сидим, беседуем.

Перед нами дастархан, как положено. Сахар, леденцы, фрукты, сладости — счета нет... Беседуем мы, жена, а он ловко так подвел и говорит: «Такого счастливого отца, как вы, и на свете нет!» Я от удивления даже рот раскрыл. А он ласково поясняет: мол, это не мои слова, а вашего хозяина. Хозяин будто бы позвал его к себе и начал расхваливать меня... Одним словом, благодетель наш — бай-ата — передал: пусть, говорит, Ярмат не пожалеет своей дочери...

— Для кого же это? — удивилась Гульсум-биби.

— Фу, будто на танбуре быку на ухо сыграл, темная ты женщина! — краснея от злости, повысил голос Ярмат.— Для кого же могло быть! За себя просит бай-ата...

Гульсум-биби даже привскочила от неожиданности, хлопнула себя сразу по обеим коленям и заговорила быстро, не давая Ярмату вставить слова:

— Сгнуть вашему баю! Стыда, совести не знает? На старости ум за разум зашел, видно! Три дня назад у него правнук родился. Вай, подохнуть ему, безбожнику!..

Ярмат поднял кулаки:

— Молчать! Чтоб и голоса твоего не слышно было! Тебя, видно, не было в тот день, когда бог всех разумом оделял!

— Что же вы ответили? — дрожа от негодования, выкрикнула Гульсум-биби. — За семидесятилетнего старика решили единственную дочь отдать?! Тоже — отец!..

Ярмат точно копьем пронзил жену сердитым взглядом:

— Эй, послушай ты, сорока крикливая! Не семьдесят ему, а шестьдесят пять. Какой он старик? А хоть и старый, так он будет пободрей нас с тобой. Не кляни, а слушай: Мирза-Каримбай — человек, осененный милостью божьей. Столько добра, столько богатства, доброе имя! Плохо ли, если дочь моя попадет в такой дворец? О том, что он стар, ты подумала, а об этом забыла...

— А если бы отказали, бай язык вам отрезал бы? — глухо проговорила Гульсум-биби.

— Язык он не отрежет, а может сделать еще хуже. Появится обида, недовольство — вот что главное. А к чьему порогу пойду я потом со своими пожитками? Беднякам, что мыкаются без пристанища, в наше время и счета нет. Ты подумала об этом? Если в твоей незрелой тыкве есть хоть капля мозга, не реви, злосчастная. Той, что начинается слезами, может слезами же и кончиться. Радуйся и готовься!

— Как же не плакать! Ох, глаза бы мои вытекли, ничего не видеть бы мне!.. — рыдая, говорила Гульсум-биби. — Погореть его богатству. Байские сыновья, невестки, дочь жизни не дадут Гульнар. Я знаю их нрав. То-то последние три-четыре дня они так изменились. У каждого будто яд каплет с языка. Теперь я поняла почему. Вот как они ее встречают с самого начала! — Гульсум вытерла подолом слезы. — Вы рано радуетесь. Пельмени сырыми подсчитываете. Верно, они богаты. Очень богаты. Только не дадут они покоя Гульнар. Байский дворец тюрьмой для нее будет. Разве не нашлось бы для нашей дочери подходящего человека? Вот Юлчи. Джигит — по горе ударит, гора в порошок рассыплется. Такой не дал бы дочери моей голодать. И Гульнар склонна к нему. Что мне скрывать от вас...

Ярмат вскочил с места. Хватаясь за ворот рубахи, бормоча гневно «Тавба!», забегал по терраске. Потом снова принялся кричать на жену:

— Не болтай пустого! Кто такой Юлчи? Простой малый. А я еще не видел, чтобы какой-нибудь батрак вышел в люди. Дура! Покличь овцу: «Мох-мох!» — и та поймет, а с тобой говорить — напрасно слова тратить. Перестань выть!.. — Ярмат сделал несколько шагов к калитке, потом вернулся и заговорил уже мягче: — Не разболтай раньше времени соседям. Я уже дал слово Алимхану-ака. А слово отца — та же помолвка. Гульнар послушается, ты ей скажи, объясни, посоветуй. Это уже от тебя зависит. Дочь у нас разумная, зря шума поднимать не станет.

Оставшись одна, Гульсум-биби то принималась проклинать бая и мужа, то жаловалась на злую свою судьбу, страстно молила бога о помощи. Больше всего терзал ей сердце предстоящий разговор с Гульнар: она, мать, должна была сообщить дочери такую недобрую весть, да еще утешать и уверять, что это долгожданное счастье!

Гульнар пришла только к вечеру. Она казалась усталой и печальной. Гульсум-биби хотела было отложить объяснение до завтра, но девушка сама вынудила ее открыть сердце. Еще не сбросив паранджи, она с удивлением спросила:

— Вы плачете, айи? Что случилось, поругались с отцом?

— Ну его, обидел он меня,— заговорила Гульсум, стараясь казаться бодрой.— Снимай паранджу, присаживайся ко мне. Я расскажу тебе о своем горе...

Гульнар сняла паранджу, повесила ее на колышек и присела рядом с матерью.

— Дитя мое, ты не ходи больше к хозяевам. Отец приказал...

— Только и всего? Ах, если бы я вовсе не видела этого дома! Но разве можно! Работы много, сами зовут.— Гульнар немного помолчала.— Айи, вы замечаете — в доме бая последнее время надо мной смеются, издеваются... Когда я подхожу — смолкают. А Нури-апа как змея — так и хочет ужалить. Хорошо, что она сегодня домой ушла. Ух, очень я разозлилась... А почему отец не велел мне ходить туда?

Прежде чем ответить, Гульсум-биби заговорила о бедности в семье, о том, что отцу становится тяжело, что единственная надежда поправить дела — это замужество Гульнар.

— О чем вы, айи? Говорите прямо! — встревожилась девушка.

— Дитя мое, если не станешь беречь и посыпать солью рану твоей слабой, несчастной матери, не заставишь обливаться кровью ее сердце, я расскажу тебе новость, какую принес твой отец.

Гульсум-биби посмотрела на дочь добрыми, полными слез глазами.

— Говорите, айи, говорите скорей! Что случилось? Вы дрожите?

Мать не смогла удержать себя от слез. Рыдая, она передала дочери страшное известие.

Гульнар без чувств уронила голову на колени матери. Долго лежала неподвижно. Потом вдруг, не поднимая головы, закричала в отчаянии:

— Айи! Просите у бога смерти мне!.. Смерти, айи...— и снова умолкла.

II

Сын Шакира-ата умер от чахотки. Сноха, бросив детей, вышла замуж.

После всех этих несчастий старик еще более сгорбился, стал хуже видеть. Он, хоть и работал с прежним терпением и упорством, не мог уже своим трудом прокормить оставшихся на его руках внучат. Оставив за собой лишь ветхую лачугу и мастерскую, большую

часть двора он вынужден был продать. В довершение всех бед какой-то сапожник сманил у него помощника-ученика и этим вовсе подсек беднягу.

Сегодня Шакир-ата, обычно засиживавшийся за работой с раннего утра и до позднего вечера, вышел из мастерской задолго до полудня. Прижимаясь к дувалам, осторожно переставляя длинный посох и повторяя на каждом шагу привычное «по пирим», он выбрался наконец из безлюдного переулочка, залитого жидким месивом грязи и рыхлого бурого снега, и остановился на перекрестке недалеко от кузницы Каратая. Здесь он некоторое время по-стариковски всматривался, опираясь на посох, затем, убедившись, что в кузнице нет посторонних, подошел, уселся на глиняную завалинку у стены и, отдышавшись, заговорил:

— Судьба — что хамелеон. Смотри, мой свет, как изменчив ее круговорот! Один руками звезды с неба хватает, а другой до своего кармана не дотянется — руки короткие... Когда мир, говорят, пришел с поклоном к Шахмашрабу, тот дал ему под зад пинка. И очень хорошо сделал! Мир коварный, он стоит того...

— Что еще случилось, отец? — нетерпеливо спросил Каратай, любивший краткость и прямоту речи.— Сноха вышла замуж, бросила вам ребят? Слышал. Но что поделаешь? В наши дни у всех от забот головы вспухли. Белый царь, похоже, всех решил погубить. Сгинуть ей, этой войне! Голод, дороговизна...

Шакир-ата недовольно стукнул посохом о землю.

— Я ему о садах, а он о горах. Когда Тахирджан уже в земле, стану ли я думать о невестке! Война, говоришь? Что, царь, сидя на троне, нужду-горе видит, как мы с тобой? — Шакир-ата умоляюще поднял руку.— Эй, да приостанови ты ради святого Давида, своего покровителя, этот звон-перезвон!

— Рад исполнить ваше желание! — Каратай приостановил работу и, улыбаясь, обернулся к старику.

— Мирза-Каримбай женится, слышал об этом, беспечный ты человек?

— А мне-то что? — удивленно поднял брови кузнец.

— погоди, дай сказать до конца. Ты спроси — на ком? На дочери Ярмата!

Шакир-ата, будто в припадке, затряс головой.

Каратай сразу помрачнел, задумался.

— Я за Юлчи болею душой,— продолжал старик.— Он любит эту девушку. Известно тебе?

Каратай утвердительно кивнул.

— Знаю. А правда ли то, что говорят насчет Мирзы-Каримбая? Кто вам слезал?

— Ты же знаешь, старуха моя иногда ходит по домам, знахарством занимается. Что делать — бедность... Так вот, вчера пошла она лечить байского внука и там слышала. Язык бая, как ножицы портного, остер: уговорили Ярмата, согласился уже. Не успеешь оглянуться — и свадьбу проведут... А Юлчи нет. Да и вернется если, что сделает? Молодой, одинокий, бедняк...

— Ну и бессовестный, ну и пес! — принялся ругать бая Каратай.— Поганая ворона! На цветок еще не распустившийся позарился, а! И все деньги. Обезумел, стыд, совесть забыл! Сейчас только прошел с базара, нос задравши. Хватить бы молотом, разможить бы подлому голову...

— О, это было бы доброе дело! Да разве можно! — Шакир-ата оперся на посох, поднялся, нерешительно сказал: — Придет Юлчи из кишлака, не знаю, сумеет ли мы что-нибудь ему посоветовать...

— А вдруг они все до его приезда обделают? — встревожился кузнец.

Старик кивнул головой.

— Подумай, Каратай! Поддержи Юлчи. Не оставляй его. Чтоб в горе не согнулся джигит, голову бы не опустил.— Шакир-ата вздохнул, на глазах его показались слезы.— О, неразумный, нелепый мир! Каратай, не найдется ли у тебя хоть полтеньги? Нет наса, с утра тянет...

Каратай покачал головой. Огорченный тем, что он не в состоянии даже такой мелочью помочь бедному старику, которого любил и уважал, как отца, кузнец послешно высыпал из табакерки остатки наса, завернул в клочок бумаги, протянул Шакиру-ата. Старик поблагодарил и, тяжело опираясь на посох, вышел из кузницы.

Недолго после него пробыл в кузнице и Каратай. Гнев на бая и беспокойство за судьбу Юлчи и девушки мешали ему работать. Наскоро закончив самое необходимое, он вышел, загородив кузницу со стороны улицы легкой циновкой.

III

Три дня Гульнар провела в адских мучениях. С тех пор как мать сообщила ей страшную весть, она не переставала плакать.

Если бы девушка не любила! Если бы мысль о неравном браке хотя бы на мгновенье, как случайный обрывок тучи, когда-нибудь прежде промелькнула бы в ее сознании, затуманив ясные очи, может быть, новость, сообщенная матерью, и не поразила бы ее душу своей неожиданностью. Подобно многим и многим особенно красивым девушкам из бедных семей и Гульнар, возможно, приняла бы известие о предстоящем браке с Мирзой-Каримбаем как веление рока, как печальную необходимость и неизбежное, как смерть, зло, смирилась бы и покорно склонила голову перед волей отца. Но девушка всем сердцем, всем своим существом любила джигита, который казался ей олицетворением силы, мужества и мужской красоты. И поэтому, когда перед ее умственным взором возникал старик со слезящимися глазками, с трясущейся при каждом слове козлиной бородкой, в ее душе, как пламя, вспыхивал гневный протест...

Но на что и на кого могла рассчитывать Гульнар? Ведь без разрешения родителей она не имела права даже переступить через порог калитки. На мать? Но ведь именно мать, сама обливаясь слезами, уговаривает ее покориться судьбе. На отца? Но что говорить об отце, когда он желание старого сластолюбца принимал как осо-

бую милость и почитал за счастье и для дочери и для всей семьи!..

Ярмат за последние дни стал совсем другим. Он даже походку переменял: заложив руки за пояс, он как-то не ходил, а семенял по-перепелиному, точно боялся спугнуть птицу счастья, неожиданно спустившуюся на его плечо. Возвращаясь к себе от хозяина-зятя, он говорил шепотом или давал знать о своих желаниях знаками. При обращении с домашними на лице его вместо обычной суровости теперь большей частью разливалось выражение заискивания и мольбы. В руках у него частенько шелестели новенькие кредитки, каких он никогда не держал за всю свою жизнь. Слезы дочери его мало беспокоили. Он считал их обычными для всех девушек, выдаваемых замуж.

Гульсум-биби сначала плакала вместе с дочерью, но затем поняла бесполезность сопротивления железной воле судьбы и смирилась. Хотя материнское сердце ее и терзалось тревогой, она теперь все свои старания направила к тому, чтобы успокоить дочь, ласкала, уговаривала ее, все время твердила «слова, начертанные в книге», когда-то слышанные ею от жены ишана: «Женщин, страдающих и скорбящих в этом мире, в судные дни сама дочь пророка Мухаммеда Фатима-биби поведет в рай...»

Гульнар все время думала о Юлчи и с нетерпением ждала его. Иногда ее пугала мысль: «Откуда мне знать, может быть, он уже вернулся? Может, и он, как я, забился в какой-нибудь угол со своим горем?..»

Юлчи! Хоть бы на миг встретиться с ним, склонить ему на грудь голову, послушать, как бьется его сердце. Посоветоваться, как вырваться из этого капкана!.. Но где он? Как узнать это? В доме нельзя даже упоминать его имени. И не только при отце, даже при матери. Ведь и для матери она теперь уже «чужое добро», а Юлчи здесь — только посторонний...

Короткий зимний день показался Гульнар бесконечно долгим. Но и вечер не принес ей утешения. Через окно уже было видно, как голые вершины деревьев окрасились в предзакатный багрянец, как в чистом морозном воздухе над крышами соседних домов медленно поплыли голубоватые волны дыма, а в сознании девушки неотступно стоял все тот же вопрос: «Где Юлчи? Как мне узнать это?..»

Неожиданно до слуха Гульнар дошел негромкий шепот. Девушка невольно прислушалась. Гульсум-биби, сидевшая у сандала, горько жаловалась: «Несчастливая судьба моя. Надеюсь, что к калитке моей под музыку карнаев и сурнаев с друзьями-товарищами придет зять, обсыпят его серебром¹. Я надену ему на голову венец с султаном из филиновых перьев... А тут, видишь ли, придут только дамы-имам с суфи, прочтут что положено, и я, злосчастная, дочь свою — принцессу, как старуху какую-нибудь, должна буду проводить без свадебных песен, без веселья, без радости, молча, будто воды в рот набравши...»

¹ Свадебный обычай.

Сердце Гульнар затрепетало. Девушка поняла, что скоро будет свадьба, что мужчины уже договорились и отец, должно быть, предупредил обо всем мать.

Гульнар быстро отошла от окна, присела на корточки у очага рядом с умолкшей матерью, порывисто прижалась к ней, точно этим движением хотела выразить все свое горе.

— Аи, попросите отца, пусть не торопится,— умоляюще заговорила она.— Пусть прислушается и к желанию единственной дочери. Еще хоть немного поживу с вами в бедности. Не хочется расставаться. Раньше я не любила эту нашу хибарку, а теперь... Теперь этот старый дом наш мне кажется лучше всяких пышных байских хором!

— Ох, дитя мое, если бы отец твой прислушивался к моим словам!.. Приходит — и всякий раз приносит какую-нибудь новость: эликбаши так сказал, эликбаши вот этак сказал... Ух, смерть моя! — Гульсум-биби умолкла, взглянула на дочь, вздохнула тяжело: — Посмотри на себя в зеркало. За три дня стала такой, будто три года болела. Не убивайся так, доченька. Такая участь не только на твою голову. Одни выходят за молодых, а другие за... иных-прочих. Бог, видно, звезду твою к этому направил. Что поделаешь?..

— Сгинуть той звезде моей, аи! Не загоревшись, потухла она. На голову мою бедой упала... Аи, вы меня еще хоть дней пять-шесть не отрывайте от себя. Это моя последняя просьба...

Мать и дочь долго плакали. Огонь в очаге медленно покрывался пеплом.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Время близилось к часу последней вечерней молитвы. Каратай съел поданную женой жидкую машевую кашу и молча сидел у сандала, уставившись на тусклый огонек чирака. Его босые, полуголые ребятишки, поднимая пыль, кувыряясь на старой кошме, ездили верхом друг на дружке, смеялись, шумели. Но он ничего не слышал и не замечал.

Последние дни горячий нравом кузнец почти забросил работу. Он что ни час придумывал все новые и новые планы, стараясь помочь как-нибудь своему другу Юлчи.

Обо всем, что происходило в доме Мирзы-Каримбая, кузнец узнавал через жену Шакир-ата — Кумры-ай. Живая, говорливая старуха под разными предлогами ежедневно бывала в байском доме, осторожно выпытывала у женщин новости и передавала мужу, а тот — Каратаю.. И все же они до сих пор не могли выяснить, когда будет свадьба. Так как в подобных случаях обычно все делалось скрытно, что называется «в рукаве», то беспокойство Каратая росло с каждым днем. Он надумал было, если свадьбу назначат на этой неделе, послать к Гульнар свою жену и, договорившись таким путем, увезти ее в кишлак к Юлчи или в другое место. Но потом у него возникли

сомнения — поверит ли девушка словам какого-то незнакомого ей человека? — и он отказался от этого плана, а решил наутро отправиться в кишлак и привезти поскорей Юлчи, чтобы действовать сообща.

В двери показалась жена кузнеца, хлопотавшая по дому.

— Выйди, кто-то стучит в калитку.

Каратай вышел. У калитки стоял Юлчи. Оставив его во дворе, кузнец поспешил в комнату, велел жене посидеть пока на терраске, успокоил детей и позвал гостя.

Юлчи присел к сандалу между ребятами, уставившимися на него любопытными глазенками. Пятилетний Тургумбай, всматриваясь в широкие плечи джигита, наконец не вытерпел:

— Кто сильнее будет, вы или отец? — спросил он и, застеснявшись, спрятал голову под одеяло, прикрывающее сандал.

Юлчи, добродушно посмеиваясь, похлопал мальчика по спине:

— Отец твой посильнее будет, племянник.

Каратай расспрашивал о жизни кишлака, о брате, о сестре Юлчи. Вытащил из-под сандала чайник чаю, разостлал дастархан, положил две ячменные лепешки. Юлчи рассказал, что приехал вместе с сестрой, что сестру он оставил у хозяев, а сам поспешил сюда навестить приятеля.

Кузнец долго крепился, не желая расстраивать джигита. Но скрывать происшедшее было невозможно — не терпело время. «Не сказать, — рассуждал он, — Юлчи, оставаясь в неведении, может завтра же выехать по какому-нибудь делу в поместье бая или еще куда».

Старшего сынишку Каратай выпроводил к матери на терраску. Младшие уже спали, растянувшись тут же у сандала. Только один, моргая длинными ресницами, старался прогнать сон, уже застилавший его черные блестящие глазенки.

— Юлчи, дорогой мой, — заговорил кузнец, — я истомился, ожидая тебя со дня на день. Завтра с утра в кишлак к тебе собирался. Хорошо, что ты сам подоспел и зашел сегодня...

— Так соскучились за десять дней? — улынулся Юлчи. — Или еще что?..

— Соскучился... и потом... — Каратай замялся, упершись кулаком о сандал, наклонился к другу. — Тут одно неладное дело вышло. Тебя касающееся. Только... Ты ведь крепкий что железо. Стерпишь. Настоящий джигит, я считаю, тот, в кого молния ударит, а он на ногах устоит.

— Что случилось? — встревожился Юлчи.

Каратай помолчал, сорвал с головы тубетейку, бросил на сандал и, не в силах тянуть дальше, заговорил прямо:

— Ты ведь любишь Гульнар? Она тебя тоже любит. К примеру, вы как Тахир и Зухра в сказке... Так вот, видишь ли, между белой и красной розой выросла колючка. А дальше понимай сам.

Кузнец наклонился над сандалом. Потом уголком глаза взглянул на джигита. Юлчи внешне спокоен, но пиала в его руках заметно дрожала. Не поднимая головы, он спросил тихо:

— Кто он? Расскажи...

— Бай, дядя твой, вздумал жениться! — Каратай не сдержался и зло выругался.

Юлчи согнулся еще больше, поставил пиалу. Меж бровей у него вздулась вена, глаза потемнели.

— Вот до чего может дойти жестокость и надругательство над человеком, Каратай-ака! Хуже этого голова не придумает! — Джигит весь задрожал от гнева.— Он ведь знал, что я люблю Гульнар, подлый старик!

— Знал?! — воскликнул пораженный Каратай.

— Знал. Прошлым летом приехал он на поле посмотреть хлопк. Повел я его по участку. Видит — урожай богатый, каждый куст, будто коралловыми ожерельями, обвешан коробочками. Доволен остался. Все похлопывал меня по плечу. Осмотрев поля, уселся он с нами, с батраками и поденщиками, пить чай. Всех насмешил разными забавными историями. Он же, как лиса, хитрый. Когда нужно, и пошутить умеет с батраками. Начал подшучивать и надо мной. «Юлчи, говорит, около тебя много казахов работает. Ты привык к ним. Выбери какую-нибудь девушку-казашку, будешь работать и песни ее слушать». — «Есть у меня на примете одна. Зачем же мне на других заглядываться?» — отвечаю ему и мигнул на Ярмату. Он сразу же догадался. «Вон как, племянник!» — говорит и смеется. Потом однажды осенью видел он, как я разговаривал с Гульнар в саду... — Юлчи ударил кулаком по колену.— Знал, собака! Такой подлости с его стороны мне и во сне не снилось. Голову ему сорвать мало!..

— Бессовестный! — возмутился Каратай.— А впрочем, все они, бай, такие. Честный, правильный человек, видно, поэтому и не может никогда разбогатеть.

— Честь, совесть? Деньги — вот их честь! И совесть, и сила...

Юлчи стремительно вскочил. Каратай схватил его за руку:

— Подожди, что ты надумал?

Джигит остановился, обернулся к другу. Взгляд его потеплел.

— Надо узнать, как Гульнар... — В голосе Юлчи послышались нотки грусти.— В ней я не сомневаюсь, но... кто знает. Может, отец с матерью принудили, и она смирилась...

— Верно,— согласился кузнец.

Юлчи тяжело вздохнул:

— Только вот как встретиться с ней?..

— Да-а... — Каратай молчал, раздумывая.— Ты вот что... Иди-ка сейчас спать. Ты устал, наверно, да и время уже позднее. А завтра пошли к Ярмату свою сестру. Девушка, если она любит тебя, и к сестре твоей должна отнестись с доверием. Сестра и узнает, что у нее на сердце. Если девушка согласна, тогда сговоритесь, выберете ночь потемнее и скроетесь. А если нет, махнешь рукой — и все.

Юлчи ничего не сказал. Он нагнулся к сандалу, жадно выпил остывший чай и направился к двери.

— Ты не спеши, не горячись. Делай все так, чтобы не вызвать подозрения,— посоветовал Каратай, провожая друга со двора.— А если нужна будет помощь, скажи...

В густой темноте ночи ярко горели звезды. Кругом — тишина. Только под ногами, словно кусочки битого стекла, похрустывали подмерзшие комочки уличной грязи. Шагая в темноте один, Юлчи еще глубже почувствовал тяжесть неожиданно свалившегося на его голову горя. Ему казалось, что в его груди кипит обида и горечь всех обездоленных и униженных, обманутых в лучших своих надеждах и гонимых жизнью. Душу джигита охватили гнев и жажда мести: всю эту жизнь, чуждую чести и совести, правды и справедливости, весь этот ненавистный порядок — все рушить, топтать, жечь!

Время было уже близко к полуночи. Юлчи не хотелось идти на байский двор. Дом Мирзы-Каримбая казался ему теперь хуже тюрьмы. Людская, в которой он проводил вот уже третью зиму, сырость и холод, полусгнившие кошмы, рваные одеяла, испещренный трещинами и заклепками чайник, безвкусная жидкая бурда на обед — все это до сих пор скрашивалось только мечтами о Гульнар и надеждами на счастье... А теперь?..

Юлчи опустил на небольшую супу у входа в придел мечети. Долго сидел, сжимая руками пылавшую голову, терзаясь тяжелыми думами. Затем внезапно вскочил и зашагал к дому Гульнар. Его влекло непреодолимое желание взглянуть на дом, где томилась плачущая девушка, хотелось поцеловать стены, за которыми она проводила бессонные ночи...

Он не сделал и десяти шагов, как из темноты раздался короткий тревожный возглас:

— Кто?

Джигит вздрогнул от неожиданности, остановился.

— Это я, Юлчи.

К нему подошел Ярмат.

— Юлчи?! — подозрительно всматриваясь, спросил он. — Когда ты вернулся?

— Сегодня вечером. Чего вы так испугались?

— Ходишь не вовремя... — грубо ответил Ярмат, беспокойно озираясь вокруг, будто искал кого-то в темноте.

Юлчи схватил холодную, дрожащую руку отца Гульнар.

— Ярмат-ака, что случилось? Вы что-то скрываете от меня!

— Я, кажется, уже рассудок теряю. Бог меня наказал! Юлчи, скажи правду: с тобой здесь никого не было?.. Ты сам что тут делаешь?..

Юлчи не знал, что и подумать. Обняв Ярмата за плечи, он спросил взволнованно:

— Что вы так дрожите? Какая беда приключилась? Говорите скорей!

Ярмат вдруг всхлипнул, сквозь слезы у него вырвалось:

— Дочь у меня пропала.

— Как? Когда?

— Я Салима-байбачу... Ох, нет... Хакима-байбачу отвозил на вокзал. Проводил в Фергану. Час тому назад вернулся, а дома — никого. Дверь — настежь... Немного погодя подошла тетка твоя Гульсум-биби. Она у хозяев была. «Где дочь?» — спрашиваю. «Дома,

говорит, была, куда ж ей деться!» Обыскали все — нет. Куда пойдет она в такую темь? Юлчи, скажи правду, ты... не знаешь?

— Какая подлость! Какая подлость! — выкрикнул Юлчи и вдруг поник головой, прислонился к железной ограде мечети и застыл, словно окаменел.

Ярмат потянул его за рукав, хрипло зашептал:

— Вижу, ты не виноват... Но, пожалуйста, никому ни слова!.. — Скользя и падая, старик бросился в темноту за поворотом.

Исчезновение Гульнар, как молния, поразило Юлчи. Долго и неподвижно стоял он у ограды мечети. Только звук трещотки ночного сторожа над самым ухом заставил его встрепенуться. Он резко отмахнулся от шутника и тихонько побрел по улице.

Калитка Ярмата оказалась запертой. Со двора, будто там вымерли все, не доносилось ни звука. Это еще больше расстроило Юлчи. Ему стало жалко родителей Гульнар; из боязни молвы они вынуждены были скрывать свое горе, переживать его взаперти. Он тяжело вздохнул и, не переставая думать о Гульнар, безотчетно побрел дальше.

Из всех предположений, возникавших в его сознании, Юлчи остановился на двух: или Гульнар покончила с собой, или ее похитили. «Обо мне долго не было вестей, — рассуждал он. — Девушка потеряла надежду свидеться и решила лучше умереть, чем достаться старому баю. Скрывшись в темноте ночи, она могла броситься в омут или удушить себя где-нибудь на пустыре». По телу Юлчи пробежали мурашки. Перед глазами из темноты вставали картины одна страшней другой. «А может быть, ее похитили? Но кто мог? С какой целью?» При мысли о похищении кулаки джигита невольно сжались. Ах, если бы эти злодеи хоть чем-нибудь выдали себя! Тогда, будь у них хоть сотни рук, он сумел бы с ними один расправиться!..

В глубокой печали Юлчи обошел несколько кварталов. Он внимательно присматривался ко всему, прислушивался к каждому звуку.

Мороз усиливался. От холода сжалось тело, заоченели ноги в затвердевших, как камень, сапогах. Юлчи, однако, ничего не чувствовал и продолжал бродить по глухим, притихшим улицам.

Над городом поднялся медный осколок луны. Юлчи вышел на берег Анхора. Вода уныло плескалась о закраины, таинственно поблескивала под тусклыми холодными лучами. В ветвях голых деревьев на берегу посвистывал ветер. Юлчи долго всматривался в сумрачные, ко всему равнодушные волны и вдруг с ужасом подумал: «Кто ее может похитить из дома? Скорее всего, она бросилась в воду. Анхор от них недалеко...» И Анхор, к которому он каждый день приводил поить лошадей, теперь показался ему страшным и грозным.

Разговаривая сам с собой, Юлчи как помешанный долго бродил по берегу. Лишь когда слышались крики петухов в соседних дворах и возгласы муэдзинов с ближайших минаретов, он тихо побрел к дому кузнеца.

* * *

Ярмат подошел к дому эликбаши и долго, до боли в суставах колотил кулаком в калитку. Дом стоял далеко в глубине двора. Время было позднее, все спали. Среди мерзлых уличных кочек Ярмат

ощупью нашел камень и принялся стучать снова. Наконец через щель калитки скользнул луч света. Ярмат с облегчением вздохнул, вытер рукавом вспотевший лоб.

Из-за калитки послышался сонный, недовольный голос эликбаши:

— Кто там?

Как только Ярмат отозвался, зазвенела цепь, открылась одна створка калитки. Ярмат протиснулся в узкий крытый проход. Придерживая одной рукой полы накинутой на плечи тяжелой шубы, эликбаши посветил коптившей лампой, заспанными глазами оглядел Ярмата, пробурчал:

— Что за шум? В полночь...

Ярмат, словно прося прощения, сложил на груди покрытые грязью руки и запричитал:

— Несчастье обрушилось на мою голову, Алим-ака! Дочь пропала. Куда исчезла, не знаю...

— А-аа? — заспанные глаза Алимхана сразу широко раскрылись. — Рассказывай, как это она могла пропасть!..

Ярмат беспорядочно, но подробно рассказал о случившемся. Эликбаши слушал, устремив глаза в одну точку, и недовольно хмыкал. Когда Ярмат умолк, он передал ему лампу, затем плотнее запахнул полы шубы, поправил на пальцах кольца и спросил:

— Дочь твоя не была согласна? Плакала?

— Плакала. Все девушки перед свадьбой понемногу плачут. Обычай этот со времен Фатимы-биби остался...

— Плачут по-разному, — сердито перебил эликбаши.

Ярмат виновато согласился, закивал головой.

— Хорошо. Кого же ты подозреваешь? — строго спросил Алимхан.

Ярмат растерянно молчал, не зная, что ответить.

— Дочь твою или увез кто, или она сама сбежала, сговорившись с кем-нибудь заранее. Ты все-таки на кого можешь подумать?

— Кто знает... — нерешительно ответил Ярмат. — Признаться, я сначала подозревал Юлчи. Помните, Ярмат, работник бая. Он уезжал в кишлак и сегодня вернулся. Только вот так, сразу трудно что-нибудь сказать. Потом как бы стыдно не было...

— Почему трудно? — сердито прикрикнул эликбаши. — Откуда тебе знать, что это не он сделал? Ну, не было его, а сегодня приехал — и вот случилось. Ты ему пока ничего не говори, а последи за ним.

Вытирая грязной рукой слезы, Ярмат начал умолять:

— Я обездоленный бедняк, научите меня, укажите дорогу!.. Она — единственная дочь, глаза мои, сердце мое... — старик заплакал снова.

— Плакать и причитать нечего, — решительно оборвал эликбаши. — Пока держи все в тайне, спрячь в своем сердце. Пройдет день-два, выяснится — жива ли твоя дочь, мертва ли она. Я тоже не буду сидеть сложа руки. Только чтобы разговору не было. Скажи жене, пусть прикусит язык. Хозяевам — никому ни слова. Придумай что-нибудь. Скажи, что дочь к подруге погостить ушла, и все. Слышишь?

А кого будешь подозревать, с того глаз не спускай, по следам ходи. Вот, можешь идти, завтра утром заглянешь...

Придавленный тяжелыми думами, Ярмат вышел на улицу и медленно зашагал к дому.

II

После завтрака Танти-байбача, закутавшись в лисью шубу, вышел на улицу. Он немного прошелся в сторону базара, потом вспомнил, что по случаю праздничного дня магазин Мирзы-Каримбая будет закрыт, и повернул к тестю, надеясь найти Салима-байбачу дома.

В квартале Мирзы-Каримбая навстречу Танти откуда-то вынырнул Алимхан-эликбаши. Они поздоровались, так как издавна были знакомы. Эликбаши, ухмыляясь, зашептал ему на ухо:

— Байбача, позвольте вашему покорному рабу задержать вас на минуту. Есть одно очень тонкое дело.

Он схватил Танти за руку и потащил к своему дому.

Тучный Танти-байбача не пожелал подниматься по крутой лестнице на балахану. Тогда Алимхан из предосторожности притворил калитку, и они остановились в полутемном крытом проходе.

— Я вас слушаю, Алимхан-ака.

Эликбаши почтительно тронул плечо байбачи и зачастил шепотом:

— Мы хотели выдать за вашего почтенного тестя дочь Ярмата. Вы, наверное, осведомлены на этот счет?

Танти утвердительно кивнул:

— Все было готово. Мы собирались через два-три дня справить свадьбу. Но вчера девушка вдруг исчезла. Не знаю — на небо взлетела, не знаю — сквозь землю провалилась. Если об этом узнает бай-ата, он будет очень огорчен.

— Ё аллах! Девушка скрылась из своего собственного дома!.. Тавба! Нехорошее дело, Алимхан-ака.

Эликбаши, не отрывая внимательного взгляда от собеседника, продолжал:

— Так вот, братец мой Мирисхак, пусть все это останется между нами. Но вы должны мне помочь. Где бы ни была девушка, ее надо найти. Как по-вашему, у кого должен быть ключ от этой тайны?

Танти-байбача был заметно смущен, но он пожал плечами и, не поднимая глаз, с деланным недоумением сказал:

— Что я, святой? Трудно сказать, где она. Если у нее был возлюбленный, может быть, она, воспользовавшись удобной минутой, бежала с ним в какой-нибудь город. В нынешнее время все девушки своевольны. Где найдешь теперь прежних — послушных и благовоспитанных!

Эликбаши снова тронул плечо байбачи.

— У меня есть некоторые подозрения, о них я скажу только вам, — заговорил он озабоченно. — Вы ведь знаете, Салим-байбача был против этого дела. Причина понятна — бай отказался завещать сыновьям свое имущество. Когда я сообщил ему об отказе бая, он даже обозлился. Отцу, говорит, никогда не жениться на этой девушке,

вот увидите! Обдумав все, я и пришел к выводу... Не знаю, может быть, это пустые подозрения, искушение шайтана...

Танти решительно запротестовал:

— В Салиме и на волосок не сомневайтесь! Совесть его чиста. Верно, когда отец отказался описать им имущество, он гневался, горячился по молодости. Но я его убедил, и он выбросил из своего сердца обиду. Байбача вне подозрений... Ну, я ухожу. А вы, Алимхан-ака, примите все меры. Я тоже помогать буду. Нельзя огорчать старика. Да, нехорошо получилось... Всего вам доброго!

Приложив руку к сердцу, Танти распрощался с эликбаши и быстро удалился.

Придя в дом тестя, Танти-байбача прошел прямо в комнату Салима. Там сидела одна Нури. Она разостлала для зятя одеяло, присела на корточки у сандала и принялась жаловаться на отца за его намерение жениться, на братьев за их нерешительность. Танти старался ее успокоить и уговаривал идти домой, чтобы напрасно не расстраиваться здесь. Нури, будто она ничего не слышала из того, что говорил ей зять, вскочила, схватила с сандала какой-то круглый ком и, стоя, торопливо принялась втыкать в него иголки. Танти-байбача удивился:

— Что это?

— Это? — Нури злобно рассмеялась и, не прерывая своего занятия, пояснила: — Это — голова Гульнар. Вот так я убью ее. Душа и голова ее как камень — столько колю, а ей хоть бы что. Послала мальчика — узнай, говорю, больна Гульнар или она по-прежнему здорова. И что бы вы думали? Оказывается, она от радости, что выходит за бая, отправилась развлекаться к какой-то своей подружке!.. А кто может быть ей подружкой? Такая же рабыня, как и она!

— Пусть развлечется! Это хорошо, — пробормотал Танти-байбача, еле сдерживая улыбку. — Нури, а какая польза в твоём колдовстве? Нехорошо, если узнает кто... Где Салим? Позови-ка его сюда.

Нури спрятала в карман свои колдовские принадлежности и, бормоча проклятия, направилась к выходу, но в двери столкнулась с Салимом. Увидев зятя, байбача поспешно выпроводил сестру, плотно прикрыл за ней дверь, метнул взгляд в окно и только тогда присел к сандалу. По всему было видно, что он чем-то обеспокоен.

— Держитесь смелее, — негромко предупредил его Танти-байбача. — К чему эта суетливость? Вы одним своим видом раскроете тайну и разоблачите себя. Дело начато удачно. Так же гладко надо довести его до конца. А для этого прежде всего нужна смелость. Вас уже и сейчас кое-кто подозревает...

Салим-байбача побледнел, губы его дрогнули, в глазах промелькнул страх. Срывающимся голосом он спросил:

— Кто подозревает?

— Алимхан-эликбаши.

У Салима перехватило дыхание. Он молча облокотился на сандал и опустил голову на руки.

— Да вы не бойтесь. У него только подозрения, — успокаивал

шурин Танти. — Подозревать — это одно, а схватить за шиворот на месте — другое.

Танти-байбача посоветовал Салиму по возможности избегать Алимхана, а при встрече держаться смело, выказывать сожаление и огорчение по поводу происшедшего.

Салим-байбача пытался взять себя в руки, но это ему плохо удавалось. Озираясь то на дверь, то на окно, он зашептал:

— Я очень боюсь, что тайна раскроется здесь же, на месте. Но мы начали дело в счастливый час. Девушка была одна. Кругом тишина, темь. И люди ваши оказались настоящими молодцами. Из таких, что без лестницы с неба звезды могут хватать. Я диву дался: ни шума, ни суетливости... Теперь-то, конечно, самая большая опасность миновала. И я отомстил отцу. Пусть теперь сам на себя обижается, старый потаскун. Отверг наши условия, вот я и наказал его... — Салим-байбача передохнул и обратился к зятю:

— Пачча, теперь бы поскорее приглушить голос этой девицы или спроводить ее куда-нибудь...

Танти-байбача долго думал, покручивая ус. Потом тихо, будто рассуждал сам с собой, сказал:

— Ее заживо похоронить надо... Иначе рано или поздно она подаст свой голос.

— Этого никак нельзя допустить! — встрепенулся Салим-байбача.

Танти помолчал, внимательно посмотрел на шурин.

— Салимджаң, вы знаете — это очень трудно. Для вас я, конечно, сделаю. Но вместе с этим я и вам должен поставить одно условие...

— Что за условие? — встревожился Салим.

— Условие мое такое. — строго, даже требовательно заговорил Танти. — В дальнейшем вы всегда должны действовать со мной заодно, и, если я приду к вам с какой-нибудь нуждой, вы не должны мне отказывать... Идет? — Танти протянул руку.

Салиму все стало ясно. Он понял, что с этого момента отдает себя во власть зятя. Теперь ему придется беспрекословно выполнять все требования Танти, и в первую очередь, конечно, не отказывать в деньгах. Иначе преступление его будет раскрыто и он будет опозорен. Оказывається, спасаясь от снега, он попал под ливень. Но выхода не было, раскаиваться — поздно. Байбача пожал протянутую руку и заискивающе проговорил:

— Вы не только зять мне, вы мой друг и старший брат.

Танти принял независимый вид. Зажав в губах папиросу, он встал и вышел, наказав Салиму помалкивать, пока Ярмат сам не поднимет шума. Он шагал по улице довольный и гордый. Мог ли он ждать такой удачи? Теперь Салим не больше как его раб.

Позавчера Салим-байбача пришел к Танти и стал жаловаться на отца. Он говорил, что старик не только отказался отплатить имуществу, но разгневался, стал поносить братьев и угрожать им всякими карами. Танти-байбача щедро подливал гостю вина. К гневу прибавилось опьянение. Салим грозился отомстить отцу. Тут Танти-байбача со смелостью подвыпившего человека предложил ему вы-

красть и спрятать Гульнар. Расходившийся Салим согласился. И вот вчера двое мошенников — доверенных Танти, с помощью самого Салима-байбачи, — бесшумно и ловко уташили девушку из дома...

«А что от этого потерял Танти? — рассуждал Танти-байбача. — Ничего. Только выиграл. Не завтра послезавтра я заполучу от шурина тысяч десять... Подпишется на векселе — и достаточно. Его подпись — наличные деньги».

Танти зашагал по улице, довольный своей удачей. Случайно взгляд его задержался на сгорбленной фигуре бедно одетого человека, шедшего впереди. «Ярмат!» В каком-то уголке сердца байбачи шевельнулось что-то и защемило. Он невольно отвел глаза. «Тяжело, видно, ему, бедняге. Умрет дитя на глазах — поплачешь, попричитаешь, но — грудь земли жестока — в конце концов смиришься. А тут единственная дочь вдруг исчезла! И никогда не узнает, умерла ли она, жива ли... Человек он неплохой, верный слуга своего хозяина. Таких уже не часто встретишь...» Танти взглянул на сгорбленную спину Ярмата. «А что, если взять его за руку, привести к дочери и сказать: «Бери ее. Но знать обо всем должен на земле только ты, а на небе — один бог! Идите!...» Это было бы по-настоящему добрым делом, а?..» Вдруг перед глазами Танти как наяву возникла шелепящая бумага, длинная — раза в два длиннее сторублевой кредитки, а на бумаге — подпись Салима. И вспыхнувшая было в душе байбачи искра простого человеческого чувства тотчас погасла, захлестнутая волной алчности. Девушка должна была стать жертвой ради того, чтобы Танти имел возможность оседлать спину своего шурина. К тому же у Танти, когда он предлагал похитить Гульнар, была и другая мысль: байбача сам рассчитывал потешиться девушкой, пока не наскучит. «Не я, так другой, — рассуждал Танти, шагая вслед за отцом Гульнар. — Со мной ей даже лучше будет, чем с этим беззубым женихом. А что касается добрых дел... говорят, дверей к милости аллаха много. Не через одну, так через другую как-нибудь проберусь и я. Можно будет, например, пожертвовать ковер для мечети. В этом случае обо мне и добрая слава пройдет в народе...» Танти тихонько рассмеялся — до того удачной показалась ему эта случайная мысль. Байбача ускорил шаги и обогнал Ярмата, даже не ответив на его приветствие.

Выйдя на Чарсу, Танти зашел в чайхану, посидел там, покурил чилим. Домой возвращаться не хотелось, он постоял с минуту в раздумье и направился к своему закадычному приятелю Джандарвагонщику.

Джандар принял Танти в одном из покоев михманханы -- большого, еще не вполне оконченного и отделанного дома на первой, мужской половине двора. Это был мужчина высокого роста, с острым, пронзительным взглядом, с лицом таким же черным, как и его борода. Одет он был с претензией на моду. Танти познакомился с Джандаром год тому назад, и с тех пор они каждую неделю встречались в дружеской компании.

Совсем недавно Джандарвагонщик служил на побегушках у разных баев-купцов и был небогатым человеком, но в течение последних

двух лет он вдруг разжился, скопив огромные богатства. Занимался Джандар оптовой хлебной торговлей, за что и получил прозвище «вагонщика», то есть человека, отправляющего товар вагонами. Постоянное повышение цен на хлеб в связи с войной, вызвавшее острую нужду среди трудового народа, для Джандара, наоборот, послужило источником обогащения. Близкие друзья, хорошо осведомленные в делах «вагонщика», между собой называли его «военным баем», то есть баем, разжившимся во время войны. В течение каких-нибудь двух лет Джандар приобрел себе большое загородное поместье, построил огромный дом в городе. Сыновья его, не так давно бегавшие по улице в рваных штанах, теперь летали по городу на «колесах шайтана», иначе говоря — на велосипедах. У Джандара завелись связи среди русских чиновников, дружбой и знакомством с ним теперь не брезговали даже самые знаменитые баи. В доме у него каждый день резали по барану, поэтому в его хоромах постоянно, как мухи, кружились имамы, ишаны, улемы. Духовенство расхваливало Джандара как «примерного мусульманина»; джаиды превозносили его как «радетеля интересов родины и нации» (Джандар пожертвовал средства на десяток парт для школы своего квартала). Джандар обскакал всех баев в разгуле. О его пирах в поместье рассказывались легенды; он содержал несколько бачей, которые жили при нем под видом писцов и приказчиков...

Танти-байбача снял шубу, уселся на одно из атласных одеял, разостланных вокруг сандала. Джандар сам вынес из соседней комнаты большой поднос с угощениями. Разломив несколько белых сдобных лепешек, замешенных на чистых сливках, он накрошил целое блюдо казы. Затем, выразив свою радость по поводу прихода Танти, сообщил, что сегодня к нему должны собраться несколько близких друзей для хорошей пирушки с музыкой, с песнями.

— Сегодня ты должен побыть со мной. Мы устроим здесь добрый пир Джамшида. Вот уже сколько времени мне пришлось довольствоваться компанией важных сановных чалмоносцев — улемов, мударрисов, аглямов. Опротивело. До смерти надоедливые все они. Говорят, что шариат каждый волосок на сорок частей разделяет, и это похоже на правду, друг мой. Заспорят из-за какого-нибудь пустяка и разведут канитель на целый день. Допусти их — раздерутся как петухи. Приходится вмешиваться и уверять, что права и та и другая сторона, и только тогда они кончают свою перебранку, разыгрывая ничью. По-настоящему опротивело.

— Что же, для тебя это неплохо, ума-разума наберешься, — рассмеялся Танти-байбача. — Скоро и сам любого улема заставишь удирать с первого же «клевка», как хороший боевой петух.

Джандар-вагонщик поморщился:

— Э, от их разговоров в голове и «алифа» не прибудет. Сказать правду, сам я, хвала аллаху, мусульманин, но их болтовня и перебранка мне вовсе не нравятся... Спрашивается, для чего же тогда я им позволяю бывать у себя, устраиваю угощения? А для того, что эти болтуны захотят — человеку побиеение камнями устроят, захотят — прославят его до небес. Зайдут они в мой дом, полижут моей

соли, выйдут из калитки в блестящих халатах, и никакой крикун после этого рта против меня открыть не посмеет. А ты же сам знаешь, трудно найти человека, чтобы он был без греха. Э, что говорить об этом! Знаешь, друг, проводим мы ночью наших гостей и махнем в город на прогулку. Подцепим самых расчудесных барышень и погуляем вдвоем в свое удовольствие. А? Руку, удалец!

В другое время Танти-байбача и не подумал бы отказываться от такого заманчивого предложения. В последнее время у него заметно поубавилось «пороху». От отцовского наследства оставалось не больше трети, и он, чтобы иметь возможность вести прежнюю разгульную жизнь, вынужден был лебезить перед такими преуспевающими богачами, как Джандар-вагонщик, и подпевать им в их затеях. Однако на сегодня у байбачи были свои планы. Собственно, он и пришел к Джандару с заранее обдуманной целью. Пока тот распространялся о своем времяпрепровождении, Танти думал о Гульнар. «Джандар будет рад такому редкостному дару,— размышлял байбача.— Он не только поможет мне заживо схоронить девушку, но в случае необходимости сумеет и замазать рот кому надо». Руководствуясь такими соображениями, Танти и решил впутать в это дело Джандара-вагонщика. Он отпил из фарфоровой пиалы глоток чаю и загадочно посмотрел на приятеля.

— В город мы не поедем, Джандар. Вечером я хочу свезти тебя в одно место. Вот где ты поблаженствуешь!

Лицо Джандара-вагонщика расплылось в довольной улыбке:

— Эх, масла тебе в уста, это правда?

— Правда. Место такое — собаку привяжи, и та не выживет. Но есть там девушка — ангел!

Джандар-вагонщик встрепенулся:

— Девушка, говоришь? Значит, лет на десять помолодеем!.. А что, если ее сюда привезти или еще куда-нибудь доставить?

— Сейчас трогать ее с места — дело очень трудное. Попозже, может быть, легче будет...

— Ладно! В богатых хоромах, на шелковых коврах мы попирали. В беседе с девушкой в таком месте, где не проживет собака, тоже есть свой интерес. Мирисхак, за тебя не только богатство — душу в жертву принести мало. Девушка, говоришь, а?.. Выпьем, друг, предварительную...

Джандар проворно вскочил, подошел к шкафу, достал бутылку коньяка.

Вошли гости. Вагонщик, прежде чем поздороваться с ними, налил каждому по стакану. Все чокнулись и стоя выпили.

III

Было еще темно, когда Юлчи пришел к Каратаю и рассказал о случившемся. Кузнец, крепко сжав губы, задумался. Потом сказал, что хочет побродить и попытаться уловить конец этого клубка, и куда-то скрылся.

Не зная, что предпринять и не находя себе места, Юлчи вышел

вслед за ним и бесцельно побрел по городу. Иногда, словно забывшись, он останавливался, подолгу стоял посреди улицы. Искры последних надежд угасали в нем с каждой минутой, сердце все больше наполнялось отчаянием.

В полдень Юлчи зашел в чайхану, надеясь встретить там Каратая. В чайхане было много народу. Примостившись в сторонке, джигит сидел, низко опустив на руки голову, не обращая внимания на несмолкавший в табачном дыму людской говор. Проворный чайханщик поставил перед ним чайник чаю. Считая неудобным отказываться, Юлчи налил пиалу, но пить не стал и продолжал сидеть неподвижно, уронив голову. Вдруг кто-то хлопнул его по плечу. Юлчи нехотя оглянулся — перед ним стоял Камбар-колченогий, работник Танти.

— Заснули вы, что ли, среди белого дня, да еще в таком шуме! — подсаживаясь, рассмеялся Камбар.

Юлчи молча протянул ему налитую пиалу. После первой встречи в поместье Танти они виделись в летнее время довольно часто и подружились. Но сегодня Юлчи встретил своего приятеля без обычного радостного оживления.

— Что случилось? Хозяин обидел? — наклонился к другу Камбар. — Я решил поспрашивать пятницу, вышел, увидел вас, и сердце чуть не разорвалось от радости, а вы вон как встречаете!

— Мы с вами давно не виделись, — негромко ответил Юлчи, — а на голову человека часто обрушиваются всякие заботы и беды.

— Это верно. У бедняка всегда что-нибудь неладит — у него и в годовой праздник печаль, и в обыкновенную пятницу горе. Только, если все принимать близко к сердцу, с ума можно сойти. Забота и слона в нитку вытянет... А скажите все-таки: отчего вы побледнели, что вас так расстроило? — Камбар в один глоток опорожнил пиалу, взглянул на джигита и рассмеялся.

Смех его болезненно отозвался в сердце Юлчи. Камбар заметил это, наклонился к нему и загадочно прошептал:

— У меня есть средство от вашей болезни! — Он выпрямился и с самодовольной ухмылкой поглядел на джигита.

— О чем это вы? — недоверчиво спросил Юлчи.

— Ладно! Хоть вы от меня и скрыли, а я скрывать не стану. — Камбар снова понизил голос. — Вы как-то признавались мне, что любите дочь Ярмата-ака, не правда ли? И вот девушка вчера ночью неожиданно исчезла. А? Вы об этом горюете?

Юлчи так был ошеломлен, что не мог вымолвить слова.

— Мне все известно! — похвалился Камбар. — Найдется ли во всех семи поясах земли следопыт искуснее колченогого Камбара! — Он подозрительно оглядел посетителя чайханы и продолжал: — Вчера в сумерки к нам пришли два парня. Я их знаю — жулики. Хозяин позвал их в михманхану, наглухо закрыл дверь. «Тут что-то есть», — думаю и, будто ни о чем не догадываясь, продолжаю работать во дворе. Не прошло и минуты — парни вышли. Потом показался пьяный Салим-байбача и тоже скрылся. Я хотел было последить за ними, но побоялся: как бы, думаю, хозяин не заметил. В полночь

загремела калитка. Открыл я. Смотрю — стоит старик извозчик, мошеник, каких мало. Знаю, все воровские дела через него делаются. Я к нему: «А, дедушка, говорю, не уставать вам!» А он мне: «Если можно, говорит, сейчас, а нет, то завтра пораньше скажи своему хозяину, что деликатный груз я благополучно и без помехи доставил. Пусть денег побольше готовит». — «Что за груз?» — спрашиваю. Он молча тронул было коня, но я остановил его. «Подожди, говорю, не торопись. Что ты от меня скрываешь? Джигиты и байбача с тобой же были! Ну! Что хитришь? Знаю, говорю, рассказывай!» — «Ишь ты, — отвечает, — колченогий хитрец, пронюхал уже! — И поясняет: — Девушку, говорит, выкрали, тут из одного квартала. Кажется, дочь работника этого самого байбачи, что с нами был. Только ты, говорит, смотри и не дыхни!» Я догадался: Ярмата дочь выкрали! Так ведь, а?.. Но зачем она им понадобилась — этого не пойму. Однако знаю: хозяйева наши — последние развратники. И, думается мне, с нехорошей целью затеяли они это дело. Вот я и решил оповестить вас.

Все, о чем рассказывал Камбар, проходило перед глазами Юлчи как страшный сон. Не дослушав до конца, джигит вскочил и метнулся на улицу. Боясь, как бы он в гневе не натворил беды, Камбар побежал вслед за ним, схватил за руку, потащил в укромное место. Там он сказал, что девушку можно освободить, так как она, вероятно, находится у одного из тех негодяев, что заходили к Танти.

— Говорите — где? — схватил его за руку Юлчи.

Камбар, поколебавшись, сказал:

— Я, пожалуй, сам вас проведу.

— Нет, Камбар-ака! — решительно возразил Юлчи. — Этот мерзавец Танти-байбача может потом обидеть вас. Я пойду один.

Камбар назвал квартал, перечислил все узенькие улочки и тупики, по каким следовало идти, описал калитку, для ясности даже начертил ногтем на дувале план.

— Если спугаете, спросите тихонько какого-нибудь мальчишку, где дом Караахмада...

— Это точно, что она там? — нетерпеливо перебил Юлчи.

— По-моему, обязательно должна быть там.

Юлчи повернулся и быстро зашагал.

Камбар окликнул его:

— Подождите!

— Что еще?

— Нож при вас есть? На всякий случай, для предосторожности...

— Мать не приучила меня ножи носить, — коротко ответил Юлчи.

Камбар пожал плечами, но настаивать не стал.

Через полчаса Юлчи добрался до нужного квартала. Это было глухое место на самой окраине города. Следуя указаниям Камбара, он свернул в один из многочисленных тупиков. По обе стороны тянулись полуразрушенные дувалы, только в конце тупика виднелась низенькая калитка. Юлчи подошел, толкнул ее — калитка оказалась запертой. Он оглядел дувал, постоял, подумал и осторожно поступал. Калитка открылась, на пороге, загородив вход, показался здо-

ровенный мрачный детина, большеголовый, с отросшими, как хвост котенка, бровями; на лице видны давнишние шрамы — следы драк и поножовщины.

— В чем дело?

— Пусти! — твердо сказал Юлчи.

Глаза мужчины, стоявшего на пороге, вспыхнули.

— Что ты, как отбившийся от стада теленок, суешь голову в первые попавшиеся ворота? Кто ты?

— Мне нужен Караахмад! — сказал Юлчи, надвигаясь на мужчину.

— Я — Караахмад, — вызывающе ответил тот и показал пальцем на порог калитки. — На этом месте человеческие головы разбиваются, братец мой! Зачем тебе мой дом, что он — в приданое твоей матери достался?

У Юлчи не оставалось никаких сомнений, что Гульнар здесь. Он понял, что разговаривать бесполезно. Резким движением схватил он Караахмада за ворот халата, рванул его с порога калитки и прижал к дувалу. Тот ответил сильным ударом кулака в грудь. Юлчи устоял и, в свою очередь, часто заработал крепкими и тяжелыми, как толкачи, кулаками — бил в лицо, в грудь, в живот противника.

Борьба была беспощадной, без свидетелей, без всякой надежды на то, что кто-нибудь разнимет... Оба только кричали отрывисто. У обоих арканами вздулись на шее жилы, в железо превратились мускулы рук и ног, кровью налились глаза. Схватившись за пояса, они долго водили друг друга, пытаясь обмануть и завалить. Наконец Юлчи изловчился, ударил изо всей силы Караахмада головой. Потом сжал ему левой рукой, как тисками, горло, напрягая силы, повалил противника и придавил всей тяжестью своего тела. В руке Караахмада блеснул нож. Юлчи схватил его руку, вывернул ее, прижал к земле. Нож выпал из ослабевших пальцев. Юлчи отбросил его далеко в сторону, прохрипел:

— Кричи, вопи о помощи, если не стыдно!

Лицо Караахмада было покрыто кровью и грязью, глаза потускнели и закатились. Юлчи слегка отпустил ему горло. Караахмад с хрипом вздохнул и больше не пытался сопротивляться.

Юлчи резко спросил:

— Девушка здесь?

— Здесь, — ответил Караахмад. — Кто она тебе, сестра?

— Я люблю эту девушку, — гордо ответил Юлчи. — Зачем вы ее выкрали?

Караахмад непристойно выругался.

Юлчи нахмурился.

— Кого ты?

— Того... байбачу...

— Так зачем же вы ее все-таки выкрали?

— Не знаю. Ничего не знаю. Спроси у купеческих сынков!

Юлчи отпустил Караахмада, поднялся, подобрал нож:

— Вставай!

Опираясь на правую руку, Караахмад медленно встал и сплюнул кровью.

— Смелый ты,— сказал он почти дружелюбно.— Побил Караахмада. Да еще как! Ничего не скажешь. А за смелого человека я сам готов голову положить. Ты любишь эту девушку? Бери ее! На нее даже взгляд ничей не упал. Верь мне! — Караахмад потрогал левую руку.— Кажется, немного повредил. Ну ничего. Заходи.

Юлчи вытер полый халата лицо и, словно преподносил подарок, протянул Караахмаду его нож:

— Возьми!

Тот некоторое время стоял в нерешительности. Потом медленно протянул руку. Обезображенное лицо его неожиданно расплылось в улыбку:

— Золотой джигит ты, оказывается! Теперь я понял, с кем имею дело.

Караахмад сунул нож за голенище и повел Юлчи к дому.

— Сестра, прикройся! — крикнул он издали.

Юлчи вслед за ним прошел в глубину обширного, с ветхими постройками двора, густо обсаженного деревьями. Караахмад направился в дальний угол двора, где стояла женщина, закрывшая лицо концом большого вязаного платка. Юлчи остановился поодаль.

— Ой, помереть мне, что с тобой?! — послышались причитания женщины.— Кто это искровенил тебе лицо? И халат весь в грязи. Тысячу раз говорила тебе: брось эти темные дела!..

Караахмад пробормотал что-то и прошел дальше. Остановившись у небольшой лачуги, он жестом позвал Юлчи, передал ему ключ, а сам отошел в сторону. Трясущимися руками Юлчи отпер замок, резким толчком раскрыл сразу обе створки двери. Внутри было темно.

— Гульнар! — позвал он тревожно.

Из дальнего угла к нему с криком бросилась девушка.

Прижавшись к груди любимого, Гульнар заплакала. Юлчи нежно обнял ее за плечи, подвел к двери. Девушка некоторое время вглядывалась в него влажными от слез глазами, затем, будто испугавшись чего-то, снова прижалась к нему, обвинила его шею руками. Часто и глубоко вздыхая, словно стараясь освободиться от переполнявшего сердце волнения, она говорила:

— Глазам не верится! Вас вижу... ох, а я уже потеряла надежду! Где мы, Юлчи-ака? Кто этот мошенник? Зачем он меня выкрал?.. Сижу вчера вечером одна. Мать у хозяев, отец не знаю где... Вдруг врываются два здоровенных мужчины. «Вай!» — успела я крикнуть — и больше ничего не помню. Потом пришла в себя: рот завязан, я завернута во что-то плотное. Слышу, везут на извознике... Ох, еле жива осталась! Сколько может вытерпеть душа человека! Я пыталась убить себя здесь. Душила себя. Не сумела. Старалась что-нибудь другое придумать — и вдруг вы! Откуда? Будто с неба, Юлчи-ака!

Юлчи не сводил с девушки глаз. Гульнар похудела. Лицо бледное, глаза усталые. Пережитое наложило свой отпечаток на весь ее

облик. Но Юлчи казалось, что красота девушки, побывав в огне скорби, стала еще более яркой. Ласково глядя голову Гульнар, он коротко рассказал обо всем, что знал. Заметил, что главный виновник, видимо, не Караахмад, а кто-то другой, хотя еще непонятно, кто именно.

Участие в этом деле Танти и Салима вызвало удивление и гнев девушки. Она проклинала их за все, что ей пришлось выстрадать. Заметив под глазом Юлчи синяк, Гульнар испугалась:

— Что это? Ой, и на ухе кровь!

— Это мы с Караахмадом пошугили немножко. Идем поскорей отсюда.

Джигит переступил порог.

— А у меня ни капишей, ни паранджи, ни платка нет,— спохватилась Гульнар.— Без платка еще ничего, но как я выйду на улицу без паранджи?

— Э-э...

Юлчи смутился. Отправляясь на розыски, он даже не подумал об этих вещах, будто, выкрадывая Гульнар, ее обязательно должны были обуть и одеть. Пришлось позвать Караахмада. Грузно ступая, тот подошел и остановился поодаль. Лицо его, даже отмытое от грязи и крови, было безобразное, лоб в шишках, щеки в кровоподтеках, один глаз заплаыл совсем, под другим огромный синяк.

— Бессовестный! — крикнула Гульнар, прячась за дверь.

Караахмад смущенно опустил голову:

— Не обижайтесь, сестрица...

Юлчи рассказал ему о возникших затруднениях. Караахмад принес рваную паранджу.

— Вот и все. Сестра и эту самому небу не доверяет,— нарочно пошугил он, передавая паранджу Юлчи.

— Хорошо. Я оставлю залог.

— Это ни к чему. Стоит она не больше тениги. Но вещь необходимая. Носить этот намордник — один из законов мусульманства. Завтра или сам принесешь, или передашь с кем-нибудь.

— Спасибо.

Караахмад снова скрылся и через минуту-две принес и бросил к ногам Юлчи пару капишей. Капиши при падении загремели, точно сухие щепки. Юлчи взял один, хотел расправить ссохшийся верх, но сгнившая наполовину кожа не выдержала и прорвалась, палец джигита высунулся наружу.

Юлчи, Караахмад, а вслед за ними и выглядивавшая из-за двери Гульнар невольно рассмеялись...

— Я дам денег, найди хоть у соседей что-нибудь получше. Чтоб можно было надеть на ноги,— попросил Юлчи Караахмада.

— Чудной ты! Последние с ног, что ли, кто снимет? Тут живут одни только нищие. Бери свою пару под крыло и улетай отсюда, сокол! Не задерживайся здесь долго!

Караахмад отошел в сторону.

Гульнар кое-как надела капиши, закуталась в рваную паранджу и вместе с Юлчи покинула лачугу.

Когда они выбрались на людную улицу, Юлчи, чтобы не дать повода мусульманам подумать о них дурное, пошел шагов на пять впереди девушки. Гульнар едва попевала за ним. Она рада была бы птицей лететь за любимым, но после всего пережитого чувствовала сильную слабость. Мешали быстрой ходьбе и капиши: чуть не на каждом шагу они увязали в грязи, соскальзывали с ног. Девушка нагнется, наденет, а через минуту повторяется то же самое.

На половине пути Юлчи выбрал место, где было поменьше прохожих, и остановился.

— Куда вас отвести? — тихо спросил он. — Домой? Говорите прямо, Гульнар, не стесняйтесь.

Гульнар прислонилась к дувалу, и, хотя лицо девушки было скрыто паранджой, джигит чувствовал, как велико было ее волнение.

— Не стесняйтесь, говорите. Все зависит от вашей воли, — повторил Юлчи.

— Домой возвращаться я не хочу, — твердо ответила Гульнар. — Пойдемте куда-нибудь в другое место, там и поговорим обо всем.

Юлчи готов был здесь же, на улице, припасть к ногам этой чистой, скромной, но такой смелой и решительной девушки. И даже этого казалось ему мало, чтобы выразить чувство преклонения перед смелым сердцем и большой любовью Гульнар.

Несказанно радуясь своему счастью, Юлчи пошел дальше. Дорогой он раздумывал, где и как устроить Гульнар. Самым подходящим местом был дом Каратая или Шакира-ата. Но оба жили недалеко от Мирзы-Каримбая. Опасно, могут узнать. Отправляться сейчас прямо в кишлак невозможно: Гульнар устала, нет одежды. Юлчи решил отправиться на маслобойню, где работал Шакасым. Это через два-три квартала от дома Мирзы-Каримбая, и, пожалуй, другого, более удобного места не найти.

Из предосторожности Юлчи шел кружным путем, глухими, безлюдными переулками. На место он привел Гульнар только на закате.

В первом дворе маслобойщика — хозяина Шакасыма, кроме маслобойни, сарая для клевера и конюшни, была еще маленькая каморка, прижавшаяся в дальнему углу между двумя дувалами. В ней и жил Шакасым.

Юлчи нашел Шакасыма в конюшне: тот был занят приготовлением корма лошадям на ночь. Даже не поздоровавшись с другом, джигит шепотом торопливо сообщил ему о своих намерениях. Уставший за день, Шакасым не все понял из того, что говорил Юлчи, но смысл его просьбы уловил сразу.

— Девушка уже здесь? — с удивлением спросил он. — Так что же медлить? Проведи ее в мою лачугу. Закройтесь изнутри на цепь и никуда не показывайтесь.

Хибарка Шакасыма была тесной, но довольно теплой, Гульнар присела на старое одеяло, разостланное поверх истрепанной циновки. На дворе еще не смеркалось, но в лачуге не было ни одного окна, и потому, когда закрыли дверь, ее заполнила тьма. Юлчи чиркнул спичкой, нашел свечу, зажег ее, пристроил в донышко перевернутой пиалы и поставил на сандал.

Шакасым, не заходя внутрь, протянул в дверь чайник чаю и две лепешки.

Сердца Гульнар и Юлчи были переполнены радостью. Она светила в их глазах, сияла в улыбках. Молодые люди, позабыв обо всем на свете, не могли насмотреться друг на друга. Огарок свечи, чуть мерцавший в убогой хижине, казался обоим ясным весенним солнышком.

Гульнар, волнуясь, принялась рассказывать о событиях последних дней. Говорила о наглости и бесстыдстве Мирзы-Каримбая, о темном, забитом отце, о том, как она плакала целыми днями и ночами, ожидая возвращения Юлчи. Джигит делился своими переживаниями, рассказывал, как ему удалось отыскать ее след.

Снаружи снова постучали. Юлчи вскочил и чуть приоткрыл дверь.

Шакасым передал еще чайник чаю, две лепешки и тарелку черного изюма.

— Надо бы по такому случаю плов сделать,— сказал он,— но, братец, сам знаешь,— бедность. Почтите малое за многое...

Юлчи поблагодарил друга. Молодые люди с аппетитом принялись за скромное угощение — оба они почти целые сутки ничего не брали в рот. Юлчи спросил, не послать ли Шакасыма в харчевню за пирожками или пельменями, но Гульнар сочла это лишним. Девушка заботливо наливала джигиту чай, счастливыми глазами оглядывала тесную каморку.

— Попросите вашего друга не пожалеть для нас этой хижинки. Мы бы зажили здесь спокойно! — улыбулась она.

Юлчи рассмеялся, но ничего не успел ответить: в следующую минуту по лицу девушки пробежала тень.

— Нет,— проговорила она с грустью,— ваш товарищ каморки своей не пожалеет, но другие... Они рады были бы и любовь нашу разбить...

Так же думал и Юлчи. Он сказал, что ни в одном даже самом глухом уголке Ташкента они не смогли бы жить в безопасности и что, если Гульнар согласна, им надо как можно скорее скрыться из этих мест.

Гульнар смело взглянула в глаза джигита:

— Какое бы место вы ни выбрали, оно и для меня будет самым лучшим на свете. Мне вот и эта хижина очень нравится... А домой я уже не вернусь. Пусть Мирза-Каримбай нос себе откусит от злости.

Молодые люди весело рассмеялись.

— Я думаю о своем кишлаке,— заговорил Юлчи.— Правда, теперь дома у меня там нет. Сосед израсходовался на похороны матери, на устройство поминков. Надо было расплатиться с ним. Пришлось дом с усадьбой продать. Дешево, всего за сто двадцать рублей, но что поделаешь. Рассчитался с долгом, сестре кое-что из одежды справил, и еще рублей тридцать осталось. На первое время нам хватит. Кишлак — моя родина, там я вырос, без крова не останемся. А дальше, если все будет благополучно, и хозяйством обзаведемся. Все зависит от вашего решения, Гульнар...

Живое девичье воображение Гульнар яркими красками нарисовало ей их будущую жизнь, полную труда и лишений, но спокойную и счастливую. Девушка одобрила мысль Юлчи.

— Мы навсегда останемся в кишлаке, — сказала она. — Оба будем работать. Я хорошо шью тюбетейки. Умею шить мужскую, женскую и детскую одежду. В нашем квартале меня мастерицей звали! — Гульнар проговорила это полушутя-полусерьезно, но с заметной гордостью. — И сестра ваша будет всегда с нами. Ах, как мне хочется увидеть ее!

Юлчи слушал Гульнар, и будущее представлялось ему безоблачно-светлым, залитым солнцем. Он подсел к девушке и бережно обнял ее. Гульнар доверчиво склонилась на грудь джигита.

— Бедная мать! Одна останется, — неожиданно заговорила она с грустью. — Не будет даже знать, жива я или нет... Ох, она не перенесет такого горя! Хотя бы раз взглянуть на нее, обнять на прощанье...

— Тетушку Гульсум, конечно, надо бы повидать... Только... не знаю... — Юлчи умолк, не договорив.

— Нет, не пойду, — решительно сказала Гульнар. — Отец может узнать. Лучше так сделать: когда народ уляжется, вы сходите к Каратаю-ака, отнесите паранджу и капиши, чтобы их вернули хозяину. Взамен принесите другую паранджу и другие капиши. Ведь завтра на рассвете мы отправимся, да? А вечером Каратай-ака под каким-нибудь предлогом пошлет к нашим свою жену, чтобы тихонько, тайком от отца предупредить, что я сбегала с вами. Тогда мать не так сильно будет беспокоиться. Правда?

Юлчи не мог нарадоваться уму, смелости и самоотверженности своей возлюбленной. Он охотно согласился с Гульнар. Не зная, как выразить чувства благодарности и любви, он привлек девушку, прижал к своей груди ее голову, не отводя глаз от нее, пообещал:

— Как только устроимся на новом месте, я обязательно приеду в город. Получу с хозяина что мне следует, заберу в кишлак сестру, а если тетушка Гульсум пожелает, привезу и ее.

У Гульнар, утомленной всем пережитым, слипались глаза. Юлчи осторожно уложил ее на подушку, накрыл одеялом. Долго сидел он рядом, не отрывая глаз от любимой. Потом переставил свечу на полку и, стараясь не скрипнуть дверью, вышел во двор.

Время уже близилось к полуночи, но в маслобойне еще виднелся огонек. Юлчи остановился на пороге, прислонившись к косяку. Его обдало смешанным запахом жмыха, конской мочи и навоза. В углублении стены была пристроена маленькая лампа с черным от копоти стеклом. При ее слабом свете джигит увидел двух лошадей, беспрерывно ходивших по кругу медленным, размеренным шагом. Животные были смирные — в прятки меж ногами играй, и хвостом не махнут, — но Юлчи казалось, что в полутьме глаза их горели дикой злобой. Вместе с лошадьми, привычно помахивая длинным кнутом, так же медленно кружился Шакасым. В этом деле между ло-

шадьями и человеком — никакой разницы: и человек и лошади одинаково придавлены одной и той же одуряюще-однообразной работой — днем и ночью непрерывное кружение в полутьме, в зловонии. Только на человеке лежала еще и ответственность: он должен был как можно больше выжать для хозяина масла и, кроме того, ухаживать за лошадьми.

Шакасым остановил лошадей, окликнул Юлчи:

— Ну рассказывай, что все это значит? Что ты бродишь сам не свой, будто сирота, которому подарили новое платье?..

Убедившись, что в маслобойне, кроме них, никого нет, Юлчи рассказал Шакасыму обо всем, что произошло, и посвятил его в свои планы. Шакасым, как мальчишка, слушающий интересную сказку, даже рот раскрыл. Вспомнив о работе, он тронул лошадей и уже потом, сквозь скрип маслобойки и монотонный стук копыт, крикнул:

— Молодец, добился своего! Если звезды ваши светят рядом, человек вас различить не сможет!

Не переставая кружить вместе с лошадьми, Шакасым, как всегда, стал проклинать свою жизнь. Говорил, что все хозяева похожи один на другого — ни у кого из них нет совести. Жаловался, что дышит постоянно навозом, а питается только жмыхом, что не может выбрать времени провести сына...

Жалобы Шакасыма несколько омрачили радость Юлчи. Но он не стал утешать друга, а прямо сказал ему:

— Что пользы хныкать здесь, в маслобойне! Если другие вас унижают, так вы хоть сами знайте себе цену. Надо уметь постоять за себя.

Шакасым, может быть, потому, что он не расслышал слов друга, не ответил и молча продолжал шагать по кругу.

Юлчи вышел из маслобойни, остановился посреди двора, взглянул на небо. Из темноты, ласково мигая ему, мерцали звезды. Джигит решил, что к Каратаю идти еще рано. Он вернулся в каморку, тихонько приподнял уголок одеяла, взглянул на лицо девушки. Гульнар крепко спала. Дыхание было частое, прерывистое, но Юлчи не обратил на это внимания. Он заботливо поправил на девушке одеяло и присел у нее в ногах, прислонившись к стене.

В голове Юлчи теснились мысли о теплой одежде для Гульнар, о том, как бы поскорее и незаметно выбраться из города. Он смотрел на девушку, и сердце его наполнялось гордостью и счастьем влюбленного, вопреки всем препятствиям соединявшегося со своей возлюбленной. Через некоторое время его начал одолевать сон. Он противился, протирая глаза, но, в конце концов, не заметил, как прикрыл веки и уронил голову на грудь.

Сквозь сон до слуха Юлчи дошли какие-то странные звуки — не то бред, не то стоны. Он вздрогнул, открыл глаза, испуганно подумал: «Кажется, я долго спал!»

Свеча догорела и потухла. Нашарив на полке новую, он зажег ее и со свечой в руке склонился над Гульнар. Девушка разметалась, одеяло сползло на грудь, лицо горело ярким горячим ру-

мянцем; дышала она прерывисто, с каким-то свистящим хрипом, тонкие ноздри ее вздрагивали. По телу Юлчи пробежали мурашки. Он тронул рукой лоб девушки — как огонь!..

Гульнар раскрыла горевшие болезненным блеском глаза. Застывшись, потянула одеяло, прикрыла грудь.

Язык Юлчи не повернулся выговорить: «Вы больны?» Он с участием спросил:

— Что с вами, джаным?

— Ох... все тело горит... — задыхаясь, ответила Гульнар, чуть шевеля пересохшими губами.

— Простудилась, наверное. Ничего, это пройдет.

— Сильно простудилась, — слабым голосом пожаловалась девушка. — Я еще утром заметила... Там... как его... Ну, в этой лачуге... было очень холодно... А на мне только легкая жакетка... Как же мы теперь отправимся? Вы все приготовили? Не знаю, дойду ли я... такая?

— Что, очень тяжело?

— Все тело болит... Ох, согнуть ей, злая судьба... как же нам быть?

Гульнар высвободила из-под одеяла руку, протянула ее Юлчи. Джигит легонько сжал ее руку и нежно поцеловал горячие пальцы.

— Сначала вам выздороветь надо, Гульнар. Ни о чем пока не думайте, лежите спокойно, поправляйтесь... Если потребуется, я на руках отнесу вас на край земли. Но сейчас... сами понимаете. В степи холодно, ветер... Хуже бы не наделать...

— Хотя бы немного передохнуть мне. А то сил нет. Измучаю я вас... А они не узнают, что мы здесь?

Глаза Гульнар наполнились слезами. В этой новой свалившейся на них беде она обвиняла себя, свою слабость. По щекам ее, плававшим жаром, одна за другой катились жемчужные капельки.

Юлчи, пристроив свечу на полке, над головой девушки, нежно вытирал ей слезы, пытался утешить:

— Не плачьте, не надо... Успокойтесь...

— Не могу остановить, сами бегут... Юлчи-ака, за что они нас мучают? За что такая жестокость? Почему этого подлого бая и его сыновей не проглотит земля?

Джигит сжал кулаки:

— Проглотит! Не проглотит — заставим!

Гульнар смотрела на него глазами, полными глубокой веры и преданности, и нежно гладила по щеке горячей рукой.

На двери снаружи загремел обрывок цепи. Послышался приглушенный голос Шакасыма. Юлчи поднялся, вышел к нему.

— Скоро рассвет. Сейчас самое удобное время для отъезда, — заговорил Шакасым, стуча зубами от холода. — Я соснул в клеверном сарае и вот вышел, думаю — надо проводить влюбленных.

Юлчи с горечью сообщил другу, что девушка заболела. Шакасым, поживаясь от холода, с минуту молчал.

— Конечно, столько страха, мучений перенесла,— немудрено и заболеть. А девушки, они народ нежный... Да, неладное дело. Жар, говорите, а?

— Горит вся. Сил нет подняться.— Юлчи взглянул на небо.— Вот-вот светать начнет... Я беспокоюсь, Шакасым-ака, Ярмат с хозяином не нападут на след?

— А куда же денешься? На носилках, что ли, понесешь? Оставься пока. Днем сидите смирно. Хозяину я как-нибудь отведу глаза. Иди, иди к ней. Открывать будешь, если постучу три раза. Утром пораньше попытаюсь найти лекарство.

Юлчи рассказал, как найти дом и кузницу Каратая, попросил Шакасыма повидаться с ним.

— Ладно,— согласился Шакасым и направился к конюшне.

Юлчи вернулся в каморку.

Из ичкари показался хозяин Шакасыма — Парпи-ходжа, по прозвищу Маслобойщик. Перемежая охи и вздохи, с обычным «Йо алла!», «Йо казилходжат!» он принялся бродить по двору.

Парпи-ходжа любил вставать на рассвете и после омовения бродить по двору, осматривать свое хозяйство, подбирать пучки сена, случайно упавшие, когда лошадям несли корм. Когда он подошел к конюшне, Шакасым крикнул:

— Сегодня, хозяин, вы что-то еще раньше встали?

— Йо алла! — протянул Парпи-ходжа вместо ответа и, нагибаясь под ноги лошадям, стал подбирать клочки сена, выпавшие из кормушки.

Шакасым пошутил:

— Каждый день на рассвете вы тысячи раз повторяете свое «Йо алла!», а хоть раз слышали, чтоб аллах отозвался «А!»?

— Если ты искренне возносишь хвалу,— строго сказал Парпи-ходжа,— аллах никогда не ответит «А!», он обязательно скажет «слушаю». Но и этого ты никогда не услышишь ухом, а можешь только познать разумом. Потому — аллах свои благодеяния окажет рано или поздно... на этом ли, на том ли свете...

Шакасым рассмеялся:

— Мне он, видно, никак не хочет сказать «слушаю». И, если хотите знать, я еще не видел никаких его благодеяний.

— Не будь неблагодарным. Потому-то и масла у тебя мало выходит! — рассердился Парпи-ходжа.— Почаще поминай имя аллаха, и он на том свете щедро осыплет тебя своими милостями...

— Лучше бы он хоть наполовину, да оказал бы их на этом свете.

— Символ веры почаще вспоминай, нечестивец! Что тебе мутная вода этого бренного мира! Подумай о кристально чистом источнике рая, глупец!

— Говорят, сегодняшняя требуха лучше завтрашнего курдючного сала, хозяин.

— Довольно болтать! — прикрикнул Парпи-ходжа и, по-стариковски заложив руки за спину, чуть сторбившись, скрылся в ичкари.

Участники пира в доме Джандара-вагонщика к вечеру, мертвецки пьяные, свалились кто где сидел. Танти-байбача проснулся около полуночи. Тяжелую, как глиняный кувшин, голову давила противная тупая боль. В горле пересохло. Танти, кряхтя, поднялся на ноги, пошатываясь, направился к выходу. Посередине михманханы споткнулся о Джандара, упал. Снова поднялся. Отчаянно ругаясь, кое-как выбрался на воздух и отправился домой.

Дома, вышедив без передышки целый чайник крепкого холодного чая, он сдвинул рукой готовый расколоться от боли лоб и тут вспомнил, что назавтра условился свезти Джандара к Гульнар. «О, птичка в надежной клетке,-- подумал он.— Завтра побываем. Теперь она, наверно, уже присмирела».

На следующий день, как только стемнело, Танти-байбача вместе с Джандаром-вагонщиком отправился к Караахмаду. У порога калитки чернела фигура хозяйина.

Пожалуйста, почтенные! - - Караахмад протянул для приветствия руки, но прибывшие в темноте, должно быть, не заметили этого жеста.

— Мы в гости к тебе. Этот человек — мой друг,-- сказал Танти-байбача, указывая на Джандара.

— Очень хорошо,-- пробормотал Караахмад, но с места не двинулся.

— Мы хотели поразвлечься с девушкой, мой дорогой. Тебя ведь нечего учить.

— Ради веселой беседы приехали к тебе, палван! — поддержал своего друга и Джандар-вагонщик.

Караахмад смерил его недружелюбным взглядом.

— Здесь вовсе не такое место, почтенные байбачи! — уже со злостью сказал он.— Что вы нам поручали? Выкрасть девушку и на некоторое время припрятать. Не так ли?

— Ну и что же из этого?..

— Сказать прямо, — перебил Караахмад, — девушки здесь уже нет. Вчера она упорхнула из моих рук. Не знаю, в каком она теперь саду, в каких горах...

Танти-байбача изменился в лице.

— Не болтай, Караахмад! — оборвал он.— Какой храбрец мог увезти ее из сокровенного места, охраняемого таким дэвом? К тому же я предупреждал тебя, что нужно быть осторожным, дело очень тонкое.

— Не верите — зайдите поищите, — грубо ответил Караахмад.

У Танти перехватило дыхание. Он повернулся к Джандару, хотел что-то сказать, но только промычал, затем, оломившись, гневно спросил Караахмада:

— Кто он, тот силач, что с тобой справился?

— Какой-то джигит... Они, похоже, давно знались.

Караахмад рассказал о вчерашней драке, но о том, что противник оказался сильнее его, промолчал. Отговорился тем, что не захотел поднимать лишнего шума и отдал девушку. Он был доволен, что встретился с Танти в темноте. Иначе один вид распухшей физиономии мог бы положить конец его славе уличного героя.

Танти трясся от злости. Он боялся разоблачения и в то же время досадовал, что не удалось потешить друга редкостной забавой. Байбача принялся всячески корить джигита. Но Караахмад, уже получивший с Танти за услугу порядочную сумму, теперь не стеснялся. С грубостью уличного бродяги он сказал насмешливо:

— Больше таких дел мне не поручайте, байбача. Прежде, чем за такое дело браться, надо, сняв тибетейку, обдумать все хорошенько... Мы вам не воробья вытащили из гнезда — живого человека выкрали из закрытого двора и на извозчике по такому большому городу сумели провезти. Во всем виноваты вы сами. Видно, язык не сумели придержать...

Танти-байбача резко повернулся и, не простившись, пошел вслед за Джандаром-вагонщиком. Дорогой приятели не обмолвились ни одним словом. Джандар, холодно простившись, повернул к своему кварталу. Танти-байбача некоторое время задержался на перекрестке. «Что же это за джигит? С кем она зналась? — раскуривая папиросу, думал он.— Кто сумел раскрыть тайну?» Не находя ответов на эти вопросы, он торопливо зашагал к Салиму-байбаче.

II

Утром Шакасым доставил завернутые в клочок бумаги засушенные цветы какой-то пахучей травы, велел заварить их в кипятке и этим настоем поить Гульнар. Юлчи два раза приготавливал лекарство и аккуратно поил больную.

К вечеру Гульнар полегчало, жар начал спадать, дыхание стало ровней. У нее даже появился аппетит; она поела машевой похлебки, которую где-то умудрился приготовить Шакасым. На лице девушки снова заиграла улыбка, и она тихо разговаривала с Юлчи.

Гульнар, хоть была слаба, настанвала, что им надо этой же ночью покинуть город. Юлчи, чтобы не отрывать от дела Шакасыма и не навлечь на него гнев хозяина, решил сам пойти на розыски арбы и повидаться с Каратаем.

Прошло больше часа, как ушел Юлчи. Задумчиво глядя на огонек свечи, Гульнар сидела у сандала и неторопливо заплетала растрепавшиеся во время горячки косы. Вдруг кто-то с силой толкнул дверь. Снаружи послышались приглушенные голоса. Гульнар замерла.

— Открой!

Стучали все громче и настойчивее. Дрожжащим голосом Гульнар спросила:

— Кто там?

— Это я! Убитый горем твой отец!

— Отец?! — вырвалось у Гульнар. Растерянная и вдруг осла-

бевшая, девушка с мольбой проговорила: — Пусть Юлчи придет, потом...

Голоса за дверью смолкли. Гульнар дрожала от страха, мысленно упрекала себя: «Почему мы не бежали вчера! Они, наверное, схватили Юлчи».

Из-за двери послышался чей-то незнакомый голос:

— Откройте, дочь моя! Мы и Юлчи позовем. Отец хочет сказать вам пару слов, узнать вашу волю и желания. Умная, благовоспитанная девушка никогда не ослушается своего отца. Если вы будете противиться, он все равно одним пинком откроет дверь и войдет. А разве это хорошо будет?

— Доченька,— снова заговорил Ярмат,— мы с матерью и так придавлены горем. Или ты совсем убить нас хочешь?..

При напоминании о матери глаза Гульнар наполнились слезами. Она встала, еле передвигая ноги, подошла к двери, сняла цепь. Так же медленно возвратилась на место и села, беспомощно опустив голову.

Вошел Ярмат. Прикрыв за собой дверь, он присел перед дочерью на корточки. Минуту сидел так, не отрывая скорбного взгляда от лица девушки, дрожащей рукой гладил ее по голове. Слезы обильно текли по его щекам, по бороде.

— Слава аллаху, довелось увидеть... жива... моя дочь. Тебя не узнать! Ты ли это, прежняя Гульнар?

— Я хворала, отец,— не поднимая головы, еле слышно ответила девушка.

— И из-за этого ублюдка Юлчи ты перенесла столько страданий, доченька! Где он, проклятый? Где он? Я ему покажу! Я ему!..

— Подождите! — волнуясь, перебила Гульнар.— Почему вы хотите наказать Юлчи? Он ни в чем не виноват. Скажите ему спасибо. Он спас меня от смерти. Если хотите наказать, так наказывайте купеческих сынков!

— Но кто же, как не Юлчи, сбил тебя с пути! — вскрикнул Ярмат.— Кто довел тебя до этого!

Снаружи послышался тот же незнакомый мужской голос:

— Ярмат, я хочу войти.

Ярмат приказал дочери:

— Закройся!

Девушка прикрылась концом одеяла.

В каморку вошел Алимхан-эликбаши. Он присел на корточки неподалеку от Гульнар, окинул хибарку брезгливым взглядом и, погладив аккуратно расчесанную бороду, хмуро сказал:

— Не затягивай разговора, Ярмат. Теперь все ясно. Этот шайтан Юлчи обманул ее и заставил бежать из дому. Мой тебе совет: бери дочь и скорее отправляйся домой. А Юлчи никуда от нас не денется. И наказывать его будешь не ты, а я сам!.. Вставайте, дочь моя,— голос эликбаши сразу стал вкрадчивым.— Не печальте отца вашего с матерью. По молодости, не подумавши хорошенько, вы и так принесли им много беспокойства. Идите домой, склоните голову к ногам ваших родителей и попросите у них прощения!

— Слушай, дочь! С тобой говорит сам элликбаши — отец наш... Не позорь меня перед людьми. Ты одна у меня, поэтому, жалеючи тебя... — Ярмат уже говорил, еле сдерживая готовое прорваться наружу раздражение.

Узнав, что перед ней элликбаши, Гульнар решила рассказать все и во что бы то ни стало оправдать Юлчи.

— Вы элликбаши? — спросила она, блеснув одним глазом из-под одеяла.— У меня есть к вам жалоба.

— Говорите,— неохотно ответил Алимхан.

Гульнар, волнуясь, начала рассказывать все, что с ней произошло. Ярмат вскочил, даже не дослушав дочь:

— Неужели все это правда? Что я сделал плохого этим байбачам?.. Да я!..

— Молчать! — прикрикнул на него элликбаши.— Глупец! У тебя горшок вместо головы! Как ты можешь верить девушке, сбившейся с пути шариата? Все это хитрость, обман, коварство! Я не позволю клеветать на таких уважаемых людей, как Танти и Салим-байбача. Люди эти благородные, и на сердце у них — ни пятнышка. Какая им польза выкрадывать девушку? Знаю, те воры — приятели Юлчи.

— Ложь! — гневно выкрикнула Гульнар.— Юлчи ни в чем не виноват! Когда он меня освободил, он спрашивал: куда я пойду? Я сама сказала, что не хочу домой. Он и привел меня сюда. Мы дали обещание жить вместе. Этого я ни от кого не скрываю.

Элликбаши нахмурился. Он понял, что волю беглянки можно сломить лишь угрозами и силой.

— Девушка, вы по-хорошему пойдете домой или нет?

— Не пойду,— решительно заявила Гульнар.— Я не хочу выходить за бая, за старика... Лучшее смерть!..

Элликбаши задыхался от гнева:

— Не топчите шариат! Я пока жалею вас, но если вы не послушаетесь меня, я заставлю народ побить вас камнями. Пусть это послужит в назидание другим девушкам и честным женщинам. К своевольницам шариат не знает милости!

— Ладно, убивайте! — крикнула Гульнар.

— Ярмат, да ты человек? Ты — отец или ком навоза?! — заорал элликбаши.— Взваливай на плечи дочь!.. — Хлопнув дверь, он выскочил наружу.

Ярмат схватил девушку под мышки, поволок ее из помещения.

— Убейте! — рыдая, кричала Гульнар.

Когда Ярмат с дочерью скрылись за калиткой, элликбаши принял свой обычный степенный и важный вид.

— Видали? — обратился он к Парпи-ходже.— Неразумное дитя! Я ее пристроил за самого богатого из баев, а она сбегала с каким-то босяком. Отворачиваться от своего счастья, а?! Какая неблагодарность!.. Спасибо вам за услугу, вы достойный мусульманин. Откуда нам было узнать? Если бы вы не предупредили, они и впрямь убежали бы куда голова клонит... Однако обо всем этом никому ни слова! Пусть останется между нами. Понятно?

Эликбаши вышел на улицу. Парпи-ходжа долго семенил за ним и угодливо нашептывал на ухо:

— Я один из уважаемых людей в своем квартале. Алимхан-ака. Благодарение аллаху, до сих пор имя мое ничем не запятнано. Скрывать в моем доме беглую девушку?! Разве можно такое стерпеть? Слава аллаху, я мусульманин. У меня волосы дыбом встали, когда я заметил. Я считал Юлчи порядочным джигитом. Он все время брал у меня жмых для байской скотины и дружил с моим батраком. А теперь вижу — совсем он безнравственный человек, этот Юлчи, подохнуть бы ему маленьким!.. А спросите, как я их заприметил? Вчера возвращаюсь после вечерней молитвы, а из щелки в двери худжры огонек виднеется. Этот мой бык — Шакасым — в маслобойне. «Ишь ты!» — думаю себе. Подошел тихонько, прислушался. Женский голос... и разговор такой... подозрительный. Заглянул я в щелку, вижу — Юлчи и с ним какая-то взрослая девица. Опять прислушался, и тут мне все стало ясно. Это дочь Ярмата! Всю ночь я незаметно подслеживал. Девушка потом прихворнула... Я и об этом знаю!.. Ярмат — мой старый знакомый и тоже истинный мусульманин. Хоть и бедняк, а разум и совесть имеет. Сколько лет брал у меня жмых! Я хотел сразу побегать к нему. А потом: «Нет, — думаю, — дай подалее закину аркан». И сегодня днем оповестил вас. Только просил, чтобы приходили вечером. Потому — нехорошо, если в доме среди дня шум поднимется. Не правда ли? Ну вот, теперь, слава богу, дело уладилось. А был бы Юлчи, он, наверное, скандал устроил бы...

Казалось, Парпи-ходжа никогда не кончит свою болтовню. Эликбаши остановил его:

— Всего доброго! Благодарствую. — Он ускорил шаги и скрылся в темноте.

* * *

От маслобойщика Алимхан отправился прямо к Мирзе-Каримбаю. Он сказал, что невеста, возвращаясь от подруги, у которой гостила, немного простудилась, и попросил дня на три отложить свадьбу. Мирза-Каримбай, которому не терпелось еще раз вкусить от радостей этого «недолговечного мира», начал было возражать, но в конце концов согласился с доводами эликбаши и уступил.

С тайной мыслью подхлестнуть жадность Ярмата, который мечтал пристроить дочь и самому выбиться в люди, а вместе с этим и подсластить горечь девушки, лишившейся любимого, Алимхан посоветовал завтра же отослать Ярмату все, что было предназначено в дар невесте.

Бай приглашал посидеть побеседовать, но эликбаши, сославшись на неотложные дела, простился и вышел на улицу. Он торопился повидаться с Ярматом, чтобы дать наказ строжайше охранять дочь, и попутно еще раз втолковать ему, насколько бессмысленны обвинения, возводимые на Танти и Салима. Кроме того, эликбаши опасался, что Юлчи, лишившись такой красивой девушки, может поднять скандал, и считал необходимым быть все время на улице, чтобы в случае чего немедленно принять необходимые меры.

Обдумывая, как бы искуснее подойти к Ярмату с доказательствами невинности обоих байбачей, Алимхан прохаживался у ворот байского двора, как вдруг в крытом проходе послышались шаги, и в следующую минуту в калитке показалась чья-то тень.

— Салимджан?

— Нет, это я...

Появление Танти было очень кстати. Алимхан обрадовался, тотчас подхватил байбачу под руку, отвел его в глубь переулка и шепотом объявил:

— Нашлась наша невеста, братец мой Мирисхак!

У Танти перехватило дыхание. Однако он быстро взял себя в руки и, притворившись, что ему ничего не известно, негромко спросил:

— Где же она была, эта беглянка?

— Байбача, — не скрывая насмешки, зашептал эликбаши, — сказать прямо — не справились вы с этим делом. Для таких дел нужна ловкость, ну и еще... осмотрительность, благоразумие и умение нужны. Вы зайдите к Салимджану и предупредите его: пусть прикоротит руки и больше не пытается! Это — первое. А потом, пусть особенно не беспокоится. Что до нас — мы и рта не раскроем. Мы знаем, на кого свалить вину. Только пусть не забудет потом мою доброту. В конце концов, это дело серьезное...

Танти-байбача не нашелся, что сказать. Зажав в губах папиросу, долго чиркал спичками, с трудом прикурил. Заметив при свете спички на лице байбачи смущение и растерянность, эликбаши ухмыльнулся. Рассказывать, что девушку из ловушки освободил Юлчи, он не нашел нужным. На прямой вопрос Танти, кто же сумел их обвести, ответил коротко:

— Один ловкий джигит.

Танти-байбача принялся оправдывать Салима, а заодно и себя:

— Алимхан-ака! Салим просто хотел подшутить над отцом. Я тоже, говоря правду, нашел эту шутку уместной. Но, клянусь богом, это была только шутка! Правда, несколько грубоватая. Заставлять краснеть Салима — нехорошо. Так что вы держитесь вашего слова...

— Слово мое — крепкое! Лишь бы он не забыл моей доброты. — Алимхан пожал руку байбачи и заторопился к дому Ярмата.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

I

Вот уже месяц, как Гульнар, измученную допросами и упреками, выдали за Мирзу-Каримбая.

Ни великолепие байского дома, ни богатство и пышность убранства комнат не могли утешить молодую женщину. И люди этой семьи, и вещи в доме — все казалось ей чужим, враждебным. Перед ее взором вставала убогая хижина, в которой она провела с Юлчи

всего один день и ночь. И темное, тесное жилище Шакасыма с его жалкими лохмотьями представлялось ей теперь несказанно дорогим и желанным. Часы, проведенные с Юлчи, были самыми светлыми в ее жизни.

В мечтах Гульнар не расставалась с джигитом. Она мысленно говорила с ним, склоняла голову на его широкую грудь, и порой молодой женщине чудилось, будто он нежно гладит ей волосы, не отрываясь смотрит на нее, словно хочет передать взглядом то, чего не рассказать словами...

Единственным утешением для Гульнар в ее нерадостной жизни была Унсин, сестра Юлчи, — рослая, по-кишлячному простая и душевная девушка лет шестнадцати, со смуглым чистым лицом и по-детски веселыми, озорными глазами. Чертами лица, голосом и даже некоторыми жестами она напоминала молодой женщине Юлчи.

Жены Хакима и Салима — Турсун и Шарафатхон — превратили Унсин в рабыню. Девушка нянчила их детей, стирала, прибирала в комнатах, выполняла всякую черную работу. Гульнар же проявляла к ней искреннее участие. Она часто зазывала Унсин к себе и старалась задержать ее подольше. Расспрашивала об их кишлаке, о доме, о матери, забывая обо всем на свете, слушала рассказы девушки о Юлчи.

Унсин часто спрашивала Гульнар:

— Почему не видно брата? Куда дядя послал его?

Молодая женщина всякий раз спешила перевести разговор на другое, крепилась, старалась скрыть невольные слезы. Иногда у нее появлялось желание открыться Унсин во всем, но она сдерживала себя, боялась расстроить девушку печальным рассказом.

Был вечер. Крупные снежные хлопья мотыльками бились в запотевшие стекла окон. Во дворе, кувыркаясь по белому пушистому снегу, играли дети. Гульнар и Унсин, как дружные сестры, тихо беседовали, сидя у сандала.

Вдруг открылась дверь, и мальчик лет восьми, дуня на покрасневшие от холода пальцы, крикнул Унсин:

— Вас Юлчи-ака зовет! Там, в мужской половине.

Гульнар вздрогнула, вскочила вместе с Унсин, точно Юлчи звал их обеих. Лицо ее выражало смущение и растерянность, в глазах застыло глубокое страдание; и вся она трепетала, как тонкая молодая ветвь.

Заметив на себе удивленный взгляд Унсин, молодая женщина в изнеможении опустилась на прежнее место и чуть слышно прошептала:

— Идите... скорее! Брат ждет...

II

В тот памятный вечер, когда он оставил Гульнар одну в каморке Шакасыма, Юлчи отправился прямо к Каратаю. Вместе они сходили к одному арбакешу, хоть и с трудом, договорились с ним. Затем условились, что Каратай прихватит для Гульнар капиши, паранджу

и еще какую-нибудь одежду потеплей и к полночи подъедет на арбе ко двору Парпи-ходжи.

Часам к десяти Юлчи возвратился во двор маслобойщика. Заглянул в темную хижину, позвал:

— Гульнар! Гульнар!

Ответа не было. Джигит, встревоженный, побежал к маслобойне. Вызвал Шакасыма, нетерпеливо спросил громким шепотом:

— Что случилось? Куда исчезла девушка?

Шакасым стоял перед ним, виновато опустив голову и согнувшись чуть ли не вдвое. Тяжело вздохнув, он рассказал все, как было. Юлчи некоторое время стоял, прислонившись к двери маслобойни, затем, точно угрожая кому-то, поднял сжатые кулаки и бросился на улицу.

В те дни им владели только гнев и желание мести. В голове возникали самые смелые планы отомстить виновникам всех его несчастий. Однако Каратай не одобрял его намерений. Кузнец узнал, что эликбаша усиленно разыскивает джигита и что к этому делу привлечена даже полиция, и старался доказать, что сейчас любая попытка выручить Гульнар и рассчитаться с врагами будет бесполезна и безрассудна. Юлчи скрепя сердце вынужден был согласиться с другом. Целый месяц он скитался по городу, не являясь в дом Мирзы-Каримбая, и только сегодня решил навестить сестру.

...Увидев брата, поджидавшего ее у двери людской, Унсин пустилась к нему бегом. Юлчи крепко обнял сестру. Он заметно изменился — похудел, черты лица его стали строже. Меж бровей залегла глубокая складка, лоб прорезали первые морщинки.

Припав к нему на грудь, девушка спрашивала:

— Братец, почему вас не слышно и не видно? Что с вами? Вы хворали? Я очень соскучилась. Каждую ночь во сне вас вижу...

Юлчи провел сестру в людскую. Оба уселись на клочке кошмы.

— Как тебе живется, Унсин, в этом доме? Побудешь пока здесь?

Унсин удивленно посмотрела на брата:

— А вы?

— Я ушел отсюда навсегда,— твердо сказал джигит.

— Тогда я тоже не останусь, братец.— Унсин задумчиво вертела на левой кисти простенький серебряный браслет, оставшийся после смерти матери.— Не подумайте, что от тяжелой работы бегу. Работы я не боюсь. А просто — не хочу.

— Почему?

Унсин взглянула на брата добрыми, печальными глазами.

— Если бы все здешние были хорошими, разве вы так сразу ушли бы? Они вас обидели, наверное, братец, не скрывайте.— Унсин вздохнула.— Правда, Гульнар-апа — добрая. Я до седых волос хотела бы служить ей. Она меня, как родная сестра, любит. Бывают же такие хорошие женщины! Обнимает, утешает, как маленькую. Только... нет, все равно не останусь. А Гульнар-апа... я не забуду ее...

Юлчи не сомневался, что Гульнар крепко полюбит Унсин и что сестра будет для нее единственной отрадой. Не желая обрекать любимую на тяжкое одиночество, он решил пока не забирать сестру.

Да и не нашлось еще подходящего места, где можно было бы пристроить девушку.

— Почему же все-таки ты не хочешь оставаться? Только потому, что я ушел?

Унсин опустила голову:

— Я боюсь...

— Кого? — насторожился Юлчи.

Лицо девушки вспыхнуло стыдливым румянцем.

— Салим-ака, — ответила она, не поднимая головы. — Увидит одну, пристаёт... Дурное говорит...

Юлчи стиснул зубы. Поднялся, помог встать сестре. Ласково погладил девушку по голове, по плечу.

— Иди, родная, в ичкари, собирайся. Когда позову, выйдешь. Уйдем отсюда сегодня же. Не печалься.

Тяжело ступая, он вышел со двора и остановился за воротами. Снег все сыпал. Снежинки цеплялись за брови, за ресницы, прилипали к щекам, таяли и скатывались мелкими капельками. Юлчи стоял, не замечая этого, и задумчиво смотрел на занесенное снегом пустующее гнездо аиста на одном из минаретов мечети.

Серенький зимний вечер, тихий и грустный. Плохо одетые люди, вобрав голову в плечи и дрожа от холода, торопятся по домам. Вот Барат-веничник. Он, видно, не сумел продать свои веники и возвращался с вязанкой на спине и с пустой сумкой для продуктов за поясом. А вон высокий, похожий на привидение нищий. Он стоит у калитки Барата и надрывным, напоминающим рыдания голосом просит подать ему кусок хлеба...

В конце переулка показался Салим-байбача. Плотно запахнувшись в шегольской, черного сукна, чекмень, он шел с раскрытым зонтом, не глядя по сторонам.

Проходя мимо Юлчи, он окинул его недружелюбным взглядом:

— Где запропал? Думаешь, просить будем?

— Байбача! — крикнул ему Юлчи.

Салим остановился, складывая зонт, повернул к Юлчи побледневшее лицо.

— Не ори, глупец! У меня уши есть...

Юлчи шагнул к байбаче, крепко схватил его за руку:

— Сам ты глупец!

В глазах Салима вспыхнули злые огоньки. Это что такое?! Какой-то малай кричит на него, говорит ему «ты!» Байбача размахнулся, но Юлчи перехватил руку, встряхнул — и зонт упал в снег.

— Бесстыжий! На беззащитных девушек заглядываешься.

Салим-байбача злобно оскалился:

— Пусти руку? Кто твоя жестра? Дочь падишаха? Пусти, говору!.. От моего хлеба-соли взбесился, собака!

Джигит стиснул челюсти, размахнулся и изо всей силы ударил байбачу в грудь. Салим отлетел на несколько шагов и свалился в снег. Юлчи подскочил, носком сапога ударил его в бок.

Из ворот выбежал Ярмат. Стараясь удержать джигита, он кричал:

— Юлчи, эй, разум ты проглотил, что ли? Стыдно!

Подбежало несколько человек случайных прохожих. Общими силами они кое-как оттащили джигита.

Салим стоял, схватившись рукой за грудь. Он не скупился на ругательства, но приблизиться к Юлчи не решался.

Ярмат отряхнул его чекмень и под руку повел к дому.

— Подожди! Не я буду, если не продырявлю тебе лоб из пистолета! — обернувшись, пригрозил байбача.

— Не верещи! — крикнул Юлчи. — Тащи свою железную пулялку! В толпе послышался смех.

Кадыр-штукатур тронул джигита за плечо:

— Остерегайся, сын мой. Время теперь чье? Ихнее, байское. Для них и застрелить человека ничего не стоит. От денег бесятся. Это не люди — змеи. Хуже! Это скорпионы, порожденные змеями. Бедняк для них — ничто. — Штукатур оглядел собравшихся. — Верно я говорю?

Вокруг закивали головами:

— Верно, верно!

— До каких же пор они нас душить будут, отец?! — сжал кулаки Юлчи.

— Вот я и говорю — до каких же пор? — в свою очередь спросил штукатур.

Народ понемногу разошелся.

Город заливала муть пасмурных сумерек. Юлчи постоял на тихой, безлюдной улице и возвратился на байский двор.

Окна покоев Мирзы-Каримбая были ярко освещены. Джигит открыл дверь и, выдержав хмурый взгляд бая, без приглашения опустился на ковер. С минуту оба молчали, глядя друг на друга полными ненависти глазами. Мирза-Каримбай приподнялся, оттолкнул большую пуховую подушку, подложенную под бок, положил на сандал четки.

— Где ты пропадаешь, беспутный? Думаешь, работа ждать будет? Чем держать такого работника, лучше собаку завести!..

— Не кричите, — угрюмо повторил Юлчи. — Я долго слушался, терпел. А теперь — довольно!

Глаза Мирзы-Каримбая потемнели.

— Кто это научил тебя таким речам?

— Ваша несправедливость, жестокость научили!

— Жестокость! — заорал бай. — Ты неблагодарный пес! Я считал тебя за родного, за близкого. Кормил тебя, одевал, обувал.

— Задаром, что ли? — нагнувшись к баю, выкрикнул Юлчи. — В бороде у вас ни одного черного волоса, а вы лжете. Стыдно! «Одевал», видите ли? Вот моя одежда! Уж не говорю о сапогах, халате, — я в этом доме даже новой тюбетейки не износил!.. «Кормил!» А чем? В вашем котле жирно готовили, а наша еда известная — хуже помоев! Скажу коротко: я от вас ухожу. Заработанное отдадите — и кончено!

Мирза-Каримбай сидел молча, насупив брови. Резкая перемена в Юлчи подтвердила его прежнюю догадку: внезапное исчезновение джигита сразу же после возвращения из кишлака, конечно, свя-

зано с замужеством Гульнар. Бай знал, что Юлчи любит девушку, но не придавал этому особого значения. «Обиды его ненадолго хватит,— думал он,— вернется и снова примется за работу». Но вышло по-иному. Жалко было упускать из рук такого «добрého раба», но Мирза-Каримбай понимал, что теперь обещаниями его не удержишь. Махнув рукой, точно прогонял собаку, он крикнул:

— Вон!

— Не гоните, сам уйду,— холодно сказал Юлчи.— Только рассчитайтесь сначала.

— Какой расчет? — выпучил глаза бай.

— Я честно работал два с половиной года. За это время получил всего около сорока рублей. Разве это все? Где же ваши обещания?

— Обещания?.. Хм... глупец! Мало ли дают обещаний хозяева, чтобы подзадорить работника. Разве может умный человек верить всяким обещаниям!

— Хорошо, лишнего мне не надо. Уплатите, что положено по обычаю.

— А сорок рублей не деньги? Больше и копейки не дам! — Бай откинулся на подушку.— Предъявляй иск, если сумеешь.

Ответ бая не был для Юлчи неожиданностью. В последнее время у него не раз возникало сомнение, что хозяин рассчитается с ним по совести. Было только обидно, что он оказался таким простаком и дал себя обмануть. Но мог ли он горевать сейчас о деньгах, когда ему пришлось расстаться с Гульнар — солнцем его жизни. Юлчи казалось позорным вступать в пререкания из-за денег, да еще с тем, кто в его глазах был самым низким и подлым человеком на свете. Джигит резко поднялся, подошел почти вплотную к Мирзе-Каримбаю и презрительно бросил:

— Тебе бы не жениться, а в навозе копаться, старый петух!

Бай не пошевелился, не изменил позы, только лицо его налилось кровью и исказилось злобой.

Хлопнув дверь, Юлчи вышел во двор. В длинном темном проходе, ведущем в ичкар, Унсин передала ему узелок со своими скудными пожитками — поношенной ватной жакеткой, ситцевым платьем и оставшейся после смерти матери шалью. Поправляя паранджу, она зашептала:

— Гульнар-апа плакала. Обняла меня, поцеловала. «Пусть, говорит, брат не отправляет вас далеко. Почаще наведывайтесь ко мне...» И вам привет передавала. Пусть, мол, не забывает. У ней много есть чем поделиться с вами. «Потом, говорит, расскажу». Бедная...

Юлчи тяжело вздохнул.

— Пойдем, сестрица! — устало сказал он.

Они шли, мягко ступая по рыхлому снегу. Нетронутая снежная белизна несколько рассеивала темноту ночи. Кругом — мертвая тишина, безлюдье.

На углу Юлчи остановился. Куда пойти? «Тесно у очага зимой, вставай да иди домой!» — вспомнилась ему пословица. А где у него

дом? Почти три года таскал он байское ярмо. И что получил? Очутился на улице!..

Унсин уже донимал холод. Она топала ногами, дышала на коченеющие пальцы рук. Нетерпеливо поглядывала на брата.

— Идем, родная! — неожиданно сказал Юлчи и направился в один из переулков. Но шагал он почему-то медленно, иногда даже останавливался.

Унсин шла вслед, дивилась нерешительности брата и думала: «Неужели в таком большом городе не найдется места? Покойная мама все надеялась, что Юлчи заработает у богатого дяди много денег, поправит дом, земли купит... Где же все это?»

Юлчи приоткрыл дверь и заглянул в мастерскую Шакира-ата. Он знал, что зимними вечерами здесь часто собирались друзья мастера. Кто-нибудь из грамотных читал сказания о военных подвигах древних героев, вроде «Ахмада-занчи», «Рустам-застана», а остальные слушали.

На этот раз в мастерской, кроме Шакира-ата, никого не было. Юлчи шагнул через порог.

— Заходи, мой ягненок! — приветливо, как всегда, встретил его сапожник.

Заметив за спиной джигита скрытую под паранджой женскую фигуру, старик с недоумением посмотрел на него, будто хотел спросить: «Что еще случилось?»

— Отец, это моя сестра, — объяснил Юлчи. — Наверное, слышали, из кишлака недавно привез. Не хочу, чтобы у бая жила.

— И хорошо сделал, сынок. Голубь, говорят, с голубем, род — с родом. Понимаешь, в чем тут смысл? Верно, они родня. Но к своему роду тебя не причисляют. Потому — они денежного рода. Правильно я сказал?.. Э, да что говорить, ты и сам испробовал. Лучше чужой-посторонний, чем такая родня. Самого, говорят, нет — и глаза нет. Без тебя станут они измываться над девушкой...

— Ваша правда, отец, — согласился Юлчи. — Нельзя ли сестре пока пожить у вас?

Шакир-ата отложил работу, снял очки, добрыми глазами взглянул на Юлчи.

— Ты давно сын мне, а эта слабенькая будет мне дочерью. Слава богу, найдется одеяло, подушка. Есть сандал. Иногда он теплый, иногда холодный, но есть. С нехватками как-нибудь справимся. Старухе моей доченька будет помощницей, а сиротам сына — сестрой.

Юлчи не знал, как и благодарить старика. На глазах джигита заблестели слезы. Он схватил Унсин за руку:

— Сними чачван! Вот твой отец. Уважай его, почитай, слушайся.

Унсин откинула чачван, застеснявшись, опустила глаза и тихо промолвила:

— Как родная дочь от всего сердца буду служить вам, атаджан! Старик встал.

— Идем, дочь моя, отведу тебя к старухе. Она добрая...

Юлчи подошел к Унсин:

— Сестра, почитай этих людей как родных. Помогай бабушке, Шакиру-ата. Он один. Где драгву ссучить, где ичиги на правиле натянуть — дело это не хитрое. Приучайся поскорее и будешь ему помощницей.

Унсин обняла брата, взяла с него слово навещать ее почаще и пошла за стариком.

Оставшись один, Юлчи задумался. Чтобы прокормить себя и помогать Унсин, надо было завтра же подыскать работу. Он развязал поясной платок, пересчитал деньги, оставшиеся от продажи дома. Оказалось пятнадцать рублей. Когда вернулся Шакир-ака, джигит положил перед ним все деньги. Старик обиделся:

— Спрячь их. Ложка похлебки найдется для девушки. Возьми, говорю, спрячь, джигиту нужны деньги.

Юлчи денег не взял.

— Все, что я добуду,— ваше, отец! Зачем мне деньги...

Шакир-ата просил его остаться заночевать. Юлчи отказался.

Пообещав завтра-послезавтра навестись, он простился со стариком и вышел.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

I

Из Ферганы возвратился Хаким-байбача. В первый же день он зачем-то спросил Юлчи. Ярмат сказал, что Юлчи давно не работает, а на расспросы удивленного Хакима уклончиво ответил:

— Не знаю, Хаким-ака. Сманил ли его кто, или сам, возгордившись, встал на путь бродяжничества, ничего не знаю.

Юлчи был испытанным, расторопным работником, и Хаким заинтересовался этим делом. Жена ему рассказала, что Юлчи, возвратившись из кишлака с сестрой, неожиданно исчез. Потом, также неожиданно появившись, избил при людях Салима-байбачу... Не доверяя словам жены, Хаким-байбача обратился за разъяснениями к брату. Салим, конечно, свалил все на Юлчи. Он сказал, что Юлчи оскорбил отца, обвиняя его в присвоении заработка.

Как? Простой батрак посмел поднять руку на его брата! Оскорбить отца!.. Хаким-байбача был вне себя от гнева. Разве можно допустить, чтобы на честь семьи Мирзы-Каримбая упала даже пылинка! Он укорил брата за то, что тот до сих пор ничего не предпринял, чтобы дать урок зарвавшемуся малаю, и решил примерно наказать Юлчи.

На второй день после полудня Хаким пригласил к себе эликбаша. Угостил его сначала жарким из фазанов и горных рябчиков, затем, когда дастархан был завален всевозможными сладостями, фруктами, сдобными лепешками с каймаком, сам потчевал гостя крепким чаем.

Хаким-байбача вначале занимал гостя рассказами о своих пирушках с ферганскими друзьями, о том, как два его приятеля в Коканде

сравнивались между собой в пышности и богатстве тоев по случаю обрезания сыновей, об угощениях, улаках, играх и веселье на этих тоях. Затем он заговорил о войне. Выразил сожаление, что руки у белого царя оказались недостаточно длинными.

Эликбаши уверял хозяина, что война обязательно закончится победой белого царя. В доказательство он привел такие соображения:

— В истории, иначе говоря, со времен алайхисаляма и до нынешнего времени было три справедливых падишаха: Нуширван, Гарун-аль-Рашид и великий падишах — Николай. Справедливые же падишахи, байбача, никогда побеждены быть не могут. А если еще и мы, мусульмане Туркестана, опоясавшись поясом благородного рвения и преданности, побольше окажем помощи белому царю, враг будет разгромлен скорее и победа будет полнее...

— Дай бог, чтобы сказанное вами оправдалось, — пожелал Хаким. — Однако не следует забывать, что добиться единодушной поддержки белого царя мусульманами не такое легкое дело. Последнее время среди народа заметно увеличилось число дурных людей.

Тут байбача сослался на случай с Юлчи, с возмущением рассказал о «недостойном поведении» джигита и, в конце концов, прямо попросил примерно наказать оскорбителя.

Алимхан хитро улыбнулся и опустил глаза.

— Да, Юлчи — джигит не безупречный, это верно, — согласился он. — Я знаю всех жителей квартала. Кто как живет, как себя ведет, у кого какая болезнь, какая беда на сердце — мне все известно. Знать — это моя обязанность. Бывают, конечно, и среди эликбаши такие, что не знают своих людей. Но они — эликбаши только по званию...

— Алимхан-ака, мы все преклоняемся перед вами! — поспешил заверить гостя байбача. — Вы действительно истинный, я бы сказал — совершенный эликбаши. Но вам недостает одного — плети. При этом условии жители махалли все как один стали бы более благомыслящими.

Эликбаши рассмеялся:

— Плети мы еще успеем пустить в дело, мой байбача. Но время сейчас особенное, тонкое. Среди населения множится недовольство. Многие не хотят мириться с бедностью и дороговизну, например, принимают не за наказание аллаха, а все сваливают на баев. Ворам, жуликам и проходимцам счета нет. Хорошо еще, что доверенные лица белого царя и полиция — большие мастера своего дела. С помощью плетей, а когда нужно — сабель, револьверов и ружей, они сдерживают народ. А иначе, сохрани аллах, народ давно бы уже голову поднял.

Хаким-байбача заявил, что причину волнений и беспокойства в народе следует искать в оскудении веры, в небрежении к делу воспитания народа со стороны мулл и улемов. Эликбаши вполне согласился с этой мыслью, и в конце концов оба они пришли к такому решению: Хаким-байбача устроит по матери поминки. Будут приглашены все видные ташкентские улемы, мударрисы, а также более влия-

тельные из джаидов. Угощение, безусловно, должно быть богатым и обильным. И тут-то они и поставят перед собравшимися вопрос о воспитании народа, об устройстве проповедей в мечетях после молитв...

— Байбача,— сказал эликбаши,— задуманное вами должно принести хорошие плоды. Во-первых, это полезно для народа, потому что путь, какой вы укажете народу, должен привести к миру и согласию. А потом, это полезно и для вас. Большие русские начальники будут очень довольны. Ваших стараний они не забудут...

Хахим-байбача самодовольно ухмыльнулся. Возможность сблизиться с важными господами льстила его самолюбию. Он так размышлялся, что чуть не забыл о Юлчи. Но эликбаши напомнил ему:

— Так как же с этим ублюдком, с Юлчи? Что вы хотели бы сделать?

— Да, чуть не забыл.— Хахим-байбача помолчал, почесал лоб.— Что с ним делать? Я и сам не знаю. Был бы он приличным человеком, можно было бы подать в суд или просто вызвать и заставить извиниться. А с ним... Не устроить ли, Алимхан-ака, так, чтобы его посадили? Что вы скажете?

— Да, было бы, конечно, лучше, если бы он сгинул с глаз,— неопределенно ответил эликбаши.

— Возьмите на себя это дело, Алимхан-ака.

Эликбаши некоторое время сидел молча, отхлебывая мелкими глотками крепкий чай. Он имел вид человека, оказавшегося в большом затруднении. Наконец, все с тем же выражением озабоченности на лице он сказал:

— Мой байбача! Это очень трудное дело. Верно, Юлчи — юноша нехороший. Но нам еще ни разу не пришлось заметить его с узлом чужого добра. На острие его ножа еще никто не видел крови. Чтобы исполнить ваше желание, надо обвинить Юлчи в чем-либо. А это не шутка! Однако ваш покорный слуга предпочтет взять на себя любые трудности, только бы не оставить втуне вашу просьбу.

Хахим-байбача поспешил выразить гостю свою благодарность, и они снова заговорили о предстоящих поминках и о совещании с улемами и джаидами.

II

Наступила самая холодная пора зимы. Заработок найти трудно. Поденщины, полевых работ нет.

Юлчи не стал долго раздумывать. Обвязался поверх поясного платка веревкой длиной в два рѣзмаха и направился на самое оживленное место базара. С одной стороны — лавки торговцев фарфоровой посудой, с другой — торговый ряд парфюмерных и аптекарских товаров, дальше «Гульбазар», где торгуют сладостями. Рядом площадь. Ржанье лошадей, грохот арб, рев верблюдов, ругань возчиков, выкрики лепешечников — все смешалось здесь в один непрерывный гул, от которого у непривычного человека голова шла кругом.

На узеньком грязном тротуаре, опустившись на корточки, сидели в ряд носильщики. Юлчи протискался сквозь толпу и присел в этом ряду последним. Носильщик впереди хмуро посмотрел на него и молча отвернулся.

В ряду сидело около двух десятков человек. Среди них -- несколько бледных, худых подростков. Были и сгорбившиеся старики, которым, казалось, не только тяжести — и самих себя таскать не под силу. У всех на плечах обрывки веревок. Одежда рваная, грязная; иные вместо халатов завернулись в чурвалы из грубой дмотканой шерсти. Ни на одном из них не было сапог: у одного на ногах враные капиши, из которых выглядывали пучки рисовой соломы; у другого старые галоши, привязанные к ногам бечевкой, а иные и просто обмотали ноги тряпками. Все посинели от холода, грязными, огрубелыми пальцами беспрестанно чесались, шарили в своих лохмотьях.

Носильщики угрюмо молчали, только глаза у всех беспокойно бегали, высматривая ношу. Если к одному подходил наниматель, вскакивал весь ряд и каждый наперебой предлагал свои услуги...

Просидев на этом месте часа два и не дождавись работы, Юлчи поднялся и пошел кружить по базару. Таял снег, в узких проходах и переулках торговых рядов -- потоки мутной воды и жидкой грязи.

По базару толпами ходили бедно одетые люди. Они куда-то торопились, толкали друг друга, переругивались. В глазах у всех — забота и озлобление.

Юлчи медленно обходил торговые ряды. Вот где товары, вот где деньги! Но все это байское. Баи торжественно восседают в своих больших и малых лавках, магазинах. У народа война иссушила силы, подтянула животы, а купцов она засыпала золотом, и животы их стали еще более объемистыми.

В первый день Юлчи посчастливилось доставить кладь в три-четыре места. Освободился он только поздно вечером и заработал семьдесят копеек. Пятьдесят он истратил на еду, а остальные спрятал в пояс: «Это доля Унсин».

Так Юлчи стал носильщиком. Каждый день до вечера он бродил по базару, доставляя в разные концы города груз или же сопровождал верблюдов с топливом и кормом для скота (казахи, привозившие на продажу древесный уголь, кизяки, сено, обычно плохо знали город). Ночевал он то в кузнице Каратая, то в чайханах. Ежедневно, а иногда через день Юлчи заходил к Шакиру-ата навестить Унсин и передать ей то, что сумел отложить в пояс из своего заработка.

Однажды Юлчи с хлебного базара нес мешок пшеницы для какого-то старика. В квартире «Кар Ягды» он вслед за стариком вошел в узкий двор, окруженный со всех сторон высокими новыми домами и напоминающий тесный ящик.

Юлчи свалил пшеницу за камышовую перегородку на кухне, собрался было уходить, когда из двери напротив вышел улыбающийся Абдушукур. Юлчи поздоровался.

— Это ваш двор, мулла-ака? — спросил он.

Абдушукур утвердительно кивнул головой.

— Вот когда мы с вами встретились, — усмехнулся Юлчи. — У хозьев бываете?

— Бываю иногда, — ответил Абдушукур, с любопытством оглядывая джигита. — Ну, расскажи, как же ты стал носильщиком?

— А для меня быть носильщиком — дело более подходящее, — усмехнулся Юлчи. — Вот получил со старика мелочь и пошел. Никто меня за полу не держит. Хоть вечер и ночь спокоен...

— Это что за ответ? — скривил губы Абдушукур. — Ты правду скажи. Не ужился?

Джигит открыто посмотрел в глаза Абдушукура.

— Сказать правду — притеснений и жестокостей не выдержал, мулла-ака. Я ведь тоже человек. Сколько можно терпеть издевательства! Впрочем, что говорить об этом. Искать среди хозяев хорошего человека — все равно что искать яйцо сказочной птицы анка. Хозяева, они хоть обличем и разные, а сердцем все одинаковые. Знаем, на себе испытали, мулла-ака.

Абдушукур пригласил Юлчи зайти в комнату. Его заинтересовали слова этого простого джигита, глаза которого, как он думал, были закрыты «пеленою невежества». Захотелось узнать, что думает Юлчи о Мирзе-Каримбае и его сыновьях.

Вслед за Абдушукуром Юлчи вошел в михманхану. Постепенно наследить грязными сапогами, он отвернул край кошмы и присел на корточки у порога.

Комната была небольшая, но светлая и чисто прибранная. На сандале несколько газет, на полках стопки книг. На стене против двери портреты двух каких-то военных в турецких фесках: один — солидный, с пышной бородой, второй — помоложе, сухошавый, с тщательно закрученными усами.

Чтобы джигит случайно не увидел кого-нибудь из женщин, могущих выйти во двор, Абдушукур опустил шторы на окнах, потом подсел к сандалу, скользнув глазами по открытому газетному листу, взглянул на Юлчи:

— Так. Ну, расскажи, в чем же ты видишь жестокость нашего бая-ата? Послушаем и предоставим рассудить разуму, кто из вас прав, кто не прав...

Юлчи не любил жаловаться и перед каждым раскрывать сердце. Но сейчас он почувствовал какую-то внутреннюю потребность высказаться.

Абдушукур был человеком образованным, сведущим. Может, он объяснит, почему на свете так много несправедливости, и поможет советом. Юлчи рассказал, что пришлось ему пережить за последние два с половиной года. Даже открыл перед Абдушукуром некоторые страницы своей несчастной любви. Затем, волнуясь, заговорил о положении вообще всех батраков, поденщиков, чайрике-ров.

Абдушукур внимательно выслушал Юлчи. Аккуратно сложив газеты, отодвинул их на угол сандала, усмехнулся:

— И все? Где же тут притеснения, жестокость? — Глаза и приподнятые брови Абдушукура выражали недоумение. — Только из-за

этого ты обиделся на бая и нашел, что лучше быть носильщиком? О горе, до чего мы дожили! Горе тебе, несчастный Туркестан!

Удивленный этими восклицаниями, Юлчи сделал попытку объясниться.

— Мулла-ака, — сказал он, — занятие носильщика правда не дело. Я люблю пахать, работать кетменем, умею заставить цвести землю. Но где же хоть клочок земли? Нет у меня ее в кишлаке, нет и в городе! А на хозяйской земле я теперь и кетменя не подниму. Закаялся работать батраком. Человек может обмануться один раз. Я буду трудиться, пот проливать, а кто-то, сидя в холодке, пользоваться моим трудом! И ко всему этому — оскорбления, унижения. Где же тут справедливость?

Абдушукур некоторое время сидел молча, покусывая ноготь большого пальца. Потом, как бы раздумывая над каждым словом, сказал:

— По-моему... темный ты, братец мой. Разум твой, очевидно, вследствие твоей неграмотности не в состоянии разобраться во многих вещах...

Юлчи вздохнул:

— Рос я в людях. В детстве был пастухом, подбирал колосья. Да в кишлаке у нас и школы не было...

— По-моему, — строго продолжал Абдушукур, — о темноте твоей можно судить уже по тому, что ты говоришь: бедняки, баи, хозяева, батраки. Откуда такие слова? Это же самое настоящее невежество! По-моему, бессмысленно делить людей на баев, бедняков, хозяев, батраков. Все мы туркестанцы, иначе говоря — дети мусульман. И только! У всех у нас одна задача, одна обязанность — забыть о распрях и работать дружно, рука об руку. Нет больше греха, чем сеять среди мусульман смуту и рознь. А в каждом твоём слове — семя смуты. Понял?

Минуты две-три Юлчи сидел смущенный, даже растерянный. Но потом собрался с мыслями, поднял голову и уже посмотрел на Абдушукура, которого до сих пор называл уважительно «мулла-ака», насмешливо сдвинув бровь.

— Значит, я должен сунуть шею в хозяйское ярмо, работать сколько есть сил, а они — содрали с меня шкуру и вон со двора?! Как собаку?! Нищенствовать по улицам... А потом — почему вы говорите, что нет баев, нет бедняков? Верно, мы все мусульмане и живем в одном краю. Только Мирза-Каримбай — это одно, а я другое. Есть мусульмане хозяева, а есть — батраки. Можно ли полой прикрыть луну? Так почему же мои справедливые слова вы считаете смутной?

— Пойми ты!.. — размахивая руками, начиная раздражаться, заговорил Абдушукур. — Пойми же ты наконец — чьи баи, чьи хозяева? Это же наши баи — мусульмане. Пусть они крепнут, пусть товары их находят хороший сбыт — вот чего надо желать, джигит! Вера наша предписывает не рознь и смуту, а согласие. Понимаешь? Слава аллаху, среди наших баев есть справедливые и щедрые люди. Они раздадут беднякам положенный закят, одевают раздетых. Вражда к баям — это от невежества, братец мой!

Абдушукур торопливо закурил папиросу и жадно затянулся.

Юлчи, чуть прищурив насмешливые глаза, покачал головой.

— Шедрые бай?! — джигит рассмеялся. — Где они? Мне не приходилось таких встречать, мулла-ака. Может быть, и найдется один-два... чудаки какие-нибудь. Но милостыня их — капля в море. Бай обдирать бедняков мастера — то вы лучше меня должны знать. У баев есть такая игра — «плутовство по закону». Я сам, своими глазами видел и до сих пор не могу надивиться такому надувательству. Прошлым постом Мирза-Каримбай велел Ярмату заложить коляску. Потом послал за суфи нашей мечети. Пришел суфи, Мирза-Каримбай и говорит ему: «Эта лошадь и коляска ваши, отдаю их вам по закяту. Ну-ка, говорит, садитесь, прокатитесь в ней». Суфи, усмехаясь, сел в коляску. Ярмат тронул лошадь. Проехались они по главной улице и вернулись. Бай подошел к суфи, — тот еще сидел в коляске, — показал ему десятирублевую бумажку и тихонько: «Продайте, говорит, мне вашу лошадь с коляской. Вот вам их стоимость». И сунул суфи десятирублевку. Я тогда не понял, что это значит. Делают всерьез, а похоже на детскую игру. Наутро спрашиваю у Ярмата. «Это, — говорит Ярмат, — раздача закята при помощи «законного плутовства». И все объяснил мне. «Лошадь, говорит, с коляской стоят пять тысяч. Бай для видимости передал их суфи, а потом снова купил за десять рублей. Этим самым бай-ата наш освободился от закята с капитала — в двести тысяч рублей...» Видали! С капитала в двести тысяч рублей — десятирублевка закята! Ярмат и тот удивлялся. А он-то знает все байские проделки. «Хозяин, говорит, всегда отделяется от закята с помощью разных хитростей. Но в этом году он обставил дело на редкость ловко!...» Если бы я этого не видел, не поверил бы. — Юлчи помолчал. — Хорошо, допустим, даже бай будут отдавать закят правильно. Только ведь лучше умереть, чем жить милостыней! Или вы хотите весь народ сделать нищими, попрошайками?

Абдушукур ответил не сразу и минуты две сидел, стараясь не смотреть на Юлчи.

— Конечно, — согласился он, — и среди наших баев есть люди невежественные. Многие из них еще не понимают своего долга. Таким надо постепенно разъяснять, что они должны быть отцами народа. Но главное — дело в согласии, в единодушии, братец мой. Вносить смуту — нехорошо. Каждый должен знать свой долг, свое место. У нас есть просвещенные люди, осведомленные о том, где что делается на свете. Они ищут путей исцеления всех наших ран, недугов. Они обязаны думать о средствах против нужды и скорбей народа. А тебе что до всего этого? Занимайся себе своим делом. Неумелой рукой подкрашивать брови — и глаз можно выдавить. Несчастному Туркестану торговые люди нужны!

Юлчи охватил гнев. «Выходит, ты и есть один из тех просвещенных!» — чуть не выкрикнул он, но сдержался. И у этого-то чело- века он собирался спросить совета, как истребовать у бая свое заработанное! «Да он же не больше как глашатай воли баев, — думал Юлчи. — Не зря они угощают его и поят чаем в своих хоромáх... «Бай — отцы народа!» Оказывается, мне надо желать, чтобы их дела

шли успешно, а! Да голова у него или пустая кубышка?..» Юлчи встал, коротко обронил:

— Добро!

Трудно было понять, сказал ли он это на прощанье, мол, «добро, всего хорошего!», или же отвечал на свои мысли, рассуждал сам с собою: «Ладно. Что будет дальше, увидим!»

Абдушукур приподнялся было, чтобы проводить гостя, но раздумал и снова сел.

Близился вечер. Юлчи решил на базар не возвращаться. Зашел в одну из многочисленных чайхан, уселся на дощатом помосте. Прислонившись к столбу, устало вытянул ноги, потребовал чаю.

Какой-то рослый дервиш в высокой, конусообразной шапке стоял посреди чайханы и, закрыв глаза, звучным басом тянул газели Машраба. Ему звонко подпевал мальчик лет десяти. Певцы, собрав несколько медяков, скрылись.

Юлчи неторопливо отхлебывал горячий чай, перебирал в памяти все, что говорил ему Абдушукур, и мысленно возражал почтенному «мулле-ака».

Вдруг кто-то толкнул его в спину. Юлчи поднял голову — все, кто был в чайхане, стояли с покорно сложенными на груди руками, с испуганными глазами. А в нескольких шагах от него — грузный, рыжий полицейский пристав с усами, торчащими вверх точно два меча, поднятые над головой преступника.

Этот «тура» часто и неожиданно появлялся в местах скопления «азиатов». Разразившись «молниями» гнева и показав перед «азиатами» свою власть, он так же неожиданно уходил. Особенно зачастую он по чайханам и усилил строгость после того, как началась война.

Под злым взглядом пристава Юлчи встал, медленно сошел с деревянного настила, но рук на груди не сложил. Пристав резко шагнул к Юлчи. Со всего размаха ударил по открытой груди джигита толстой, туго сплетенной ременной камчой. Конец плети впился в голую шею. Казалось, не тело, а душу рванула камча. Юлчи вздрогнул. Кулаки его сжались. Однако он не сдвинулся с места. Глаза пристава метали зеленые искры. Шея его напряглась, лицо покраснело.

Какой-то старик, кланяясь и прижимая к груди руки, путая узбекские и искаженные русские слова, униженно заговорил:

— Таксыр, ман беноват. Пожалиска, пожалиска. Бала порятка сапсим билмайди. Кечиринг!..¹

Старик умолк и показал на свою белоснежную бороду, будто хотел сказать: «Сделай уважение моим летам!»

Пристав грубо заорал на него.

Юлчи не выдержал.

— Спасибо, отец,— сказал он, обращаясь к старику.— Но не годится кланяться ядовитой змее, которая тебя ужалила!

¹ Господин, я виноват. Пожалуйста, пожалуйста. Сынок порядков совсем не знает. Простите.

— Прощения проси, сын мой. Не тягайся с тиранами! — тихо проговорил старик.

— А что я такого сделал? За камчу просить прощения?

Юлчи поднялся на деревянный настил и уселся на свое прежнее место. Разъяренный такой непокорностью, пристав размахнулся и снова ударил джигита, стараясь угодить по лицу. Юлчи быстро вскинул руку и ловко схватил конец камчи. Пристав безуспешно дергал плетень, не переставая сыпать русские и узбекские ругательства. Он зло и подозрительно оглядывал находившихся в чайхане людей, вероятно, думал: «Не сговорились ли все эти азиаты, если парень решился на такую смелую выходку?»

Юлчи заметил этот взгляд. Он обвел взглядом чайхану: у многих на лицах гнев и ненависть, но в то же время в глазах проглядывал страх, а те, что стояли ближе к выходу, уже приготовились к бегству.

«Из-за меня могут пострадать ни в чем не повинные люди», — подумал джигит. Опустив камчу, он медленно поднялся.

В чайхане было тихо. Только перепелки нетерпеливо бились в клетках, подвешенных к потолку, шуршали крошечными ножками о лубяные доньшки. Из клеток на стоячие усы полицейского, на его выпяченную грудь сыпались просинки и мелкий перепелиный помет. Пристав ничего не замечал. Резким взмахом руки он приказал людям сесть. Потом сердито крикнул что-то по-русски, обращаясь к Юлчи. Тот покачал головой, давая знать, что не понимает. Мишраб, стоявший за спиной пристава, перевел:

— Говори, как зовут тебя и кто твой отец!

Когда Юлчи назвал себя, пристав и мишраб значительно переглянулись. Мишраб подскочил к Юлчи, схватил его за руки:

— Очень хорошо, что ты попался! Я тебя уже третий день разыскиваю!

— Вяжите, бейте, кровопийцы! — закричал Юлчи.

Пристав приказал:

— Пошел!

Мишраб подтолкнул Юлчи и кивнул на дверь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

I

В чистом, сияющем голубизной небе пролетели горделивые журавли. Снова весна... С каждым днем все сильнее припекало солнце. По краям земляных крыш убогих мазанок, над растрепанными, полустлелыми застрехами зазеленели яркие коврики травы. Немного позже среди зелени начали вспыхивать кроваво-красные маки. Украсились гроздьями нежно-белых цветочков и две ветви, торчащие из корявом стволе старой дуплистой груши в маленьком дворике Шакирата.

В этом убогом дворике-тумаре со старой грушей уже два с поло-

виной месяца жила Унсин. Старик и старуха привыкли к ней как к родной. Полюбили девушку и их осиротевшие внучата. Старуха теперь спокойно уходила по своим знахарским делам — в доме было кому и за ребятами присмотреть, и обед приготовить. Унсин охотно возилась с ребяташками, была ласкова с ними, мыла их, обстирывала, чинила рваные рубашонки. К вечеру она ставила на огонь котелок, варила затируху, заправленную салом, или машевую похлебку. А главное — она помогала старику.

Один, без ученика, Шакир-ата за неделю мог приготовить всего несколько пар ичигов. На деньги, вырученные за них, сапожник покупал шевро, подошвы, нитки, клей, воск — все, что надо было для работы. На хозяйство же оставались гроши. Часто, возвращаясь с базара, старик еще с порога швырял пустую сумку и с гневом и горечью говорил:

— Цена на кожу опять подскочила, никак наперед не угадать и не угнаться. А припасы — куда там! Не то что риса или маша — даже пшена не сумел купить. Видно, бог находит, что для нас и пшеничная похлебка излишняя. Эта война — сущая беда на нашу голову. Сгинуть бы и герману и турецкому султану, хоть мы его и величаем халифом всей земли, сгинуть бы и самому белому царю. Приданое матери, что ли, не поделили они!..

Но вот старику стала помогать Унсин. Первое время она сучила и вошила дратву. Потом стала насаживать ичиги на правила, покрывать их черной сажей и лаком. Наконец она упростила старика научить ее шитью. Шакир-ата показал ей, как держать шило, как действовать парными иглами. Проворные руки девушки быстро освоились с работой. Примостившись на низенькой табуретке во дворе или жилой комнате, Унсин прилаживала на коленях правило и ловкими, быстрыми движениями строчила голенища, да так, что даже старому мастеру приходилось удивляться ровности и аккуратности строчки. Скоро они разделили труд: старик в мастерской кроил заготовки, а Унсин в ичкари шила. Дела начали поправляться. Теперь Шакир-ата, заготовив для помощницы все необходимое, большую часть дня занимался починкой обуви, и заработок прибавился.

Унсин выросла в труде и лишениях, поэтому жизнь и работа у сапожника вовсе не тяготили ее. Только вот если бы с ней был брат!.. Мысль о Юлчи не покидала девушку. Руки ее были заняты работой, а сердце болело. Обычно ясное, миловидное личико омрачала печаль...

Когда Юлчи был носильщиком, он приходил почти каждый вечер, расспрашивал Унсин, подбадривал ее и обязательно оставлял немного денег, которые девушка передавала потом Шакиру-ата. Но где же он теперь — любимый брат ее? В какой томится стороне, в какой темнице?

Неожиданное исчезновение Юлчи принесло девушке и обоим старикам много волнений и горя.

— Что же это такое, доченька? — часто повторял старик, покачивая головой. — Взрослый, разумный джигит — и вдруг даже тени своей не показывает!

Иногда, может быть желая утешить девушку, а может, потому, что и в самом деле так думал, он прибавлял:

— А впрочем, джигиты — они все такие необузданные. Видно, с каким-нибудь приятелем счастья искать отправился, беспутный!

Правду им рассказал Каратай долгое время спустя. С тех пор Унсин плачет. Горюет и Шакир-ата.

— Сохрани его аллах от жестокостей тиранов! — твердил старик.

А Каратай бегал по городу, надеясь разузнать, какая участь постигла его друга после ареста.

Еще живя в доме Мирзы-Каримбая, Унсин замечала, что брат переживает какое-то горе. После, беседуя каждый день с Гульнар, она начала догадываться, что красивая молоденькая жена бая и Юлчи любят друг друга. Но лишь перебравшись к Шакиру-ата, Унсин от старухи услышала печальную повесть о любви Юлчи и Гульнар. Рассказ тетушки Кумри глубоко взволновал девушку и заставил ее страдать за брата. А теперь ко всему Юлчи арестовала полиция.

«Отчего он такой несчастный? — думала Унсин. — За что они мучают его — такого красивого, такого хорошего, умного, доброго?»

Девушка проклинала и Мирзу-Каримбая, и его сыновей, и полицейских. Гульнар же она полюбила всем сердцем. Она знала, что молодая женщина тревожится за Юлчи, тоскует по нему, сама скучала по Гульнар, но из отвращения к дому Мирзы-Каримбая навещала ее редко, хотя и жила в одном квартале.

Свет весеннего солнца, не вмещаясь в синем море небес, заливал мир. Цветы старой груши сияли как чистый, нетронутый снег.

Разостлав во дворе кошму, Унсин сидела на своей низенькой табуретке и шила ичиги. В мастерской, которая была отделена от двора тонкой каркасной стеной, работал Шакир-ата. До ушей Унсин оттуда долетали звуки песни. Старик пел слабым, дребезжащим голосом. Временами песня обрывалась, через стенку слышалось «пуф-пуф» — и след частые: тук-тук-тук. Это Шакир-ата обрызгивал изо рта водой растянутую на доске кожу и затем железной колотушкой ровнял складки.

Потом снова звучала песня, такая же печальная, как и вся жизнь старика. Это, пожалуй, была даже не песня, а жалобные рыданья одинокого, несчастного человека, у которого смерть уже вырвала кусок сердца.

О моя жизнь — пустыня серая,
Не видать бы тебя, не видать!
Стоны протяжные сердца бедного
Не поднять до небес, не поднять.

Неправда, обиды мне грудь истерзали,
Спину согнули в горб...
Плачу — в пустыне никто не услышит,
Никто не уймет мою скорбь.

Старухи дома нет. Ребятишки убежали на улицу. Где-то звонко чирикают воробьи. Унсин, склоняясь над ичигом, слушает безрадостную песню, со скрипом пропускает меж пальцев липкую, навощенную

дратву. Когда она училась шить, этот сухой звук раздражал ее. Но сейчас она уже не замечает ни скрипа, ни неприятной липкости дратвы.

Закончив заданный урок, Унсин выпрямилась, встала с табуретки, взглянула на крыши соседских хибарок. С наступлением весны там часто показывались соседские девушки. Украсив листьями тала косички на лбу, они переходили с крыши на крышу, часто усаживались на мазанке Шакира-ата, болтали и перебрасывались шутками с «девушкой-сапожником». На этот раз на крышах никого не было. Унсин долго бродила по двору, терзаясь одиночеством.

Возвратилась старуха. Заметив, что сегодня Унсин печальнее, чем всегда, тетушка Кумри посоветовала ей пройтись, рассеяться. Девушка накинула паранджу, но пошла не к соседям — к Гульнар, поделиться горем.

Миновав длинный крытый проход в правой, мужской, половине двора Мирзы-Каримбая, Унсин заглянула через калитку в ичкари. Через открытые настезь окна комнаты напротив доносились смех и громкие возгласы: там за веселой беседой сидели жены Хакима и Салима-байбачи с какими-то разодетыми молодыми женщинами. На террасе и в комнате Гульнар было тихо. Присмотревшись, Унсин увидела через окно Гульнар и быстро прошла через двор.

Молодая женщина встретила Унсин на терраске. Без слов, с глазами, сиявшими искренней радостью, она долго обнимала девушку. А в комнате ласково пожурила Унсин:

— Знаете, как я здесь одинока. Ближе живете, а не навещаетесь. Сама сходила бы к вам, да не могу. Порог переступить не имею права...

Не желая обидеть Гульнар, девушка не стала говорить, что не любит этот дом, а сослалась на занятость: старуха уходила на несколько дней и не на кого было оставить ребят.

Молодая женщина расстелила у окна одеяла, усадила девушку рядом с собой. Унсин заметила, что она выглядела еще печальнее, чем прежде, и решила было не упоминать о судьбе брата. Но Гульнар, как всегда, первая заговорила о Юлчи.

Неожиданно на терраске послышались чьи-то шаги, в сенях показалась жена Салима-байбачи — Шарафат. Не заходя в комнату, она притворно-ласковым тоном, жеманно растягивая слова, позвала:

— Гульнар-ай, идете же, гости обидятся. Они ведь только ради вас пришли. Это жены почтенных, уважаемых людей, а вы будто пренебрегаете...

Гульнар поднялась и, сделав несколько шагов к Шарафат, мягко ответила:

— Я уже виделась с ними. Вам и без меня там весело. А у меня, видите, тоже горько.

— Все это только отговорки. Подумаешь — важная гостья! Ха-ха-ха... Вы все-таки зайдите, Гульнар. А Унсин пусть пока займется чем-нибудь, поработает немного.

Шарафат помолчала. Потом, насмешливо посматривая то на Гульнар, то на Унсин, спросила:

— Унсин, есть ли известия о твоём буйне-брате? Беспутный... Как он смел задевать русских чиновников! Бедняк, неимуший, волочил бы себе свои рваные чарики и сидел смиренно. А теперь сгниет в тюрьме. Так ему и надо!..

Унсин сидела, понурившись.

Гульнар вернулась к окну, опустила рядом с ней.

— Не горюйте, Унсин. Когда брат ваш освободится, вы придёте и пристыдите потом тетю Шарафат...

Слова молодой женщины придали девушке смелости. Она подняла голову и открыто посмотрела в глаза Шарафат:

— Тетя, брат мой сидит не за то, что взял чужое или ограбил кого. Он хоть и бедняк, а унижаться не умеет. Его посадили за правду, за смелость...

— Тоже герой! — скривила губы Шарафат. — А ты хоть и киш-лачная, а порядочная хвастунья...

Надменно вскинув голову, Шарафат вышла.

Гульнар с облегчением вздохнула.

— Видали? — она взглянула на Унсин, словно хотела сказать: «Как тяжело мне жить в этом доме, среди этих людей!»

— Да, трудно, — разгадав её мысли, подтвердила Унсин.

Гульнар расстелила скатерть с угощениями, потом вышла во двор, принесла чайник чаю. Ей не хотелось ни есть, ни пить, но ради гостии она отведала то того, то другого, настойчиво угощая девушку. Унсин, однако, выпила только пиалу чая и свернула скатерть.

Взглянув через окно во двор, Гульнар подсела ближе к Унсин.

— Унсин-ай, — заговорила она тихо, — я давно думала посоветоваться с вами об одном деле...

Унсин внимательно взглянула на Гульнар. Молодая женщина продолжала:

— В наше время кто богат, того только и слушают. Знаете, если бы в то дело вмешался кто-нибудь из баев, вашего брата можно было бы легко освободить. Что, если вам повидаться с Хакимом-ака и попросить его? Расскажите ему, что Юлчи арестован из-за пустяка, что вы остались одна на чужой стороне... Может, он и сжалится над вами... Попросит русских чиновников... Я думала-думала и, кроме этого, ничего не могла придумать. Как бы там ни было, они все-таки родня вам. Хаким-байбача, видать, не такой, как его отец и младший брат. Может, и смилуется. Только... — взволнованная, Гульнар перевела дыхание, — я боюсь, не будет ли в обиде на нас Юлчи-ака, когда узнает. Он их всех не любит. Но другого выхода нет. А нам — лишь бы его освободить!.. Хаким-байбача сейчас в отъезде. Вот он приедет...

Склонив голову на руку, Унсин долго молчала. Наконец решилась:

— Ладно, Гульнар-апа, — сказала она тихо. — Пусть брат потом обижается на меня. Я скажу ему, что сама все придумала...

— Только выйдет ли что из этого? Они, кажется, сами и натравили на брата полицейских... Шакир-ата говорил...

— Натравили?! — удивилась Гульнар. — Не знаю. Может быть,

Салим-байбача? Ваш брат побил его... Слыхали, что говорит его жена?

Унсин не стала противоречить, лишь выразила сомнение, скоро ли вернется старший сын Мирзы-Каримбая.

— Хакима-байбачу я ни разу не видела. Что он за человек — не знаю. Но когда он приедет? А что, если я попрошу дядю? Он всегда ласков со мною, называет не иначе как «моя племянница». Может, только на словах. Попробую попросить его. Что вы на это скажете, Гульнар-апа?

По лицу Гульнар пробежала тень. Да, ждать Хакима долго. Но и не хотелось, чтобы Унсин обращалась к старику. Ведь именно он был главным виновником всех несчастий. Он нанес Юлчи тяжкую обиду, разлучил их. И вдруг сестра Юлчи пойдет теперь к нему с такой просьбой!

Молодая женщина ничего не ответила. Она ласково погладила девушку по голове, затем встала и тихонько вышла во двор.

Унсин подумала, что своим предложением обидела Гульнар, и теперь раскаивалась. «Хорошо, — решила она, — приедет Хаким-байбача, я попрошу его. Пусть будет так, как сказала Гульнар-апа».

Комната была сплошь устлана коврами; в больших нишах, возвышаясь чуть не до потолка, сложены атласные и шелковые одеяла, в нишах поменьше — кованые, разукрашенные цветной жестью сундуки; на полках дорогая посуда. В другое время и в другом месте вещи эти, возможно, и привлекли бы внимание Унсин. Здесь же они давили и угнетали ее.

Девушка уже собиралась уходить, но в прихожей показалась хозяйка. Молодая девушка вошла в комнату, не присаживаясь, горячо заговорила:

— Вы правы, Унсин, другого пути нет. Просите старика. Он всех в городе знает и все может сделать. Я была против, да... ладно, просите... Я уверена, брат ваш не согласился бы на это, но что поделаешь? Когда освободится, он отомстит им за все обиды. Если мне удастся повидать его, я сама скажу, что надо делать... Сегодня же и просите, Унсин. Здесь же, при мне. Старик не знает ни милости, ни жалости, а все же... Ладно, попытаемся!

...Мирза-Каримбай пришел незадолго до часа вечерней молитвы. Унсин поднялась и, почтительно сложив на груди руки, стала в сторонке. Бай снял чалму, халат, передал их жене. Потом надел на голову тюбетейку, уселся на одеяло и только после этого взглянул на Унсин:

— Ты здесь, племянница? Садись, садись...

Старик помолчал. Потом посмотрел на часы, окликнул Гульнар:

— Эй, поторопись с обедом!

Гульнар подошла к полке за посудой, глазами сделала знак девушке: «Начинайте, говорите!»

Унсин не сразу нашла нужные слова. Наконец дрожащим голосом проговорила:

— Дядя, я нарочно вас дожидалась...

— Меня? — старик поднял голову, с недоумением взглянул на

девушку.— Ты все еще там, у этого... сапожника? Брат твой сумасбродным, неразумным оказался.

— Плохой ли он, хороший ли он — он родной вам. И работал у вас сколько лет... Я одна осталась, дядя, пришла просить вас: помогите освободить брата. Вас все уважают. Русские начальники послушают вас. Не откажитесь замолвить два-три слова. Этим вы душу матери порадуете, дядюшка!

Девушка едва выговорила последние слова, ее душили рыдания. Бай минуту сидел молча.

— Брат твой глупый, сумасбродный джигит,— проворчал он.— Разве можно шутить с нашими начальниками и чиновниками! Они добра нам желают, требуют только порядка и уважения к себе. Потому — они правители, а мы подданные. Я сам перед каждым чиновником скрещиваю на груди руки. Слышишь, я — сам! А брат твой кто — голодранец...

— Юлчи-ака, видно, по молодости поступил так. Он не терпит обид. Нрав такой у него. В память матери, ради меня помогите, дядя!

Старик усмехнулся:

— Есть, племянница, старая поговорка: «Коршун хоть и хищник, но ему не сравняться с соколом». Что такое твой брат? Что он может значить здесь? В кишлаке среди своих сверстников — он храбрый, и всякие безобразия его могли оставаться безнаказанными. А здесь — большой город. Это Ташкент!.. Да тебе, племянница, и не зачем добиваться освобождения этого беспутного. Так он и не исправится. Вот посидит в тюрьме, проучат его там, он посмирнеет, как ишак муллы, образумится и когда-нибудь освободится и придет. Так что пусть посидит, племянница Унсин.

Девушка молча плакала. Гульнар, стоявшая в коридоре, не выдержала, вошла в комнату, присела на корточки около Унсин.

— Неужели вас не трогают слезы бедной сироты? — смело заговорила она.— Кто у нее есть, кроме вас? Сердце у вас тверже камня... Вы хотя бы ласково поговорили, утешили девушку...

Мирза-Каримбай побледнел. Занкаясь от злости, заорал:

— Т-ты ч-чего вмешиваешься? Д-дура!.. Кого я жалеть должен?! У него есть друзья — какой-то мошенник-кузнец. Пустомеля Шакир! Пусть они его и выручают...

Гульнар вскочила, почти крикнула:

— Вы бесчувственный человек! — и выбежала в коридор.

Вслед за ней поспешила и Унсин. На пороге она обернулась, дрожа от волнения, сказала:

— Сколько лет заставляли брата работать — ничего не заплатили ему. А теперь в тюрьме сгноить хотите! Когда-нибудь и вас бог накажет!..

За дверью девушка обняла Гульнар и горячо прошептала:

— Не горюйте, сестрица. Пройдут черные дни, увидим и мы солнышко. Я вас не забуду...

Она накинула паранджу. Чтоб во дворе никто не заметил ее слез, тут же опустила чачван и бегом пустилась к калитке.

Прошел месяц. Все это время Гульнар чувствовала себя еще более одинокой. Она сердилась на свою простоту и доверчивость, упрекала себя: «Мне ли было не знать о жестокости бая и его сыновей! Как я могла надеяться, что эти люди помогут освободить Юлчи, если они сами же засадили его и желают, чтобы он сгнил в тюрьме?! Бедная Унсин!..»

Гульнар очень хотелось повидать девушку. Но Унсин больше не показывалась. Молодая женщина понимала: у сестры Юлчи не было причины сердиться на нее, и все-таки болела душой и тосковала.

В течение всего месяца Гульнар часто чувствовала недомогание. Это послужило для нее хорошим предлогом: вместо лекарей она вызвала к себе жену Шакира-ата. Оставшись наедине со старухой, молодая женщина расспросила ее об Унсин. Таким путем она узнала, что девушка из-за постоянных нехваток вынуждена была помогать Шакиру-ата в шитье ичигов. Сердце Гульнар заныло: сестра Юлчи никогда ни одним словом не обмолвилась о своей нужде, она была горда, как и ее брат.

Когда тетушка Кумри собралась уходить, Гульнар завернула в платок отрез атласа на три платья и сунула ей под паранджу:

— Продайте на расход, бабушка. Только Унсин ничего не говорите, чтоб не обиделась.

Через неделю она снова вызвала старуху и передала ей для продажи часть своих нарядов.

Дни становились все жарче. Во дворе, со всех четырех сторон окруженном постройками, было душно. Семьи Салима и Хакима-байбачи уже переехали в поместье. Сегодня Ярмат пригнал в город арбу, чтобы перевезти дочь.

Мирза-Каримбай, уходя утром в магазин, предупредил, чтоб его не ждали,— вечером на извозчике он приедет прямо за город. В большом доме, кроме Гульнар, никого не осталось.

Готовясь к переезду, молодая женщина отложила все, что надо было взять за город; собрала лишние вещи, посуду, заперла в сундуки. Работа эта казалась ей бессмысленной, ненужной. Утомившись, она вышла из комнаты и одиноко бродила по двору ичкари.

Занятая своими печальными размышлениями, Гульнар не заметила, как вышла в мужскую половину. Ровный четырехугольник двора, расчерченный дорожками, выложенными из жженого кирпича, томился в дреме под жарким солнцем. Где-то в дупле жалобно пищали воробышата, на крыше сиротливо ворковал голубь. Высокие двери обеих михманхан заперты, окна закрыты тяжелыми ставнями.

Взгляд Гульнар упал на прижавшуюся в дальнем углу двора людскую. Тонкая тесовая дверь и сломанная рама небольшого оконца невзрачной лачуги были распахнуты. Гульнар вошла вовнутрь. На нее пахло сыростью. Стены, потолок, даже паутина в углах покрыты копотью. В помещении пусто. Только на деревянном колышке, вбитом в стену, висела старая, запыленная тубетейка.

Гульнар сняла тубетейку, выбила пыль, поднесла к окну. Тубе-

тейка Юлчи! Она несказанно обрадовалась, словно нашла самую редкостную вещь на свете. Приложила тибетейку к глазам, затем крепко прижала к губам. Сердце молодой женщины сладко заныло. Комнатка, казалось, ожила и посветлела, а в памяти, как наяву, возникло недавнее прошлое. Однажды зимним вечером... С каким страхом она тогда вошла в эту каморку! В темноте они провели всего несколько минут... Перед Гульнар как живой встал Юлчи. На мгновение ей почудилось, что она слышит могучее дыхание джигита, ощущает на губах огонь его поцелуя.

Гульнар прислонилась к стене у окошка и стояла так целый час, отдавшись воспоминаниям. Во дворе — тишина. Только время от времени слышался все тот же жалобный писк воробышат в гнезде да воркование голубя...

Вдруг молодая женщина вздрогнула — в животе у нее что-то шевельнулось, толкнуло в правый бок. Чувствуя, как закружилась голова, подкашиваются ноги, Гульнар схватилась за косяк окошка и закрыла глаза. В ее сознании, перебивая одна другую, заметались тревожные, горькие мысли: «Несчастный ребенок! Торопится появиться на свет, чтобы семенить за внуками и правнуками старого отца... Если бы ты был ребенком Юлчи, я давно бы уже поведала ему о тебе и радовалась бы, получив от любимого сунюччи. В тот день, когда ты впервые увидел бы свет, когда впервые прозвенел бы твой детский голосок, мы собрали бы в нашей хижине простых кишлачных женщин и устроили бы маленький праздник. А теперь... Вот я, твоя мать, забыла о тебе. И ты сам напомнил о своем существовании, дитя старого Мирзы-Каримбая. Дитя, которое будет младше его правнука!...»

Со стороны ичкари послышался голос Ярмата. Спрятав под мышку тибетейку, Гульнар, спотыкаясь и утирая слезы, побежала на зов.

— Где ты пропадаешь? В доме столько добра, а двери все нараспашку. Какая ты беззаботная, дочь моя! — недовольный, упрекнул Ярмат.

Гульнар промолчала. Она вошла в комнату, открыла один из сундуков и спрятала тибетейку на самое дно.

Кряхтя и обливаясь потом, Ярмат принялся грузить вещи на арбу. Он заставил дочь выносить из дома разную мелочь, помогать ему завалить на спину тяжелые тюки.

Когда все было погружено, Гульнар попросила отца позвать Унсин. Ярмат, сплюнув нас, проворчал:

— Какую Унсин?

— Не знаете разве...

— А, эту, сироту...

Ярмат неохотно направился к воротам.

Через некоторое время во двор ичкари вбежала Унсин.

— А я и не знала, что вы переезжаете, — запыхавшись, проговорила она, обнимая Гульнар. — Я бы помогла вам уложиться.

Гульнар повела девушку в комнату. Всюду — огромные, обитые жестью сундуки, ящики, стопы ковров, одеял, вороха подушек, разная посуда.

— Неужели все это повезете? — удивилась Унсин.

Гульнар улыбнулась.

— Разве столько добра поместишь на одну арбу? Отец говорит, в доме наберется самое малое полтораста арб. Вчера отвезли пять арб да сегодня вот нагрузили одну.— Молодая женщина вздохнула.— Но все это лишнее, ненужное, Унсин. Для меня дороже всего этого добра одна старая тубетейка...

Унсин не поняла последних слов, мельком взглянула на Гульнар, но спросить почему-то постеснялась. Гульнар же промолчала о находке, чтобы не беречь раны девушки.

Они присели рядышком на один из сундуков и, как бывало прежде, тихонько разговаривали. Гульнар просила сообщить ей, если будут какие вести от Юлчи или вдруг сам он выйдет на свободу. Она обещала под разными предлогами присылать в город мать, через нее и можно будет передавать новости.

Ярмат уже несколько раз звал дочь. Они обнялись. Гульнар вынула из кармана серебряное колечко с простым красным камешком, сказала, еле сдерживая слезы:

— Это мне купила мать, когда я была еще девушкой. До замужества я его постоянно носила. Возьмите... Если брат освободится, передайте ему. Пусть бережет мой подарок...

Гульнар передала кольцо девушке, еще раз обняла ее. Они накинули паранджи, спустили чачваны и вышли на улицу.

Ярмат запер на замок все двери, усадил дочь на арбу, тронул лошадь. Унсин некоторое время шла вслед, затем на углу остановилась и долго провожала их взглядом.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

I

Жаркий, безветренный день. Пестрят на солнце цветы у беседки, отливают глянцем листва деревьев в саду.

Распорядившись полить двор водой, Салим-байбача расположился на супе у хауза, в тени карагача. Под ним сложенное вчетверо шелковое одеяло, голова покоится на большой пуховой подушке в белоснежной наволочке.

День был праздничный — пятница. Хаким-байбача и Мирза-Каримбай разъехались по знакомым в гости.

Приятели Салима тоже должны были собраться у одного известного молодого купца. Компания подобралась веселая, пирушка предстояла шумная, поэтому Салим еще с утра велел заседлать для себя каракового иноходца. Но на иноходце уехал старший брат, а в коляске — сам Мирза-Каримбай. Оставался резвый, но неказистый на вид конь, и Салим-байбача был в нерешительности: то приказывал оседлать, то, негодую, снова отменял свое распоряжение — прилично ли ему показываться на таком коне среди гордых купеческих сынков...

Из калитки внутреннего двора выглянула Шарафат. Удивляясь, что муж все еще дома, она подошла к супе:

— Вы же раньше всех собирались! А вот уже и жарко стало!..

— Принеси чаю,— оборвал жену Салим, не поднимая головы.

Шарафат принесла чайник чаю, налила в пиалу, поставила перед мужем и присела на край супы. Обмахиваясь белым шелковым платком, довольная, что муж не прогоняет ее, принялась болтать: жаловалась, что в доме много хлопот, что Гульнар до крайности возгордилась, никого не признает, частоказывается больной.

— А что с ней? Она похудела — наша молодая мать,— насмешливо сказал Салим-байбача.

— Все это не больше как баловство и притворство! Ломается перед отцом. Только вчера была рабыней, а сегодня матерью всей семьи стала. Вот и доказывает нам: «Стерпите — терпите, а нет — широкая вам улица!» Это не вслух, а про себя, на сердце.— Шарафат перевела дух, оглянувшись кругом и продолжала, понизив голос: — Правда, некоторые женщины, когда понесут, слабеют, голова у них кружится... Только какая же это болезнь! А Гульнар не успела забеременеть — каприз за капризом...

— Что ты говоришь? — встрепенувшись, поднял голову Салим-байбача.

Шарафат усмехнулась, чиркнула пальцами по животу, будто на домбре сыграла.

Салим уставился на жену:

— Правда?

— А зачем мне врать? Я давно заметила. Да сейчас она и сама не скрывает. Как скроешь, когда живот вспух!

Салим побледнел, сердито отодвинул пиалу, откинулся на подушку.

Шарафат встала.

— Подождите,— усмехнулась она.— Это только первая ласточка. Скоро эта змея окружит нас целым выводком братьев и сестреноч...

Довольная, что угодила своим разговором мужу, Шарафат, уверенно ступая толстыми ногами, направилась в ичкари.

Салима-байбачу всего корежило, как после укуса змеи. То, что с первых дней женитьбы отца угнетало его только как предчувствие надвигающейся опасности, теперь стало неотвратимой реальностью.

Уставившись неподвижным взглядом на ясное голубоватое зеркало хауза, Салим-байбача думал: «Кто такая Гульнар? А я поссорился из-за нее с отцом. Мучился страхом, когда выкрадывал. Потом, чтобы все прикрыть, задаривал. Зятю одному дал пять тысяч! Да эликбаши — две. Эти шакалы, конечно, и дальше не оставят меня в покое. Недавно зять снова намекнул, что нуждается в порядочной сумме. И я должен молчать, терпеть... Эта Гульнар стала подпилком, который рано или поздно подточит мою жизнь. Гордится, что стала во главе семьи Мирзы-Каримбая, ни с кем не разговаривает. А родит — начнет прибирать к рукам богатство... Это не женщина, а шайтан! Первую каплю ее хитрости и коварства мы уже попробовали. Остальное придется испытать, когда родится ее первенец! Молодая красивая

жена так закружит голову отцу, что мы, как мыши, удирающие от кота, будем метаться, не находя норы, где бы спрятаться».

Тяжело громыхнув, раскрылись большие ворота. Во двор, ведя в поводу коня, запряженного в новенькую рессорную тачанку, вошел Фазлиддин. С тачанки, подобрав полы бархатной паранджи, осторожно сошла Нури.

Салим-байбача поспешил навстречу гостям. Справился о здоровье сестры, пожал руку зятю. Нури тонким шелковым платочком отерла пот с располневшего румяного лица, отряхнула от пыли паранджу. Потом обнимая и целуя выбежавших ребят, скрылась в ичкарни. Фазлиддин распряг лошадь, привязал ее к дереву, затем снял шелковый халат, встряхнул его и, следуя за Салимом, прошел на супу.

Они разговорились. Фазлиддин сказал, что Нури останется здесь, погостит несколько дней. А сам он завернул по пути — едет посмотреть сад, который они с братом намерены купить.

Салим-байбача удивился:

— Какой это глупец надумал продавать усадьбу, когда уже начали поспевать фрукты и засеяны поля?!

— Нужда, — пояснил Фазлиддин. — Один бедняк из нашего квартала был должен нам что-то около трехсот рублей. Несколько лет не платил. Мы тоже не очень настаивали. Этой весной он умер. За хозяина остался паренек один — совсем еще мальчишка, а остальные и совсем мелюзга. Вчера брат Абдулла поймал его, прижал крепче. Когда подсчитали, то оказалось, что долгу с процентами набегало ровно восемьсот рублей...

— Темный народ! — вставил Салим. — Дождался, когда за рубль три пришлось платить! Не знают, что деньги родят и родят молча, без стонов, без детского крика. Эх, беспечные люди!..

— Народ наш действительно беззаботный, — рассудительно заметил Фазлиддин, с аппетитом поедая виноград. — Многие запутываются в долгах. Ходит себе — тубетейка набекрень и сам не заметит, как по горло увязнет. Накинешь ему на шею петлю, потянешь, а он и ткнулся носом в землю. Нитка, зацепившая за ногу, обернется арканом, а тоненькая проволочка — толстой цепью, и считай — пришла гибель... Мальчишка тот растерялся. Восемьсот рублей долга для нас с вами не деньги. А для человека, у которого и медного гроша нет в кармане, они так же страшны, как для грешника волосяной мост в аду. «Поезжайте, — говорит этот паренек, — посмотрите. Если подойдет, возьмите мой сад». Нам не очень нужен этот клочок земли. И брат не торопился с истребованием долга. У них ведь и в городе есть усадьба с домом, и на хорошем месте. Да мешают одна заавыка: этого джигита могут скоро забрать на тыловые работы. А оттуда когда он вернется, да и вернется ли, кто его знает?.. По этой причине и пришлось поторопиться.

— Если сад хороший, конечно, лучше взять, — посоветовал Салим-байбача. — Да, царский указ принес немало хлопот.

— В народе суматоха пошла. Куда ни пойдешь, везде только и разговору, что о мобилизации на тыловые работы. Среди дехкан и ремесленников беспокойно. Оно и понятно — пойдут ведь их сыновья...

В указе говорится о тыловых работах, а по-моему, Салим-ака, это только для отвода глаз. Заберут джигитов и прямо под пули погонят. Вот посмотрите потом.

— Не знаю, твердо не могу сказать, что именно будет,— немного подумав, заговорил Салим-байбача.— Но подчиняться указу надо. Заставят ли наших людей рыть окопы или дадут винтовки и погонят их в сечу — это во власти белого царя. Мусульмане Туркестана уже столько лет спокойно живут под его защитой, и теперь будет неблагоприятно уклоняться от долга. Если в такое тяжелое время мусульмане проявят преданность и протянут правительству руку помощи, то последствия для нас могут быть самые благоприятные. Когда враг будет побежден, баи Туркестана предстанут перед властью с чистым сердцем и ясным лицом. И вполне возможно, царь расширит наши права. Но прежде надо оказать властям помощь. Это наша первейшая обязанность.

— Вы, оказывается, сторонник выполнения указа, Салим-ака. А по-моему,— нерешительно заявил Фазлиддин,— все же следовало бы малость выждать, прежде обдумать хорошенько, обсудить...

Салим возразил:

— Дело ясное, сколько ни думай. К тому же это не только мое мнение. Третьего дня на этом самом месте был совет. Собрались до двадцати человек — все уважаемые люди: почтенные друзья брата Хакима, затем улемы, джадиды. Совещались до полуночи. Обсудили со всех сторон. Под конец все сошлись на тех мыслях, какие я сейчас высказал. Теперь остается только дружно призвать народ к беспрекословному выполнению указа.

— Брат Абдулла такого же мнения,— сказал Фазлиддин.— А для меня все равно, Салим-ака. Я с теми, кто возьмет верх. Лишь бы не задевали веру ислама да не препятствовали торговле — и довольно. А больше — что нам еще надо? Торговля ведет народ к благоденствию, вера же ислама наставляет людей на истинный путь...

Солнце скрылось за дальними тополями. Небосвод вспыхнул золотым пламенем. Тополя пылали в самом центре зарева. Но воздух оставался неподвижным. Было душно.

Фазлиддин-байбача, увлекшись разговором, съел много жирных пирожков с мясом, поэтому пельменей ел мало, но зато выпил несколько пиал густо заваренного чая. Утолив жажду, он пошел запрягать лошадь. Салим-байбача изъявил желание проехаться вместе с зятем.

По переулку они ехали медленно, чтобы не поднимать пыли. Перед самым выездом на большую дорогу навстречу им попался сосед Салима — небогатый дехканин Абдухалык-ака. Старик сошел на обочину дороги и поднял руку, прося байбачей остановиться.

— Ну, что скажете? — крикнул Салим, когда коляска остановилась.

Абдухалык подбежал, вытирая с лица пыль и пот.

— Я только что из города, байбача,— невозможная одышка, взволнованно заговорил он.— Моего сына Абдусамата ни за что ни про что в солдаты записали.

— Кто записал? — спросил Салим, избегая встречаться взглядом со стариком.

— Старшие нашего квартала... Прямо ошеломили меня. У меня один-единственный сын, как зрачок в глазу! — Абдухалык с мольбой смотрел то на Салима, то на Фазлиддина. — Как я буду жить без него? Вы люди знающие, умеете отличать черное от белого, научите меня, что мне делать? Салимджан, свет мой, вся надежда на вас...

— Отец, — холодно заговорил Салим, — пир этот для всех, ваш Абдусамат не один идет. Поработает он несколько месяцев и вернется. Дальние края посмотрит. А ваше дело молиться за него и ждать. Что я могу сделать? Все мы подданные белого царя, и надо беспрекословно выполнять его волю.

— Пир для всех, говорите? — усмехнулся старик. — Бэ!.. В нашем квартале есть люди — по три, по пять сыновей имеют. И джигиты все здоровенные, как львы. А их никто не тревожит. Нет, тут что-то не так. Несправедливость обижает меня. Таращат глаза на тех, кто за себя постоять не может. Если бы смотрели, не разбирая, бая ли это сын или бедняка, муллы ли, ишана или другого кого, думаю, что не забрали бы моего Абдусамата. Он же и ростом-то с воробья...

В разговор вмешался Фазлиддин. Наклонившись к старику, он мягко сказал:

— Отец, у вас седые волосы. А старые люди говорят: что знает седебородый, не знает и пери. Надо же понимать — на руке пять пальцев, и все они не одинаковы. Так же и с людьми. Какое вам дело до других? Думайте о себе. Если все станут цепляться за полы сыновей, кто тогда на тыловые работы пойдет.

Абдухалык растерялся. Он хотел что-то возразить, но Салим-байбача, незаметно толкнув зятя, шепнул:

— Погоняйте!

Тачанка тронулась и с веселым перестуком колес покатила, оставляя позади себя облако пыли.

Они разыскали сад, остановились у калитки, сплетенной из таловых прутьев. Навстречу им вышел застенчивый юноша, оказавшийся хозяином сада. Он провел прибывших на участок, присел на пенек и невесело опустил голову.

Салим и Фазлиддин медленно пошли по саду, будто прогуливались в городском парке. Солнце зашло, но было еще светло. Участок понемногу заливало вечернее безмолвие. Тихо покачивались верхушки деревьев.

В саду было восемь длинных рядов виноградника. Дуги подпорок были прочные, лозы аккуратно подвязаны, гряды прополоты. Урожай зрел обильный. Виноградных кистей было больше, чем листьев. Салим-байбача прошел от начала до конца два ряда, Фазлиддин же похозяйски обошел весь виноградник, даже запомнил, сколько в нем сортов винограда. Потом они осмотрели огород: грядки кукурузы, моркови, лука. По краям, вокруг всего участка, росли фруктовые деревья: яблони, персики, груши, алыча, джида — всего по счету Салима-байбачи шестьдесят три, а по счету Фазлиддина — семьдесят корней. Весь участок был окружен, правда, низким и старым, но еще вполне прочным

дувалом. Площадь участка Салим-байбача определил в три с половиной танапа, а Фазлиддин — в три. Салим уверял зятя:

— Сад стоит десять танапов. Все здесь готово. Хозяин приготовил плов, вам только кушать осталось, Фазлиддин!

Обменявшись мнениями, Фазлиддин и Салим подошли к юноше. Около него, удивленно и тревожно поглядывая на незваных гостей, стояли очень схожие с ним два мальчика лет десяти и лет двенадцати — видимо, младшие братья. Юноша сделал им знак уйти.

— Сад неплохой, но и не из таких, чтобы можно было позавидовать, не так ли, Салим-ака? — Фазлиддин мельком взглянул на Салима и продолжал, уже обращаясь к хозяину: — Но что поделаешь! Надо как-то помочь вам разделаться с долгом. По нынешнему времени найти денег труднее, чем повстречаться со смертью. Если бы мы потребовали наличными, это было бы непосильно для вас. Придется взять сад. Завтра приезжайте в город, там переговорите с моим братом и покончите с делом. Хорошо?

— Ты разумный джигит, стараешься покрыть долг отца, — похвалил юношу Салим. — Это хорошо с твоей стороны. И душа отца будет спокойна, и сам ты среди товарищей будешь ходить петухом. Долг пригибает голову человека к земле.

Юноша медленно встал с пенька. Не поднимая глаз, дрогнувшим голосом сказал:

— Мы жили этим садом. Приезжали сюда, как только сходил снег, и трудились до глубокой осени всей семьей как муравьи. Много труда вложили. — Юноша вздохнул и еще ниже опустил голову. — Что только будет с матерью?.. Она еще не знает...

— Сад твой мы не насильно берем, братец! — с укором, переходя на «ты», сказал Фазлиддин. — Отсчитай восемьсот рублей, и делу конец. Сад у тебя останется, и мать не будет огорчена...

Юноша минуту-две стоял молча, ковыряя носком сапога землю. Наконец поднял голову.

— Урожай этого года должен остаться нам. Мы его своим трудом вырастили. Земля пусть будет ваша, только нас до осени отсюда не трогайте. На этом условии — ладно, я согласен. Лишь бы избавиться от угроз вашего брата Абдуллы...

— Я же сказал, — резко оборвал юношу Фазлиддин, — завтра приедешь в город, и там обо всем условимся. Урожай, говоришь... Раз земля отходит нам, значит, и урожай наш. Все, что здесь выросло, выросло из земли. Впрочем, поговоришь с братом...

В разговор вмешался Салим.

— Нет, Фазлиддин, — заявил он с видом знающего человека. — Урожай с огорода должен остаться этому юноше. Кукуруза, морковь, еще что там есть? Да, да. Все принадлежит ему. А что касается фруктов — они должны быть все ваши, Фазлиддин. Ну, в крайнем случае, если окажете снисхождение, фрукты можно поделить пополам...

— Да, мы еще не видели двора, — вспомнил Фазлиддин.

Юноша пояснил:

— Во дворе — дом, терраса и маленькая хибарка. Все старое, но еще крепкое...

— Хорошо. Не буду смотреть, верю тебе на слово.

Юноша не пошел провожать за калитку. В сумерках наступающего вечера он скрылся среди деревьев. Может быть, ему хотелось скорее остаться одному, чтобы без свидетелей смягчить слезами обиду и горечь предстоящей утраты.

Фазлиддин сел в коляску, попрощался с шурином и отправился в город. Салим тропинкой пошел напрямик к своему поместью.

II

По земле разлилась прохлада. Между кроной карагача и вершинами двух яблонь, склонившихся над хаузом, ярко сияли звезды. Тишину ясного летнего вечера подчеркивал негромкий стрекот сверчков.

Салим-байбача расположился на супе, придвинув лампу, просматривал мусульманскую газету, оставленную кем-то из участников недавнего совещания по поводу царского указа.

Легкие ночные бабочки носились вокруг лампы, ударялись о горячее стекло, трепетали нежными крылышками, теряя пыльцу, падали на ковер и застывали неподвижно.

Со стороны калитки ичкари послышалась скрип капишей. Байбача обернулся — из темноты показалась Нури.

Салим подобрал ноги:

— Садись, Нури-ай.

— Что вы здесь прячетесь? Хотя бы ради моего приезда в ичкари посидели. Жметесь тут один, втихомолку...

Нури присела около брата.

— Ты ведь не одна,— усмехнулся Салим.— Там мать твоя Гульнар...

Достаточно было одного упоминания о Гульнар, чтобы Нури, как всегда, загорелась гневом.

— И-ых! — выдохнула она со злостью и отвернулась.

Помолчав минуту, Нури принялась за обычные свои жалобы. То повышая в гневе голос, то по знаку Салима понижая его до шепота и со злостью хлопая себя по коленям, она говорила:

— Всею виной вы и Хаким-ака! Если бы вы тогда покрепче уперлись, отец не женился бы на Гульнар. Бесхарактерные вы оба! Даже имущество не сумели взять в свои руки. Вот и радуйтесь: теперь над вами рабыня верховодит... Чудно! Большой прикидывается. Все это ложь! Все это притворство и зазнайство — не больше... Ух! Я еще не видела такой ловкачки!.. А она довольна, радуется. Да и чего ей горевать? Сразу же родить собралась, собака! Слыхали? Теперь всю отцовскую казну приборет к рукам...

— Вся вина на отце,— глухо возразил Салим-байбача.

— Об отце и не говорите. Можно б было — и не глядела бы на него! Только из-за вас приезжаю сюда.

Салим зло рассмеялся:

— Сорок иголок, которыми ты колдовала, не помогли, видно!

— Чего только я не перепробовала! От Гульнар, похоже, все несчастья бегут.

Из темноты загудел и камнем ударился о лампу жук. Отпрянув, он упал на грудь Нури, крупным яхонтом заблестел на белом шелке платья. Нури испуганно вздрогнула, резким движением руки сорвала жука, швырнула его в темноту.

— Ух, боюсь я всех этих жуков-козявок!..

Салим зевнул и опустился на подушку. В голове байбачи промелькнула мысль: «А неплохо было бы еще больше разжечь Нури против мачехи».

Нури наклонилась к брату, таинственно прошептала:

— Салим-ака, прочтите вот это...

— Что прочитать? — Салим приоткрыл глаза.

Нури развернула узелок на конце платка, протянула брату сложенный листок бумаги.

— Нашла у Гульнар в сундуке. Что за письмо, думаю...

«Не бросила еще старой привычки шарить везде, — ухмыляясь, подумал Салим. — Раньше по сундукам снох лазила, теперь к мачехе заглядывает».

Однако при первом же взгляде на письмо лицо байбачи стало серьезным.

— Читайте вслух.

Нури еще ближе наклонилась к брату. Но Салим-байбача промолчал и продолжал читать про себя. Вот что было в письме:

«Зрачок глаза моего, бедный друг мой Юлчибай!

Судьба моя, видно, чернее темной ночи. Ах, лучше бы мне не родиться, лучше бы не видеть вас. В тот день, когда я ждала вас в камерке Шакасыма-ака и надеялась скоро улететь с вами в кишлак, будто несчастье, нагрязнул отец мой с эликбаши. Они силой утащили меня домой. Бессильно перо описать, бессилена рассказать язык все то, что мне пришлось перенести. Вот уже месяц и десять дней, как я горю в огне разлуки. Нет у меня крыльев, чтоб улететь из байской темницы к вам, нет здесь ни одной доброй души, чтоб помочь мне. Вы были единственным моим другом, моим солнцем, но злая судьба нас разлучила. Недавно я лишилась и Унсин. Когда узнала, что она уходит, мне стало еще тяжелее. Хотелось умолять, просить, чтобы она осталась, но я не могла идти против желания девушки и вашего, да и тяжело мне было видеть, как женщины этого дома мучают ее непосильной работой. Ладно, пусть Унсин-ай будет с вами. Одинока я и несчастна, но сердце мое, думы мои с вами. День и ночь только и живу воспоминаниями о вас, мой друг, мой батыр. Знаю, сердце ваше также заливают река печали. И единственное мое желание — хоть раз повидаться с вами, перемолвиться хоть парой слов. Если вы не забыли своего несчастного друга, то, прочитав это письмо, пришлите через Унсин-ай весточку, утешьте мое-больное сердце. Привет вам от вашей Гульнар. Привет вам, Юлчи-ака, и от пишущей это письмо девушки с глазами, полными слез, и стонущим сердцем...»

Это письмо действительно было написано по просьбе Гульнар. Однажды к ней пришла подруга детства — Зайнаб, девушка грамотная. Гульнар посвятила подругу в тайну своей любви к Юлчи.

В сердце Зайнаб тоже была незажившая рана. Незадолго до дня

свадьбы, проболев всего несколько дней, умер ее горячо любимый жених. Отец Зайнаб уже получил за нее калым и теперь, по обычаю, должен был выдать дочь за младшего брата умершего — за худосочного, кривоногого подростка.

Посоветовавшись с подругой, Гульнар решила послать Юлчи письмо. Зайнаб написала его под диктовку молодой женщины. Но пока Гульнар придумывала, как передать письмо, Юлчи был арестован.

Сегодня Нури зашла в комнату Гульнар, увидела в замочной скважине одной из шкатулок забытый ключ и решила посмотреть, не подарил ли отец Гульнар что-нибудь тайно от семьи. Здесь она и нашла злополучный листок.

Салим-байбача бережно сложил письмо:

— Как попала тебе в руки эта штука? Очень интересное письмо! Если бы ты нашла кувшин с золотом, и то я не обрадовался бы так.

— Вы сначала расскажите, что интересного в нем, кто писал, кому? — нетерпеливо спросила Нури.

— Так пишут только развратные женщины — вот тебе и весь смысл письма... — Салим-байбача крепко жажал в руке листок, серьезно продолжал: — С этим я многое сумею сделать. Эта бумажка послужит мне хорошей защитой, она и преступление обратит в доброе дело. А может, и больше... Вот увидишь!

Слова Салима еще больше разожгли любопытство Нури. Она настойчиво просила брата прочесть ей письмо, на все лады клялась, что никому ничего не скажет. Но в это время возвратился из гостей Мирза-Каримбай. Старик направился прямо к супе, и разговор пришлось прервать.

Нури встала, холодно поздоровалась с отцом. Бай опустил на супу и, облокотившись на подушку, предложенную Салимом, ласково заговорил с дочерью. Нури вынуждена была присесть, но держалась отчужденно и отвечала неохотно.

Салим-байбача, боясь выдать свою радость, поднялся, отошел в сторону и стал прогуливаться по двору.

Теперь для него все было ясно. Гульнар любит Юлчи. Он же, наверное, и освободил ее от Караахмада. В свое время Салим пытался узнать имя джигита, выручившего Гульнар, с тем чтобы избаловать девушку в безнравственности. Но тогда он вынужден был отказаться от этого намерения: побоялся, что джигит и Гульнар смогут объяснить освобождение какой-нибудь случайностью, а он будет разоблачен как участник похищения. Теперь же — о, теперь другое дело! Во-первых, Юлчи в тюрьме. Во-вторых, и это самое главное, — у него в руках обличительное письмо. Теперь за старое нечего бояться. Сейчас он может смело сказать: «Я знал давно о безнравственности Гульнар и вынужден был так поступить потому, что считал развратную девушку не парой отцу!..»

III

На следующий день, возвратившись из города, Салим-байбача расположился на террасе во внутреннем дворе. Двор загородного поместья Мирзы-Каримбая окружали три дома: в одном из них, с тер-

расой, построенном на городской манер, жил Салим; второй, такой же, занимал Хаким-байбача; в третьем, старинной постройки, с новой беседкой на крыше, помещался сам Мирза-Каримбай.

Во дворе было тихо. Нури с женой Хакима, Турсуной, вышли в сад прогуляться по холодку. Старших детей тоже не видно. Маленькие спали в люльках, подвешенных к деревьям.

Шарафат принесла мужу большую чашку жирной мясной шурпы, обильно заправленной луком. Салим-байбача справился об отце. Шарафат сказала, что старик недавно куда-то отлучился, затем спросила мужа, не нужно ли ему еще чего, и тоже ушла в сад посплетничать с Нури.

Салим сходил в дом, принес бутылку коньяка, припрятанную за посудой в нише, с аппетитом закусывая жирными кусками бараньего мяса, наполовину выпил ее, пока ужинал. В голове байбачи зашумело, ему стало жарко. Он поднялся и стал прохаживаться по двору, обмахиваясь платком и часто поглядывая в сторону дома, в котором жил отец.

Вчерашней ночью Салим долго размышлял над тем, как воспользоваться письмом Гульнар. Вначале байбача радовался, полагая, что клочок бумаги, случайно оказавшийся в его руках, поможет ему сразу избавиться от всех бед, и в первую очередь от мачехи и будущих сонаследников. Однако, пораздумав более основательно, он пришел к выводу, что письмо, правда, даст ему возможность положить конец вымогательствам зятя и эликбаша, но использовать его против Гульнар будет рискованно: отец из соображений престижа едва ли решится поднимать шум, а может и просто не поверить, и тогда для него, Салима, уже не будет иного выхода, как уйти из дома.

Днем Салим-байбача случайно проходил по рядам, где торговали аптекарскими товарами. Внимание его привлек седобородый старик, сидевший в темной лавчонке, обложенной большими и малыми мешочками и сумочками со всякими снадобьями и зельем.

Еще не зная, когда и для чего он может ему пригодиться, Салим купил у старика яд. Но, как только пакетик оказался у него в руках, мысль о преступлении возникла в сознании байбача как-то сама собой и с тех пор уже ни на минуту не давала ему покоя.

В калитке показалась Гульсум с чашкой хорди — рисового супа, приготовленного для больной дочери. Она заглянула в комнату Гульнар. Потом поднялась в беседку. Оставила там чашку, сошла вниз; взяла подойник и отправилась к хлеву.

«Вот удобный случай!..» — решил захмелевший Салим. Он еще раз взглянул на отцовскую беседку, убедившись, что там никого нет, быстро поднялся наверх. Вынул из внутреннего кармана бумажный пакетик, дрожащими руками высыпал его содержимое в миску, торопливо размешал ложкой и помчался по лестнице вниз.

Навстречу ему шла с охапкой белья Гульнар. Она посторонилась.

— Где отец? — в замешательстве спросил Салим.

— Он в отлучке, — ответила Гульнар, не оборачиваясь.

Возвратившись к себе на террасу, Салим допил остатки коньяка.

Помутневшие глаза байбачи невольно тянулись к беседке. Он дрожал как в ознобе. Но это были не мучения совести, а боязнь разоблачения.

Салим бросился в калитку, засновал взад-вперед по двору ташкары. «А вдруг я поторопился? Может быть, надо было выждать более удобного случая?»

Байбача каждую минуту ожидал беды. Однако в ичкари по-прежнему было тихо и спокойно.

От конюшни, через двор, прошел Хаким-байбача.

Ожидание становилось невыносимым. Салим махнул рукой: «Э, будь что будет!..» — отвязал еще потного каракового иноходца и через минуту, опережая поднявшуюся в узком переулке пыль, выехал на большую дорогу.

...Гульнар поднялась в беседку, сложила белье и устало опустилась на разостланное поверх ковра одеяло. Увидев принесенный матерью суп, по ее вкусу обильно заправленный кислым молоком, она отставила чашку в сторону, так как любила хорди остывшим. Потом подошла к перилам открытой с двух сторон беседки и долго смотрела вдаль.

Солнце зашло, но пылающее море заката, меняя краски — от золотисто-оранжевой до кроваво-красной у самого горизонта, — еще колыхалось на небосклоне. Уже нельзя было разглядеть дувалов, разделявших усадьбы. Сады, виноградники и поля сливались в сплошную, уходящую в бесконечность темно-сизую пелену. Над усадьбами кое-где поднимались струйки дыма. Они вытягивались, становились похожими на прозрачные синеватые облачка и медленно-медленно таяли в воздухе. Вон налево за клубился еще дымок над чьим-то шалашом. А направо, в конце участка Мирзы-Қаримбая, застыл недвижим стройный ряд высоких прямых тополей с остроконечными верхушками. Под ними однажды слушали нежный шепот тополевых листьев, купавшихся в серебристом лунном свете. Сердца их были тогда переполнены радостью свиданья, цветы их желаний и надежд пышно распускались и тянулись ввысь, и им хотелось целовать звезды от счастья! А теперь?.. Теперь те цветы крепко обвил дикий вереск и увядшие лепестки их осыпались на почерневшее сердце...

Темнота, как и печаль Гульнар, все больше сгущалась. Кое-где уже вспыхивали искры звезд. Снизу, со двора, доносился смех женщин и детей. Затем послышался строгий окрик Хакима-байбачи, — он приказывал, чтоб поставили самовар.

Невестки, лишённые теперь возможности взваливать на Гульнар, как прежде, самую тяжелую работу, называли ее за глаза «гордячка» и «притворщица». На самом же деле Гульнар, насколько хватало сил, помогала по дому. Вот и сейчас ноги молодой женщины дрожали от слабости, но она спустилась вниз и принялась ставить самовар.

Вся семья собралась на одной террасе. Гульнар сполоснула и вытерла пиалы, принесла самовар, начала разливать чай. Она не любила встречаться с домашними, но по обычаю вынуждена была выходить к общему столу.

Попили чай. Ребята кто дремал сидя, кто, растянувшись, уже спал.

Невестки ушли готовить постели. Собрав дастархан и посуду, Гульнар поднялась к себе. Зажгла лампу, долго сидела неподвижно.

Внизу, во дворе, — тишина. Мирза-Каримбай не вернулся. Молодая женщина была рада, что старик задержался, и пожалела, что не оставила на ночь мать. Сейчас звать было уже поздно.

Она постелила постель. Перед тем как лечь, вспомнила об остывшей еде. В течение дня, кроме утреннего чая, в доме готовили два раза, но молодая женщина сегодня ни к чему не притронулась. К тому же не хотелось обидеть мать. Гульнар взяла чашку с супом, принялась есть большой деревянной ложкой. Не съев, однако, и половины, она почувствовала резь в желудке. Отодвинула чашку, задула лампу и тяжело опустилась на подушку.

Немного погода у Гульнар закружилась голова, и звезды, казалось, еле мерцали, точно сквозь пелену тумана. А желудок будто рвал кто безжалостно и жевал, причиняя страшную боль.

«Что со мной? — испугалась Гульнар. — Никогда такого не было! От беременности, что ли? Нет, это что-то другое!..»

Молодая женщина, опираясь на локти, наклонилась через перила беседки в сторону сада. Ее тошнило, душили непрерывные спазмы, казалось, все внутренности подступили к горлу. Ноги подкашивались, по телу пробегали судороги. Она опустилась на ковер и ползком кое-как добралась до постели. А во дворе — ни звука.

«Если позвать кого, потом будут смеяться», — подумала Гульнар. Но с каждой минутой ей становилось все хуже, от боли уже захватывало дыхание. Она не вытерпела и закричала:

— Мать! Позовите мать!

Через некоторое время наверх с лампой поднялась Турсуной.

— Что, испугались? Можно ли в полночь тревожить всех только из-за того, что остались одна? — ворчливо заговорила невестка, но, приблизив к лицу Гульнар лампу, вдруг испуганно вскричала: — Ой, что с вами? Вы корчитесь вся... Скорпион укусил?

Гульнар не ответила.

— Сейчас разбуду Хакима-ака, он позовет тетушку Гульсум! — заторопилась Турсуной и, оставив лампу, побежала вниз.

Пришли Хаким-байбача, Гульсум-биби, Нури. Но Гульнар уже была без памяти.

— Доченька, что болит у тебя? Взгляни на меня, цветок мой! — запрочитала Гульсум-биби.

Услышав родной голос, молодая женщина медленно открыла глаза, показала слабой рукой на чашку:

— Поела — и... худо мне стало...

У нее снова появились корчи, лицо и губы посинели, глаза наполнились ужасом.

— Яд! — вдруг вскрикнула Гульсум-биби... — Кто же отравил тебя, стрела молнии ему в голову?.. Ах, я несчастная! Это яд, яд!.. — кричала она не своим голосом.

Хаким-байбача рванул Гульсум за плечо, выкатив глаза, заорал:

— Замолчи, бессовестная тварь! Кому нужно ее травить? Чтоб я не слышал этого больше! Всякая болезнь от бога! А она — яд!.. — Хаким

пристально посмотрел на помертвевшую Гульнар, потом хмуро взглянул на Нури.— Сейчас пошлю Ярмата-ака за табибом.

Байбача спустился вниз. Вслед за ним побежала и Нури. Она с первого взгляда поняла, что Гульнар отравлена, и догадалась, что сделал это Салим.

«Зачем он так поторопился? — досадовала Нури.— Почему не поручил мне? Я так бы все обделала, что никакой табиб не догадался бы».

— Воды... Воды!..— Гульнар хваталась за грудь, за горло, металась в постели.

Турсун побегала за водой. Гульсум осталась у дочери, растерянная и беспомощная.

Гульнар, превозмогая позывы к рвоте, через силу проговорила:

— Это яд... Салим подсыпал. Где он? Кроме него, сюда никто не входил...

— Ты видела? Он был здесь! — дико закричала Гульсум-биби, прижимая дочь.

— Да... Жизнь моя и без того была отравлена. Теперь избавлюсь... Он в тюрьме... Я умираю... не пришлось увидеть... Так и осталось неисполненным мое желание. Айи... Прощайте, айи...

Гульнар затихла.

Гульсум-биби вдруг вспомнила об одном средстве: когда-то она слышала, что от яда помогает овечий помет. Его надо истолочь, развести в воде и поить больную, процедив через тряпку. Она не сбежала, а скатилась по лестнице во двор. Прихрамывая, побежала к хлеву. Набрала в темноте горсть помета, высыпала в чашку с водой и, на бегу разминая его, бросилась наверх.

У изголовья больной с чашкой воды в руке стояла растерянная Турсун. Старуха метнулась к постели и вскрикнула: в полуоткрытых глазах Гульнар уже погасла жизнь. Гульсум прижала к груди дочери сморщенную, худую руку. Потом отшатнулась и, подкошенная, свалилась на пол. Вопль ее потряс тишину ночи...

IV

На седьмой день, как положено обычаем, по Гульнар справили поминки. Наутро Ярмат и Гульсум сходили на могилу дочери. Передав могильщику плов, лепешки и деньги на свечи, они прошли к свежему холмику, насыпанному под большим тутовым деревом на краю кладбища. Обнимая могилу и прижимаясь к земле мокрыми щеками, они долго плакали. Наконец, обессиленные от слез, возвратились под навес.

Было решено, что Гульсум-биби уедет к себе на родину. Получилось это неожиданно. К ним случайно зашел самаркандский родственник, сын старшей сестры Гульсум. Простой кишлачный парень этот высказал им искреннее участие и нашел, что сейчас самое лучшее — это отправить убитую горем тетюшку к его матери. Гульсум была против отъезда. Она говорила, что сначала проведет все положенные обряды, а потом готова отправиться хоть в могилу. Но, в конце концов уступив настояниям мужа, вынуждена была согласиться.

Ярмат пересчитал деньги, которые по копейке, по пятаку в течение десятка лет собирал «про черный день». Оказалось около ста сорока рублей. Деньги он вручил племяннику на расходы.

К хозяевам Ярмат не пошел. В эти дни он не мог и не желал никого из них видеть. Он вообще стал неузнаваем. Рачительный слуга и преданный раб Мирзы-Каримбая, верно служивший ему почти двадцать лет, теперь он ни за что не хотел браться. Целые дни проводил в угрюмом молчании где-нибудь в дальнем углу двора или у себя под навесом, словно вынашивал какую-то тяжелую думу.

В доме бая к смерти Гульнар отнеслись холодно. Все решительно отвергали возможность злого умысла, ссылаясь на волю судьбы. Однажды Мирза-Каримбай сам заговорил об этом с Ярматом. Пришел под навес и сказал, словно о чем-то предупреждая:

— Гульнар умерла своей смертью. А со смерти какой может быть спрос? Я сам очень горюю. Но подозревать здесь что-либо нечистое — нехорошо. За это и ответить можно.

Ярмат промолчал, но так взглянул на хозяина, что тот невольно попятился.

После отъезда Гульсум-биби Ярмат почувствовал себя еще более одиноким и несчастным. Терзаясь горем и раскаянием, он как безумный целыми днями бродил по тем местам, где в рабском труде поседела его голова, где он закопал в землю не только лучшие годы своей жизни, но и единственную дочь.

Как-то вечером он зашел на байский двор. У больших ворот стоял запряженный фаэтон. На козлах, в ожидании кого-то из хозяев, неподвижно застыл недавно нанятый кучер Игамберды. Ярмат спросил:

— Куда собрался?

— Салим-ака в Скобелев, кажется, уезжает. Надо отвезти на вокзал.

Ярмат посмотрел на кучера, на мягкое сиденье фаэтона, помолчал минуту, как бы раздумывая над чем-то, и неожиданно предложил:

— Ты займись чем-нибудь другим. Я сам отвезу. Кстати, и дело у меня есть на вокзале.

Старик уселся на место кучера.

Немного погодя с чемоданом в руке из ичкари вышел Салим. Прежде чем сесть в фаэтон, байбача закурил и при свете спички увидел Ярмата.

— А, старина! Не утерпел, самому захотелось проводить? — заговорил он, явно заискивая. — Вам бы надо еще на покое побыть — трудно перенести такое горе... Ну ладно, раз решили, погоняйте быстрее, опоздать могу.

Колеса неслышно катили по мягкой пыли дороги. Салим-байбача был в хорошем настроении, говорил без умолку. Он рассказал, что пробудет в Скобелеве недели две, потом поедет в Петербург, а после окончания войны обязательно отправится путешествовать за границу. Он расчувствовался, даже посоветовал Ярмату написать письмо Гульсум-биби в Самарканд, чтобы она не задерживалась там и возвращалась поскорее.

Ярмат молчал. Возле глубокого обрывистого оврага, подходившего почти к самой дороге, он неожиданно остановил лошадь.

— Потерялось что-нибудь? — спросил Салим-байбача.

Ярмат не ответил. Он соскочил с козел, нагнулся, будто искал что на дороге, и когда приблизился к Салиму, прохрипел страшным, чужим голосом:

— Ты, видно, меня старым ишаком считаешь, сын собаки? Если смел, покажи свою силу. Вот тебе! — Он с размаху ударил Салима ножом в грудь и снова прохрипел: — Ты отравил мне сердце, а я твою искромсаю!

Острый нож еще раз по рукоятку вошел в грудь Салима. Байбача сгорбился и застыл без движения. Конь, почуяв кровь, беспокойно захрапел.

Ярмат вытащил нож, далеко отшвырнул его. Неторопливо, с ужасающим хладнокровием стащил за ноги труп байбачи с коляски, подволок к краю оврага и сбросил с кручи. Тяжело вздохнув после этого, он подошел к коню, отвел его с дороги, привязал к одинокому дереву. Потом опустил на корточки, обтер пылью окровавленные руки, поднялся, погладил коня, нетерпеливо грызшего удила, и зашагал в темноту.

Он шел без дороги, как безумный шептал:

— Что я сделал? Преступление это или справедливая кара? Борода уже поседела, а я руку в крови обагрил. Вот она, все еще липнет на пальцах... Нет, я у дочери спрошу. Скажи мне, родная, скажи, Гульнар моя! Я ведь только перед тобой виноват, и давно виноват. Скажи: правильно я поступил? Если этой крови мало, еще пролью! Эта кровь — только первая капля. Кровь всей семьи этих извергов, кровь тысячи таких, как они, не стоит и одного твоего волоска! Знаю это, знаю, доченька, и всех их уничтожу! Отец твой теперь не боится. Они теперь уже не хозяева мне. Хватит, поездили на моей спине. Теперь — довольно! Глаза мои открылись, Гульнар. Только очень поздно открылись они, ослепнуть им, — когда сердце мое уже отравлено ядом. А ты была моим сердцем, Гульнар. Раньше бы открыться им, глазам моим, тогда бы я не отдал тебя, мое сердце, на растерзание волкам!.. Как же я предстану перед тобой, когда аллах позовет нас при кончине мира? Доченька, прости! Прости твоего заблудшего слепого отца! Я кровью запятнал руки, чтоб ты простила меня... Беленькая моя, Гульнар моя, прости... О горе мне, горе!.. Бедная дочь... Проклятая жизнь!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

I

На рассвете Юлчи вышел из темной, заброшенной мельницы. Он был очень голоден. Но первой его заботой было — где снять отросшую в тюрьме бороду и побрить голову? В кармане нет даже

стертого медяка. Он примостился на вросшем в землю старом жернове и долго ломал голову... Продать — нечего. Сапоги пропали в тюрьме. Рваный халат? Но кто возьмет его? Разве только старьевщик на базаре! Да если бы и удалось продать, то в чем он останется? В одной рваной рубахе?..

«Э, нашел о чем горевать!» — махнул рукой Юлчи. Но тут же снова задумался, вспомнив о том удивительном русском, с которым вместе сидели и вместе бежали из тюрьмы.

«Где он теперь? Удалось бы ему благополучно добраться до Москвы. Я и не спросил, за сколько дней поезд до Москвы доходит... В товарном вагоне, говорит, поеду... Нет, он не пропадет. Голова у него на месте. Он из таких, что в мельницу под жернова угодит — все равно невредимым выйдет... Только с харчами, пожалуй, трудно будет — у него тоже ни гроша».

В памяти Юлчи встало все, что связано было с его новым другом, начиная с первой встречи в тюрьме.

Через три-четыре дня после ареста Юлчи в камеру к нему ввели какого-то русского. Истомившийся в одиночестве, джигит встретил его открытой дружеской улыбкой.

«Вот бы знать язык, побеседовать!» — промелькнула у него мысль.

Русский понравился Юлчи с первого взгляда. Это был среднего роста человек, широкоплечий, с сильными руками, лет тридцати пяти — сорока. Из-под его потрепанной фуражки выбивались завитки густых темно-русых волос. Во взгляде, в спокойных, медлительных движениях чувствовались сила и уверенность.

Русский бросил на край нар небольшой сверток в старом одеяле и внимательно оглядел Юлчи с ног до головы.

— Яхши! — проговорил он густым басом. Потом подложил под голову сверток, прилег на нары и долго лежал, думая о чем-то своем. Время от времени он бросал на Юлчи осторожные, только уголками глаз, взгляды.

Юлчи тоже присматривался к своему соседу. Особенно удивило джигита невозмутимое, даже какое-то насмешливое спокойствие этого человека: русский не проявлял ни страха, ни смущения; он вошел в камеру и расположился на нарах с таким видом, точно по пути завернул в чайхану на перекрестке и прилег отдохнуть на широкой дощатой супе.

«Интересно, — думал джигит, — кто он? За что попал сюда? Судя по виду, по одежде, он рабочий человек».

Заметив на себе осторожный, изучающий взгляд русского, Юлчи почувствовал смущение. У него явилось желание объяснить, что попал он в тюрьму случайно, а не за какой-либо дурной поступок. Некоторое время он сидел, наморщив лоб, перебирал в памяти немногие известные ему русские слова. Потом вдруг просветлел, припомнив нужное:

— Твоя мастеровой?

Русский понял, кивнул головой, улыбнулся.

— Моя завод работай, — пояснил он.

Юлчи сразу оживился.

— А маники бойда работ ясайди!¹ — джигит вскочил с нар, выдернул из прорехи халата клочок ваты, бросил его на пол и взмахами рук изобразил работу кетменем в поле.

Русский опять заулыбался, знаками объяснил, что понял.

Так прошел у них весь первый день.

Наутро новый товарищ Юлчи подпорол край одеяла, достал какую-то тонкую книжку и принялся внимательно читать ее про себя. Когда за дверьми слышались шаги или голоса, он проворно прятал книгу, потом снова брал ее и читал, не отрывая глаз. Юлчи быстро сообразил: прислушивался или наблюдал через глазок за коридором и, когда нужно, предупреждал соседа. Тот благодарил — прикладывал руку к груди. А джигит досадовал на свою неграмотность.

«Вот этот русский книгой занят, губы его порой шевелятся — он говорит с ней. А я не могу. Эх, слепота моя!..»

В тот день они узнали и научились произносить фамилии друг друга. Фамилия русского — Петров...

Скоро они уже были связаны тесной дружбой. Петров относился к Юлчи как к родному сыну. Заботился о нем, объяснял как умел тюремные порядки.

Первое время им очень мешало плохое знание языка. Но эта трудность понемногу исчезала, отступая перед желанием поговорить, обменяться мыслями. Вначале им приходилось прибегать к помощи жестов и знаков, но постепенно запас слов увеличивался, и они стали говорить не только о простых, обыденных вещах, а и о более сложном.

Однажды, разговорившись, Юлчи рассказал Петрову, как неудачно и несчастливо сложилась у него жизнь. Потом заговорил о других батраках, о дехканах, пожаловался, как тяжело жить трудящемуся человеку, в то время когда баи, прибрав к рукам землю, воду и все богатства, бесятся от жира.

— Бедным людям везде нелегко, — заметил Петров и рассказал Юлчи о себе.

Родился он в деревне, в бедной крестьянской семье. Четырнадцать лет он вынужден был расстаться с родным домом и отправиться на заработки.

— А я с девяти лет уже пас чужие стада, — доверчиво вставил Юлчи.

Петров улыбнулся.

— Пасти-то и я примерно в эти годы начал, да в наших краях скота на всех подпасков не хватало.

В Ростове Петров поступил учеником на завод. Там же, испытав на себе всю тяжесть подневольного труда, он сошелся с большевиками.

Пытливый, живой ум джигита жадно хватался за все новое; он перебил рассказчика:

— А кто это такие — большевики?

Петров задумался, как бы понятней объяснить, и ответил самыми простыми словами:

¹ А я у бая работаю.

— Они борются за то, чтобы отнять у баев землю, воду, власть и все отдать беднякам...

— Как — отдать?! — привскочил Юлчи.— Когда?

— Ты слушай и не перебивай,— спокойно, с лаской в голосе остановил джигита Петров.

1905 год Петров встретил с винтовкой в руках вместе с большевиками. После этого жизнь его проходила в арестах, ссылках, побегах, в революционной борьбе. Два года назад он приехал в Ташкент, работал в железнодорожных мастерских. Арестовали его за антивоенную агитацию и за попытку организовать забастовку.

Юлчи слушал своего нового друга, сидя на корточках и стиснув голову руками. Перед ним открывался новый мир — мир борьбы и подвигов, труда и упорного движения к великой, благородной цели.

Когда Петров кончил, он поднял голову и сказал очень серьезно, но с дрожью в голосе, выдававшей внутреннее волнение:

— Как только выйду отсюда, убью Мирзу-Каримбая и потом — полицейского, который меня арестовал.

Петров улыбнулся:

— В твои годы я тоже так думал, да какой толк от этого? Убьешь одного — придет другой, а ни земли, ни воды у тебя не прибавится.

— Как же быть? — воскликнул джигит.

— А ты — потише,— остановил его Петров. Он достал из-под одеяла свою книжку.— Вот здесь хорошо сказано, правильно сказано.

Юлчи покачал головой:

— Не умею.

— Это не страшно, что не умеешь,— научимся!

С присущей ему настойчивостью и выдержкой Петров принялся обучать джигита русской грамоте. Тоненькая книжка служила для Юлчи азбукой и словарем, расширяющим запас русских слов, и учебником нового понимания жизни.

Учение давалось трудно. Порой он потел больше, чем в знойные дни с кетменем в поле. Но подходил его друг, окутанный облаком махорочного дыма, склонялся к нему, ободряюще хлопал по плечу:

— Яхши! Совсем хорошо получается.

И неуверенность исчезала. Юлчи чувствовал себя бодрым, счастливым и улыбался по-детски чисто и ясно.

А по ночам он долго не мог уснуть. Мысли — смелые и острые, как алмаз,— не давали покоя. Да, конечно, богатство послано Мирзе-Каримбаю не богом. Оно добыто потом и кровью Ярмата, Юлчи, Шакасыма, Ораза. И как он сам не догадался об этом раньше?.. Юлчи часто вспоминал свой разговор с Абдушукуром, и всякий раз губы его кривила усмешка. Нет! Не помогать надо баям накапливать богатство, а гнать их с земли, от воды. Люди кетменя и омача, кузнецы и сапожники должны свергнуть владычество баев, а заодно и их покровителя — белого царя. Где взять сил? А русские рабочие! А Петров!.. Он говорит, что у него много товарищей. Есть даже сильнее и умнее, чем он сам...

Да, дни, проведенные в тюрьме, не прошли для Юлчи даром... Но что

теперь делать?.. Жить, как учил Петров. А с чего начать?.. В мыслях и на словах это получалось просто, а вот на деле...

«С маленького надо начинать» — так говорил Петров. Вот Каратай. Между ним и баями, вместе с их защитниками — полицейскими, начальниками, столько же сходства, сколько между огнем и водой. Дальше, брат его. Джумабай, — на трамвайных путях работает, крепкий парень. Есть еще Барат с хлопкоочистительного завода. Шакасым — слаб. А вот старый Шакир-ата, пожалуй, пригодится, поможет советом.

Юлчи встал с жернова, выпрямился, оглянулся вокруг. Солнце уже позолотило верхушки верб, росших вдоль Анхора. По старому, зеленому от плесени мельничному желобу, разбрасывая серебряные брызги, с шумом стремилась вода. О людях здесь напоминала лишь узенькая тропинка на противоположном крутом берегу реки.

«Забрался в такое место, что и нищему не догадаться!» — усмехнулся джигит и осторожно вынул спрятанный в рукаве мелко исписанный клочок бумаги.

С этой запиской он должен пойти к Андрееву — рабочему-большевику, другу Петрова. Петров наказывал: не держать записку при себе, идти с ней к Андрееву только тогда, когда минет опасность слежки, и по возможности изменив наружность.

Юлчи потрогал выросшую в тюрьме бородку: «Пожалуй, лучше не брить, с ней труднее узнать».

Он поднялся и бодро зашагал берегом Анхора. Записка открывала перед ним двери к новым людям, в новую жизнь.

Через некоторое время Юлчи вышел к дощатому мосту. Улица за мостом была знакомой: здесь, неподалеку, в доме хлопковика Джамал-бая жил его давнишний знакомый Джура.

Навстречу начали попадаться люди — конные и пешие, старики и молодые. Многие сторонились, бросая на джигита подозрительные взгляды.

Немного погодя Юлчи остановился перед возвышавшимся среди мазанок бедноты двухэтажным домом, лобеленным известью. Он прошел через ворота во двор, заглянул в маленькую лачугу, притулившуюся к высокому дувалу рядом с конюшней, и остановился в нерешительности — в помещении никого не было.

В это время в двери конюшни с лопатой и метлой в руках показался Джура. Он остановился на пороге, удивленно и недружелюбно посмотрел на Юлчи. Джигит улыбнулся и шагнул навстречу приятелю:

— Не уставать вам, Джура-ака! Не узнаете? Не пугайтесь...

— Хэ, да ты тот самый, прежний Юлчи? Такой образины не только человек — лошадь испугается и понесет!

Они поздоровались, прошли в лачугу. Юлчи еще не кончил рассказывать о своих приключениях, как Джура нетерпеливо перебил:

— Словом, освободили тебя?

— Какое там освободили! Бежал...

— Из тюрьмы?! — заиграл белками глаз удивленный Джура.

Юлчи кивнул головой.

Джура предостерегающе подняла руку:

— Ты теперь берегись. Тебя обязательно будут разыскивать. Хотя огорчаться из-за этого не стоит — везде найдутся свои люди, не выдадут. Мы здесь и не в тюрьме, а горя повидали. Возьми меня — что я видел за это время? Шея моя и не привязана, а не свободна. Здесь — та же тюрьма, хоть и без решеток. Дороговизна, голод. А ко всему этот ублюдок, которого белым царем называют, указ выпустил, рабочих требует. Видно, сил не хватает на войну!..

— Рабочих требует? Это куда же? — не понял Юлчи.

Джура рассказал все, что знал о мобилизации на тыловые работы.

— Выходит, новое несчастье на голову бедноты, — нахмурился Юлчи.

— Верно, спасибо твоему родителю, верно! — вскочил Джура. — На меня раньше всех покупатель нашелся! Хозяин хотел послать меня вместо своего племянника!.. «Подохнуть мне, если мать родила меня для вас!» — думаю себе. — Джура помолчал, затем с некоторым смущением проговорил: — Работы много у меня. Ты здесь располагайся и сиди себе спокойно... Я сейчас...

Джура бросил щепотку чаю в кумган на очаге, положил перед Юлчи лепешку и посоветовал никуда не отлучаться до вечера. Юлчи ответил, что собирается искупаться в Анхоре. Джура дружески пожурил его за неосторожность, но в конце концов сунул в руки джигита обмылок, молча указал на маленький, с пятак, замочек от двери и вышел, торопясь по своим делам.

После чая Юлчи отправился к Анхору. Облюбовал место поглубже, разделся и бросился в освежающую прохладу потока. Окунувшись несколько раз, он выбрался на мель, принялся мылить голову, тело. Только тут он заметил, как сильно похудел, как выпирают его крупные кости.

Узкий Анхор не давал простора, но джигит сильными, широкими бросками, вспенивая воду, поплыл вдоль берега. С десятков белых уток, скользивших по воде впереди него, испуганно закричали, хлопая крыльями, кинулись в разные стороны.

С каждым взмахом рук Юлчи все больше ощущал легкость в теле, чувствовал, как мускулы его наливаются прежней силой. Вокруг тишина и покой. Прохожих нет. На берегу Анхора среди верб пасутся две белые козы. Время от времени они настороженно взглядывают на джигита, потряхивая бородами, и снова прячут головы в зелени.

Солнце поднялось высоко, но лучи его, скользившие меж листьями, здесь не припекали, а только ласкали тело...

Юлчи оделся и легко зашагал вдоль берега. Он не пошел в душную, темную лачугу Джуры. Ему хотелось побывать среди людей, разузнать новости, увидеть Унсин, услышать что-нибудь о Гульнар. Но прежде надо было раздобыть какую-нибудь мелочь на ужин. Махнув рукой на предостережения Джуры, он торопливо направился к базару.

Солнце палит отвесными лучами. Камни жгут ноги. Пыль. Трудно дышать. Базарный гомон и шум в самом разгаре. Люди озлоблены,

грубы. От всех пахнет потом. У всех на языке жалобы на дороговизну, нужду, на мобилизацию.

Юлчи посчастливилось доставить поклажу в несколько мест и заработать немного денег. Вечером усталый джигит забежал к Джуре, отдал ключ и отправился к сестре. Дорогой на добытые за день гроши купил две тонких лепешки и немного винограда.

В сумерки, уже неподалеку от места, джигит, присмотревшись, увидел впереди себя Шакира-ата: постукивая посохом, старик медленно шел вдоль узенькой улицы по направлению к дому. Юлчи обрадовался, ускорил шаг:

— Здоровы ли, отец?

Старик вздрогнул, поднял голову. Не находя слов, он молча обнял джигита, костлявыми руками погладил его плечи. Затем суетливо засеменил к дому и еще с порога калитки крикнул:

— Доченька, готовь мне подарок! Брат твой!

Унсин выпорхнула навстречу и со слезами кинулась на шею брата.

— Не плачь, родная, не плачь! — успокаивал ее Юлчи дрожащим от волнения голосом.

Тетушка Кумри поклонилась джигиту издали, поздравив его с освобождением и пожелав долгой жизни.

Унсин быстро расстелила во дворе кошму, зажгла лампу. Юлчи, усадив к себе на колени внучат Шакира-ата, дал каждому по кисти винограда. Обрадованные, дети повисли у него на плечах.

Юлчи спросил старика, как живется. Шакир-ата пожаловался на трудность времени, а о себе сказал так:

— Горе за горем, сынок. Но мы еще кое-как таскаем свои чарики. По правде говоря, нас кормит Унсин. Ичиги, какие она шьет, только в руках держать да любоваться. Прямо играют! Такой способной и работающей, такой учтивой и доброй девушки во всех семи поясах земли не найти.

Слова старика обрадовали Юлчи. Он хотел было похвалить сестру, но Унсин вдруг исчезла. Через минуту она выбежала из дома, подошла к Юлчи, сняла с него старую, грязную тибетейку и надела новую, любовно вышитую ею для брата. Юлчи снял тибетейку, поднес к лампе, полюбовался красивым узором, снова надел и поблагодарил сестру. Ему показалось, что девушка чем-то опечалена.

— О чем ты грустишь? Ведь я вернулся здоровый и невредимый.

Девушка опустила глаза:

— Ничего, это я так...

Унсин и в самом деле была печальна. Третьего дня здесь узнали о смерти Гульнар. Весть эта потрясла девушку, и сейчас она не знала, как рассказать обо всем брату.

Шакир-ата сходил за Каратаем. Женщины скрылись в доме. Друзья крепко обнялись, затем уселись за чай и начали беседу.

Отвечая на вопрос Юлчи, Каратай заговорил о тяжелом положении ремесленников и всех, кто трудом добывал себе кусок хлеба.

— Если и дальше так будет продолжаться, — сказал он, — народ начнет умирать с голоду.

Юлчи внимательно выслушал кузнеца, потом наклонился к друзьям и заговорил, понижая голос:

— По-моему, все бедствия от того, что жизнь у нас устроена несправедливо. Подумайте сами: кучка баев — хозяева всех богатств. Несчетное же множество бедного трудового люда — голые, босые... Кто трудится, проливает пот, в котелке голую воду варит. А баи богатеют от их трудов, набивают и без того тугую мошну, бесятся от богатства. Вот от этого и все бедствия, в этом и вся суть. Хорошо, а что же делать, спросите? Скажу: жалобами, слезами и хныканьем не изменить жизнь. Чтобы освободиться от рабства, к борьбе надо быть готовым. Надо раскрыть глаза народу. Если мы, трудящиеся, выступим все сообща, то наверняка повалим и всех баев и самого кровопийцу Николая. Трудовой народ сам тогда будет распоряжаться своими делами. Я слышал — так думают русские рабочие, мастеровые. Они уже много лет идут этой дорогой, и нам надо следовать за ними. Что вы на это скажете?..

Кузнец и Шакир-ата некоторое время молчали, раздумывая. Наконец Каратай дружески хлопнул Юлчи по плечу:

— И добрая же голова у тебя, братец мой Юлчи! Золотая голова! Все, что сказал ты, — истинная правда. И насчет русских рабочих — тоже верно. Русские рабочие — большая сила. Они народ знающий — все машины они заставляют вертеться. И если русские рабочие так думают, то у нас с ними должна быть одна дорога.

Юлчи долго рассказывал о своем новом друге Петрове. Шакир-ата слушал, не сводя глаз с джигита.

— А твои мастеровые, видно, очень бывалые, отчаянные люди! — воскликнул он, когда Юлчи умолк.

— Да, смелый народ, решительный, — подтвердил кузнец. — Недавно мне пришлось видеть одного на улице... Так что бы вы думали? Он среди белого дня на глазах у народа ударил по лицу какого-то начальника из полиции!..

— Неужели? — изумился старик.

— Рабочие идут и против войны, и против Николая, и против буржуев! — с гордостью за своих новых друзей сказал Юлчи.

— Буржуев, говорншь? Это кто же такие? — заинтересовался старик.

— Петров всех баев буржуями называл, — объяснил Юлчи. — Он так говорил: «И узбеки, и русские — все одинаково терпят от буржуев, от баев, значит. Уничтожим, говорит, Николая и буржуев — и русских и мусульманских — и все дела поручим вести своим людям — рабочим, дехканам. Вот тогда и жизнь улучшится...» Тут, отец, большие дела. Пораздумаешь над каждым словом, и на сердце радостно станет, потому — мысли эти правдивые, простые и понятные...

— Удивительное время настало! — шептал про себя Шакир-ата. — Чтоб трудящемуся человеку и самому быть хозяином своей доли, а? Товба!.. А я весь свой век прожил, как в темном закуте. Только и знал — гнуть спину на какого-нибудь жадного зверя... — Старик вздохнул, посмотрел на Юлчи, на Каратая. — Что ж, поживите хоть вы, молодые. Перестраивайте жизнь. Поворачивайте все по-своему.

— И повернем! — горячо отозвался кузнец. — Юлчи-палван правду сказал. Кому нужны бай? Кому нужен царь? Кому нужна война? Какая польза от нее народу? Только одни муки. А бай больше прежнего разжирели... Вот на тыловые работы записали только сыновей бедняков — новая беда на наши головы. Брата моего забирают, Юлчи-бай. И без того нужда задавила, голова кругом идет, а тут еще забота. Ух!..

Успокоившись, Каратай положил на плечо Юлчи руку:

— Тебе, палван, опасно оставаться в городе. Надо устраниваться где-нибудь на окраине.

Джигит хотел было возразить, но когда к мнению кузнеца присоединился и старик, он согласился. Только спросил:

— Куда же мне направиться?

Каратай предложил:

— На Тахтапуле у меня есть старушка тетка. Одинокая. Пойдем к ней.

Каратай поднялся. Юлчи проводил его на улицу и позвал Унсин. Ему очень хотелось расспросить сестру о Гульнар. Однако, когда Унсин подошла, джигит не осмелился раскрыть перед ней свое сердце. «Может быть, сама заговорит», — понадеялся он. Но девушка о Гульнар ни словом не обмолвилась. Она только пожалела, что брат так скоро уходит, и пообещала завтра-послезавтра навестить его.

Юлчи простился с Шакиром-ата и направился к калитке. Старик крикнул ему вслед:

— Эй, огненный джигит! Те слова твои — чистое золото. Только ты не делись ими с кем попало!

— Я для того и из тюрьмы бежал, отец, чтобы передать их людям!..

II

Юлчи проснулся, когда солнце стало припекать ему голову. Он огляделся вокруг. В маленьком, чисто подметенном дворике — тишина. На двери низенькой мазанки — цепь. Одинокое бродит по двору курица, такая же старая, как и бабушка Саодат — хозяйка этой хибарки, приветливо встретившая джигита поздней ночью.

Юлчи встал, оделся. Арыка во дворе не было. Он умылся уже согрешейся на солнце водой из жестяного чайника, стоявшего на терраске.

Вчера при свете маленькой лампы Юлчи не разглядел как сплел старуху, — она улеглась в постель еще до ухода Каратай. Однако по голосу ее, по шуткам он понял, что бабушка Саодат приветливая, разумная и, пожалуй, даже смелая женщина.

Узнав, что Юлчи бежал из тюрьмы, она сказала: «Свет мой! Этот дом считай своим домом. Ты для меня все одно что Каратай. А может быть, и лучше. Кузнец мой часто подсмеивается надо мной: тетушка, говорит, у вас дверь всегда колом подперта. И это верно, только смотря для кого. Имама с суфи, начальства да еще трех-четырех человек гузарских живоглотов я избегаю. А хорошим людям я всегда рада».

Юлчи обошел безмолвный дворик. Из каждого уголка здесь проглядывали нужда и бедность, но везде было чисто, все было аккуратно прибрано. У дувала — маленький, площадью с циновку, цветничок — георгины, ночные красавицы, петушинные гребешки, мята, чебрец.

Мысли Юлчи были заняты Гульнар. «Свыклась ли она, смирилась ли со своей судьбой? Может быть, уже забыла меня? Гульнар, а?! Нет, не могла забыть!.. Что она сейчас делает? Взглянуть бы на нее хоть раз или хоть голос услышать бы... Кого послать к ней? Унсин никогда не была в загородном поместье бая, да и далеко... Пойти самому?.. Стану бродить вокруг поместья, она и знать не будет. А бай случайно увидит — ей же хуже сделаю: ее взаперти будет держать. Бай — он такой...»

Открылась калитка. Волоча длиннополую паранджу, с пустой корзиной на голове во двор вошла бабушка Саодат.

— Проголодался, наверное, львенок мой? — заговорила старуха, сбрасывая паранджу и ставя корзину на терраску. — Сейчас чай вскипячу.

Бабушка Саодат — худощавая, костистая старуха с крючковатым носом и по-мужски решительными движениями. Маленькие глаза ее, несмотря на годы, еще сохраняли живой блеск.

— Где были, мать? — спросил Юлчи.

Старуха разожгла маленький самовар, подошла к джигиту и заговорила густым, не по-женски низким голосом:

— Заботы, сын мой. Я — хлебопек. Вон, на кухне, у меня большой тандыр. Не видал?.. Еще до солнца я просеяла муку, замесила тесто. Пока тесто подошло, развела огонь в тандыре. Потом наделала лепешек. А к тому времени и тандыр накалился. Испекла — и одну корзину уже успела продать на гузаре. Попью чаю, еще понесу...

— И давно вы так живете? — поинтересовался Юлчи.

— Покойный муж мой был поденщиком, — ответила Саодат. — Того, что он добывал за лето, не хватало на зиму. Потом заболел и совсем отошел от работы. Пришлось кормить его. Лет уже двадцать будет — умер он. Детей мне не довелось иметь, сынок. Вот так и перебиваюсь своим трудом, чтоб не унижаться ни перед кем. Одно время шила тюбетейки, потом одеяла стегала, очуры для штанов ткала. А теперь для таких дел глаза не годятся.

— Ну, а от лепешек остается что-нибудь?

— Бывает так, бывает этак... — Старуха повернулась, положила в самовар щепок. — Иной раз один убыток. Продашь хлеб, пойдешь на базар, цена на муку опять поднялась. А у меня и капиталу-то всего на один пуд муки... Вся польза, сын мой, — с базара хлеб не покупаю. За день остается пара лепешек для себя — и то богатство...

После чая Юлчи предложил старухе снести и продать очередную корзину хлеба. Бабушка Саодат уложила в корзину аккуратными рядами несколько десятков еще не остывших лепешек. Юлчи подхватил ношу, отправился на базар.

На первый взгляд на базаре все казалось обычным. В чайханах, как и всегда, звякали крышки чайников, кричали в клетках перепелки. В торговом ряду препирались с покупателями лавочки и

мясники. Глухо брякая подвешенными на шею тяжелыми медными бокалами, проходили верблюды. Но во взглядах и в движениях людей было заметно беспокойство и смятение. Как только речь заходила о мобилизации на тыловые работы, слышались негодующие выкрики, жалобы на притеснение, нужду, бесправие. Гнев, казалось, готов был вспыхнуть в любую минуту.

Юлчи, пользуясь каждым удобным случаем, разъяснял людям, кто настоящие виновники их нужды и несчастий. Говорил, что война, которую ведет царь, нужна и выгодна только баям. Потом снова принимался выкрикивать:

— Эй, лучшие лепешки! Самые лучшие лепешки!

Распродав лепешки, он оставил корзину на сохранение старику, вязавшему на берегу арыка веники, а сам пошел бродить по базару в поисках заработка. Ему удалось подрядиться сделать одному человеку десять тысяч сырцового кирпича. Затем подвернулся торговец, которому надо было отнести на Урду мешок молотого табаку.

У трамвайной остановки Юлчи опустил ношу на тротуар, чтобы передохнуть. Тут он заметил, что прохожие начали оглядываться, подталкивая друг друга, о чем-то перешептываться. Шурысь от солнца, Юлчи посмотрел в ту сторону.

В нескольких шагах от него посередине улицы трое полицейских — один русский спереди и двое узбеков сзади — с обнаженными шашками вели Ярмата. Старик шел сгорбившись, с низко опущенной головой — видно было, что человек придавлен большим несчастьем.

Глаза Юлчи широко открылись, он побледнел. Не сдержавшись, крикнул:

— Ярмат-ака!

Ярмат медленно поднял голову, увидел Юлчи. Посмотрел на него печально и как-то виновато и слабо махнул рукой, будто хотел сказать: «Все кончено!»

Окинув джигита подозрительным взглядом, полицейские прошли мимо.

Юлчи с минуту стоял растерянный, потом торопливо взвалил на спину мешок и последовал за полицейскими. Он шел, не отрывая взгляда от сгорбившейся фигуры отца Гульнар, и думал: «Что старик мог сделать плохого?.. Был преданным рабом своего хозяина, и вот — никто за него не заступился... Это новое горе для Гульнар. Что бы там ни было, Ярмат отец ей...»

На Урде Юлчи сбросил ношу и, даже забыв о плате, пошел дальше. Он отстал только тогда, когда стало ясно, что Ярмата ведут в тюрьму.

Домой он вернулся вечером. Бабушка Саодат, опустившись на корточки у маленького, с тубетейку, очага, варила ужин. Взглянув на джигита, она испугалась.

— Что случилось, мой львенок? Полицейские, погореть им, на след напали? Гнались за тобой?

Юлчи не ответил. Он присел на край терраски и опустил голову на руки.

Старуха подошла к нему, ласково заговорила:

— Отчего ты дрожишь, сынок? Скажи мне. Ушел ты, я глаз не сводила с калитки: вот подойдет — нет, вот покажется — нет. Сколько раз на гузар ходила. Расспрашивала людей. Что случилось? Опять тебе тюрьма грозит? Скажи, сынок, успокой мое сердце.

Когда Юлчи возвращался домой, на него обрушилась новая беда. Он встретил одного из бывших приказчиков Мирзы-Каримбая, и тот рассказал ему о событиях последних дней: о смерти Гульнар, о том, что Ярмат, подозревая Салима в отравлении дочери, три дня назад убил байбачу и скрылся, а сегодня каким-то образом был задержан.

— Тюрьмы я не боюсь, мать, — не поднимая головы, глухо заговорил Юлчи. — Не боюсь ни виселицы, ни пули. Тюрьма! А чем лучше тюрьмы такая жизнь? Весь белый свет стал мрачнее любого зиндана! Куда ни глянь — темно, куда ни глянь — яд каплет. До каких же пор я буду пить яд?!

— Что ты болтаешь? — с укоризной сказала старуха. — В твои годы самая пора веселиться да радоваться. Правда, на свете много печали, много скорби, много обездоленных. А в нынешнее время и вовсе — стон стоит от жалоб и горя. У одного куска хлеба нет, а у другого целыми котлами сало варится. Один за медным грошем гонится, а другой угорает от запаха денег. Но так устроен белый свет, сынок. Одному светло — другому темно, одному тепло — другому холодно. Да ты не думай об этом, не принимай близко к сердцу... Ты молодой, здоровый. Работай, веселись, обзаведись товарищами. Радость и веселье к лицу в твою пору, сынок!

— Верно, мать, я молод и здоров, — согласился Юлчи, — но сердце мое навеки потеряло самую большую радость. — И он откровенно, как матери, рассказал бабушке Саодат о своей несчастной любви.

Старуха с материнским сочувствием выслушала джигита и глубоко вздохнула:

— О, злой, изменчивый мир! Грудь народа кровью залита, душа печалью истерзана... Для такого джигита и не нашлось капли счастья!..

Чтобы не обидеть хозяйку, Юлчи принял от нее деревянную чашку с постной, обильно приправленной зеленью похлебкой, без всякого желания съел две-три ложки. Потом заговорил о сестре. Сказал, что намерен выдать ее замуж, если найдется честный, работающий джигит, и попросил бабушку Саодат, когда Унсин зайдет, подготовить ее исподволь.

Бабушка Саодат посоветовала:

— С выбором жениха торопиться не следует, сынок. Прежде надо разузнать, какие у него отец с матерью, какое его занятие-мастерство, а потом уже говорить о свадьбе.

— Лишь бы джигит был честный и старательный — и довольно, — сказал Юлчи. — Про богатство, про дома и усадьбы узнавать нечего... Может, у вас знакомые есть?

— Ближе ли, далеко ли — хорошие джигиты найдутся. А все-таки разглядеть и выбрать надо, сынок.

— Хорошо, выбирайте, приглядывайтесь, мать. Я и Шакиру-ата и Каратаю тоже накажу.

Бабушка Саодат отодвинула миску.

— Сдается мне, что с делом этим ты порешил только сегодня. Скажи, сынок, почему так торопишься?

— Не знаю, мать, что еще может обрушиться на мою голову, что придется повидать глазом. Одно ясно: мне рано искать покоя, не время думать о веселье, забавах.— Юлчи встал, выпрямился во весь рост, заговорил гневно: — До каких пор нас будут душить, терзать безнаказанно? Можно ли терпеть дальше?! Нет, пока жив — я не успокоюсь. Я покажу им!

Старуха долго испытующе смотрела на джигита, покачала головой, вздохнула:

— Насчет забав да веселья — прости, сынок. Я ошиблась. Ты не из таких, оказывается.— Бабушка Саодат тоже встала и торжественно, словно благословляя, произнесла: — Иди, сынок, ради народа иди в огонь, в воду. Такому джигиту все по плечу...— Старуха прислушалась.— Подожди, что это за шум?

Юлчи вдруг сорвался с места, выскочил со двора и побежал к гузару.

Толпа мужчин и женщин сгрудилась в тесной улочке. Слышны хриплые выкрики мужчин, проклятия скрытых под паранджами и чачванами женщин. Юлчи смешался с толпой.

Шумели две явно враждебные стороны: эликбаши — средних лет, щуплый; с узкими, плутовато поблескивавшими глазами, рядом с ним три молодых человека и старик, — судя по одежде и разговору, местные баи. А остальные — видно, беднота квартала. Старик бай, хоть лицо его и подергивалось злобой, старался говорить спокойно, сдерживая знаками и жестами разгорячившегося эликбаши. Но тот ничего и никого не хотел признавать. Молодых он ругал собаками, пожилых, не стесняясь, обзывал дураками, выжившими из ума стариками. Он зажимал от шума толпы уши и кричал:

— Что это за цыганский табор? О чем галдите? Десять раз, сто раз говорил вам и еще раз повторяю: из нашего квартала в мардикеры пойдут пятнадцать человек. На всякий случай мы наметили двадцать джигитов. На список их еще не брали и по начальству не сообщали. Из-за чего же смута? Подождите, я проучу вас! Тысячу раз вопите «дад» — все равно бесполезно! Вы подданные его величества белого царя и обязаны дать своих сыновей. Вот и все.

Толпа в ответ зашумела:

— Не дадим!

— Подохнуть вашему царю, замучил, тиран! — выкрикивали женщины.

— Вон как! — взвизгнул эликбаши.— Теперь я жалеть не стану! Только услышу еще от кого такие слова — сейчас же в участок сообщу!

— Хоть в Сибирь ссылай, если сможешь! — угрожающе выкрикнул какой-то джигит.

— Эй, подожди-ка! — Из толпы вышел высокий, крепкий старик, босой, в грязном войлочном колпаке. Поблескивая белками глаз, он

поднял руку, громко заговорил: — А те двадцать джигитов — чьи они, чьи сыновья? У купца Махамаджана — пять сыновей, у Шаюнуса-карвана — семеро, у Азимбая, который чаем торгует, — трое. Из них хоть одного записали? Нет! А что они — на земле родились или с неба прилетели? Они от войны попользовались, из мелких торговцев знатными богатеями стали. Им есть за что идти. Вы хотите послать только сыновей таких дехкан, как я, сыновей пастухов и ремесленников, а? То пинали нас, оттирали к сторонке, никто не слушал наших жалоб, воплей, а теперь сыновья наши потребовались?

Худой юноша, по виду ремесленник, протискался вперед, крикнул:

— А почему ваши братья остались в стороне, эликбаши? Это справедливо?

Юлчи дрожал от радостного возбуждения. Народ заговорил, поднял голову. Кругом слышались те самые слова, которые он хранил в сердце и собирался рассказать людям. Значит, он не один, у него много друзей — таких же угнетенных и униженных, готовых бороться с тиранами и угнетателями. Он почувствовал себя так, будто только сейчас вышел из темной, вонючей тюрьмы на чистый воздух в ясный весенний день.

— Община! — хмуря нависшие брови, внушительно заговорил старик бай. — Слава аллаху, мы все мусульмане, дети одного отца, сыны одного квартала. Каждый день мы приветствуем друг друга салямом, и когда настанет час, нас всех отнесут на одном и том же табуте. Нам нужно быть дружными. Коли мы, как шилом, станем тыкать пальцами: почему тот не дает своего сына, почему этот остался в стороне? — между нами возникнет распря. Разделять: тот бай, этот бедняк — большой грех. Все мы — рабы аллаха. Одному дано на этом свете, другому воздастся на том. Каждый здравомыслящий человек должен понимать, что честная бедность много почетнее богатства. К тому же в нашем квартале и нет их — знатных баев. Я, что ли, знатный? Или Шаюнус-карван? Каждому свой карман лучше знать. Однако мы не смотрим, по мере своих сил помогаем властям... Мусульмане! Покиньте путь богопротивного шайтана, сбивающего вас на путь непокорности!

— Не приbedняйтесь! — закричал старый дехканин. — В Ташкенте двенадцать ворот, выйди из любых, спроси: чья земля? Земля Курбана-ходжи, скажут!

Крики мужчин и проклятья женщин нарастали.

— Говоришь, надо помогать власти, — и помогайте, а нас не трогайте!

— Мы сами нуждаемся в помощи!

Лицо эликбаши перекопилось злобой.

— Расходитесь! — заорал он.

Какая-то женщина подошла к нему вплотную и в упор угрожающе крикнула:

— Сейчас же вычеркни моего сына!

Эликбаши занес над головой женщины руку, но ударить не решился, а только визгливо выкрикнул:

— Убирайся, потаскуха!

Люди вздрогнули, переглянулись. Вдруг в воздухе поднялись десятки кулаков. На эликбаши и его друзей посыпались удары. Старик бай кое-как выбрался. Остальных толпа смяла.

В это время вдали показался имам. Он бежал, неуклюже путаясь в полах длинного халата, и писклявым голосом кричал:

— Эй, мусульмане! Эй, народ общины!

Но слова его потонули в общем гуле, не оказав никакого действия. Тогда он бросился в толпу, начал разнимать людей.

Первыми начали отходить пожилые, а за ними молодежь. Эликбаши и его приятели, перепачканные в пыли, сплевывая кровь, со слезами, с помощью имама поднялись с земли. Лоб эликбаши был в ссадинах, из носа текла кровь, один глаз закрыт багровой опухолью. Имам встряхнул от пыли свалившуюся в суматохе чалму, торопливо намотал ее на голову и обратился к прихожанам со словами увещевания. Он говорил, что надо дено и ночью молиться об избавлении страны от бедствий, о том, что все трудности можно облегчить, вознося хвалу аллаху. Заметив, однако, что люди слушают его без обычного внимания и уважения, а некоторые даже явно посмеваются, имам прекратил проповедь и, забрав своих подзащитных, торопливо направился к мечети. Эликбаши обернулся, прикрывая одной рукой заплывший глаз, второй погрозил толпе. Юноша-ремесленник крикнул ему вслед:

— Подожди, в другой раз почище отделаем!

С минарета послышался голос суфи, призывавшего к предвечерней молитве. Люди начали было расходиться, но Юлчи остановил их звонким, взволнованным возгласом:

— Люди! Не поддавайтесь уговорам! Стойте твердо! Если все бедняки будут держаться заодно, кто посмеет взять их сыновей? Баи не зря ратуют за царя. Он — их защита. Баи помогают царю, царь помогает баям. Земля ихняя, вода ихняя, власть ихняя... Их слова везде находят отклик. А жалобам и воплям бедноты — грош цена! — Юлчи говорил не очень связно, но горячо. Тишина, наступившая в толпе, внимание людей ободрили его. Он продолжал: — Война наполнила кошельки баев, не правда ли? Так пусть они и посылают своих сыновей! Братья, подумайте, разве это жизнь? До каких пор мы будем терпеть? До каких пор будем умываться кровью, покорно преклонять колени? Поднимем наш голос. Добьемся своих прав — или умрем!.. Возмущение не в одном вашем квартале. Сейчас во многих городах и селах бедный люд начинает требовать свои права. В открытый бой с тиранами и угнетателями вступает народ!..

Задыхаясь от волнения, Юлчи прислонился к дувалу и так стоял некоторое время, оглядывая людей, словно спрашивал: «Верно я говорю?»

Двое или трое из толпы, пугливо озираясь, спешили прочь. Остальные тесно обступили джигита. Женщины, приоткрывая чачваны, с интересом поглядывали на него издали, не смея подойти ближе. Кто-то в толпе сказал:

— Горячий джигит, пламенный. Устами народа говорит.

Молодые парни, окружавшие Юлчи, несмело стали расспрашивать его. Джигит отвечал просто и откровенно, и на перекрестке завязалась беседа словно между давнишними друзьями...

III

Летнее утро... Солнце играет над верхушками густых верб.

Юлчи вышел из дома пораньше, чтобы успеть до жары сделать лишнюю сотню кирпичей.

Со стороны верхнего квартала, направляясь к гузару, бежала толпа мужчин. За ними спешили несколько женщин в старых, потрепанных паранджах.

Юлчи остановился. Люди сгрудились у моста. Послышались испуганные вопли женщин:

— Дад! Где конец насилию?

Покрывая голоса женщин, раздался громовой бас одного из мужчин — плечистого, обожженного солнцем, одетого в лохмотья:

— Вперед, джигиты, вперед! Постоим за себя!

Толпа хлынула через мост.

Народу на гузаре было еще немного. Проклятья женщин, смелые возгласы мужчин напугали торговцев. Чернобородый бакалейщик, занятый поливкой тротуара у только что открытой лавки, застыл с ведром в руке, но тут же, опомнившись, поспешно скрылся за прилавком. А люди вначале нерешительно, потом все увереннее начали присоединяться к выступавшим.

Юлчи протиснулся вперед. Сердце джигита билось в груди, точно молот о наковальню. Он понял, что настал день, когда угнетенные и обиженные крепко схватят за ворот своих насильников.

Толпа все увеличивалась. Усилились вопли, восклицания, плач женщин.

Какой-то старик с белоснежной бородой распростер руки и, будто благословляя народ, во весь голос закричал:

— Собирайтесь, храбрецы! Собирайтесь! Газават! Газават!

Из чайханы выбежали два каких-то уличных парня. Сложив на груди руки, они поклонились старику. Тот благословил их. Парни, схватившись за ножи, висевшие у них на поясах, гордо оглядели окружающих.

Юлчи приблизился к старику:

— Отец, а каков смысл газавата?

— Сын мусульманина, — возмутился старик, — и не понимаешь?!

— Не совсем...

— Верблюжонок мой, по исламу газават — война мусульман с неверными. Умрешь — мучеником за веру станешь, убьешь — героем-победителем будешь. Такова по священным книгам война правых.

— Нет, отец! — выкрикнул Юлчи. — Наша война будет иная. Не все мусульмане одинаковые. Разве среди мусульман нет волков? И зубы их не такие же острые, как зубы других волков? Нет, мы будем истреблять всех волков! Так ли я говорю, люди? Наша борьба —

это борьба за освобождение! За уничтожение всех волков, всех насильников, кровопийц!..

Из толпы с разных сторон послышались возгласы:

— Верно!

— Справедливые слова!

Измученный словами Юлчи, старик схватился за ворот рубахи.

— Астагфирулла! — только и мог выговорить он.

Юлчи побежал в свой квартал, собрал бедняков, которых только вчера призывал к борьбе, беседа на перекрестке. В толпе оказалась и бабушка Саодат.

Они вышли к гузару. Направились к Хадре. Мужчины шагали, расправив грудь, гордо подняв голову. Женщины беспрестанно слали проклятья царю и его приспешникам.

Толпа росла. Из кварталов, из узеньких улочек и переулков выходили и присоединялись группы молодежи, стариков, женщин.

Народ шел смело, густой шумной массой. Изредка встречались полицейские. Когда-то полицейские наводили страх на старого и малого, теперь же они сами трусливо жались к дувалам и прятались от глаз толпы. А люди, осознав свои силы, шли, не обращая на них внимания.

Юлчи рассчитывал, что восставшие направятся в новый город к дому губернатора. Но толпы народа, стекавшиеся со всех сторон, сворачивали к полицейскому участку на Алмазаре. В глазах простых людей это было самое черное, самое страшное учреждение. Оно олицетворяло всю власть. Все притеснения, насилия, издевательства ежедневно, ежечасно исходили именно из этого проклятого места. Мимо полицейского участка люди всегда проходили с трепетом.

«Хорошо, пусть пожар начнется отсюда!» — подумал Юлчи и, подбадривая людей, заторопился к Алмазару.

Неожиданно до слуха джигита донесся чей-то окрик:

— Юлчи-бай!

Юлчи обернулся: неподалеку на тротуаре с газетой под мышкой стоял Абдушукур. Рядом с ним какой-то стриженный «под польку» и одетый по моде молодой байбача в легком пальто полуевропейского фасона.

Юлчи неохотно сошел с мостовой.

Байбача усмехнулся, небрежно поигрывая стеклом. Абдушукур строго хмурил брови.

— Куда вы все направились? — спросил он. — Куда ты ведешь людей? Это невежество, безумие! — Абдушукур уже кричал, брызгая слюной. — Что понимает это стадо баранов? Что понимаешь ты? Есть люди образованные, которые заботятся о благе народа... А ты зачем путаешься?

— Что же надо делать по-вашему, братец ученый? — насмешливо спросил Юлчи.

— Вернуть людей! — взвизгнул Абдушукур. — Я уговариваю, останавливаю народ, а такие невежды и безумцы, как ты, тянут толпу вперед. Одумайся! Его величество белый царь оказался в этой войне в большом затруднении. Можем ли мы, туркестанцы, совершить преда-

тельство? Услышали про войну и побледнели! Труссы, а не джигиты!

— Все? У меня нет времени заниматься болтовней! — поднял голос Юлчи. — Знайте, народ будет устраивать свои дела, как сочтет лучшим. Он не нуждается в таких маклерах, как вы. Я-то вас хорошо знаю. Вы хотите остановить народную бурю? Хотите заглушить голос народа? Попробуйте!.. Этот буран так вас подхватит, что вы и места на земле не найдете. Вам очень хочется воевать за царя? Что ж, забирайте вот этого байбачу — вашего приятеля — и отправляйтесь, дорога открыта. А наша война будет иная. Воевать мы будем и с теми, кто сосет кровь из народа, и с вами — их прихлебателями!

Юлчи резко повернулся. Через десяток шагов он натолкнулся еще на одного увещателя. Этого отчитывала какая-то пожилая женщина с подобранной до пояса паранджой, без капишей, в рваных ичигах, из которых выглядывали запыленные пальцы ног:

— Я пришла из самого Юнус-абада. Почему я должна вернуться? Хватит, досыта хлебнули горя! Хотя пушку заряжайте мной, а я буду кричать: пошли аллах погибель вашему белому царю Николаю! Вернуться, говоришь? Если ты мужчина, иди вперед, дорогу показывай!

— Правильно, мать! — поддержал женщину Юлчи. — Идем. Не отступай. Нам нечего бояться!

На Алмазаре перед зданием полицейского участка собралась огромная толпа. А народ все прибывал и прибывал. Особенно много закутанных в старье, потрепанные паранджи женщин...

Пробираясь вперед, Юлчи оглядывал площадь. Вот они — дехкане, чайрикеры, батраки, городские ремесленники, рабочие и их отцы, матери, испытывавшие на себе всю жестокость насилия, грабежа, издевательств!

В воздухе стоял мощный гул. Со всех сторон слышны иступленные вопли женщин, гневные возгласы мужчин:

— Погибель на эту войну!

— Сил нет больше терпеть!

— Пусть сыновья баев идут на тыловые работы!

В толпе Юлчи столкнулся с Каратаем. Рядом с кузнецом стоял Ораз. С трудом пробравшись к ним, Юлчи обнял друга-киргиза, которого давно уже не видел.

Каратай толкнул Юлчи:

— Вон смотри — Хаким-байбача! Душа у него, видно, к горлу подступила — вот-вот выскочит!

Закусив губу, Юлчи устремил на Хакима полный ненависти взгляд. Тот стоял несколько поодаль от толпы с каким-то русским чиновником в пенсне. Байбача был бледен, во всех его движениях чувствовался страх. Он то окидывал взглядом толпу, то наклонялся к чиновнику и что-то говорил ему...

Ораз шепнул что-то Каратаю и будто между прочим заметил:

— Надо бы и Хакима спровадить туда, куда отправился его братец Салим!

Юлчи крепко сжал руку друга.

— Подожди, мы их всех подтянем на одну веревку. А сейчас идем, чтобы не отстать от народа.

Ворота полицейского участка были наглухо закрыты. Мужчины, женщины, цепляясь за окрашенную зеленой краской решетку, пытались проникнуть внутрь.

Юлчи со своими друзьями навалились на одну половину ворот. К ним на подмогу бросились десятки людей. Ворота с треском распахнулись. Толпа бросилась вовнутрь и, захлестнув обширную площадь двора, задержалась у выбеленного здания участка. Двери канцелярии были запорты. Через окна видны искаженные страхом и злобой лица полицейских, миршабов.

Ярость восставшего народа все нарастала. Крики мужчин, возгласы женщин, казалось, поднимались до самого неба. Джигиты сжимали кулаки, старики потрясали посохами, женщины в испуге отбрасывали чачваны.

— Сюда выходите, живоглоты!

— Мы распорем вам животы!

— Долой тирана-царя!

— Долой баев!

Несколько миршабов во главе с усатым полицейским выскочили из помещения. Похабно ругаясь и размахивая плетками, они пытались оттеснить толпу.

Передние попятились. Надо было действовать.

— Бей! — крикнул Юлчи и, как тигр на добычу, рванулся на полицейских. Двумя ударами он повалил двух миршабов.

Народ с криком бросился на других. Но из окон раздались выстрелы, и благодаря этому измятым кулаками и пинками миршабам удалось скрыться в помещении.

В двери, в окна канцелярии полетели камни, обломки кирпичей. Со звоном посыпались осколки стекол.

Неожиданно дверь канцелярии распахнулась, и на крыльце появился усатый, грузный и злой пристав Мочалов в сопровождении двух полицейских чиновников, бледных, с перекошенными от страха лицами.

Пристав резким движением руки потребовал тишины. Один из чиновников сделал попытку разъяснить смысл «высочайшего указа». Но шум и крики заглушили его слова. Снова со всех сторон полетели камни, кирпичи. Какая-то распаленная гневом женщина вцепилась в одного из чиновников, рванула его с крыльца. Близ стоявшие свалили его, потащили в толпу. Какой-то молодой джигит с непокрытой головой, с горевшими ненавистью глазами проворно выхватил из ножен чиновника шашку.

В этот момент по знаку Мочалова из окон канцелярии прогремел залп. В народ посыпались пули. Упали две женщины. Одна застыла на нижней ступеньке крыльца, другая, комкая худыми, изможденными руками паранджу и чачван, свалилась на кирпичи. Какой-то чернобородый, бедно одетый человек, зажимая правой рукой плечо и закрыв от боли глаза, опустился на корточки. Меж его пальцев проступила кровь.

Толпа попятилась, отхлынула от крыльца.

Едва над головой зазвенели пули, Юлчи почувствовал, как весь он наливается бурной, kloкочущей силой, а сердце его охватывает неудержимая ярость. Горящими глазами он оглядел народ: во взглядах людей — жгучая ненависть, в руках Каратая, Ораза и многих других холодно поблескивают ножи, руки женщин сжимают камни.

В народе нарастала новая волна гнева:

— Стреляйте! Убивайте!

— Пусть земля поглотит тирана!

— Не дадим своих сыновей кровопийце-царю!

Юлчи решительно шагнул вперед. Вместе с первыми рядами подступил к двери канцелярии. Вслед хлынула застывшая было на миг волна народа. Еще один из царских прислужников был смят. Остальные успели скрыться. Дверь канцелярии снова захлопнулась.

Топтаться во дворе было бесполезно. Надо было врваться через окна и двери внутрь. Юлчи поискал глазами своих друзей: Каратай яростно орал что-то в толпе джигитов, Ораз ожесточенно бросал камень за камень в окно канцелярии, — ни тот, ни другой не услышали его призыва. Увидев неподалеку группу мужчин своего квартала, Юлчи решил позвать на помощь их.

Пробиваясь сквозь толпу, джигит вдруг остановился: среди множества женщин он увидел девушку. Она то приподнимала чачван, то вовсе отбрасывала его, вставала на носки, озиралась по сторонам. На ресницах ее жемчужинами блестели слезы. При первом взгляде Юлчи показалось, что он видит Гульнар: овал лица, разрез глаз, тонкие изогнутые брови — все напоминало ему любимую. Джигит закрыл глаза и даже покачнулся — в сердце его будто вонзилось что-то острое, грудь залила волна скорби.

«Гульнар, возлюбленная моя! Нет тебя. Нет тебя на этом празднике народном, празднике джигитов!»

Со всех сторон послышались новые взрывы криков и возгласы:

— Полицмейстер! Казаки!.. Не теряйтесь, джигиты! Бейте их, удалцы!

Юлчи метнулся к передним рядам, увидел полицмейстера, стоявшего на крыльце в окружении казаков.

Полицмейстер Колесников пытался говорить, но в ответ ему загремел грозный клич:

— Бей тирана!

Десятки рук протянулись к полицмейстеру. Он выхватил револьвер. Казаки дали залп, вслед поднялась беспорядочная стрельба. Сразу упало несколько убитых и раненых, но восставшие все рвались к крыльцу.

Юлчи ринулся на высокого бородатого казака, оглушил его ударом кулака, одним рывком выхватил у него клинок. Поднял высоко над головой горевшую белым пламенем шашку, бросился за убежавшим в канцелярию полицмейстером.

Вдруг, будто схваченный судорогой, джигит застыл на мгновение, потом, все еще крепко сжимая клинок, согнулся и медленно опустился на землю.

Немного погодя он открыл глаза. Над ним — чистое голубое небо, яркое солнце; как сквозь глухую стену слышен шум толпы. На дерево напротив взбирается какой-то мужчина. Юлчи узнал в нем Ораза — киргиз обрезал телефонные провода...

Страшная боль пронизывала все тело джигита, но он еще кипел гневом, пытался бороться. Крепко стиснув зубы, опираясь на руки, он оторвал голову от земли, приподнялся, но в глазах у него потемнело, и он свалился снова...

Юлчи лежал, обливаясь кровью, но не терял сознания. Душой и мыслью он был с восставшим народом. В ушах его торжественной музыкой звучал грозный ропот толпы — это были гневные голоса многих тысяч братьев, отцов, матерей, грудью вставших против баев, против всех тиранов и насильников.

Кто-то подошел к нему, погладил рукой лоб, позвал:

— Юлчи-бай! Лучше бы мне умереть, твоему брату! Эх, друг, старый мой друг!..

Джигит открыл глаза — над ним склонился Каратай.

Каратай и Ораз подняли Юлчи; с трудом выбравшись из толпы, быстро зашагали прочь. В квартале Диван-беги они вошли в какой-то заброшенный двор и осторожно уложили Юлчи в полуразрушенной лачуге.

— Друг, ну как ты? Воды дать?

Вопрос Каратая остался без ответа.

Юлчи был мертв...

Каратай прикрыл лицо друга поясным платком. Ораз снял и расстелил халат, на него уложили тело. Каратай ножом разрезал окровавленную рубашку, обнажил грудь Юлчи: на левой стороне вокруг раны густо запеклась кровь...

До наступления темноты друзья в горестном молчании сидели на безлюдном тихом дворе. Потом Ораз отправился к знакомому арбаке-шу, вернулся на арбе, застеленной несколькими снопами рисовой соломы. В темноте они уложили Юлчи на арбу, прикрыли соломой и с большой осторожностью поехали к бабушке Саодат.

Унсин, слышавшая о восстании, о стрельбе, об арестах, опасаясь за брата, под вечер прибежала с сынишкой Каратая на Тахтапуль. Бабушка Саодат, вместе с другими женщинами ходившая к полицейскому участку, подробно рассказала девушке о событиях. Обе они очень беспокоились за Юлчи.

Неожиданно во двор вбежал Каратай. Беспокойно оглядываясь назад, кузнец скороговоркой предупредил:

— Пожалуйста, прошу — не поднимайте голоса! — и снова скрылся.

Женщины застыли, предчувствуя беду. Но только когда внесли Юлчи и уложили на подстилку, они поняли страшную истину.

Каратай послал Ораза за Шакиром-ата, а сам остался в хибарке. Он сидел неподвижно, лишь время от времени поднимая голову, чтобы унять женщин, если они начинали громко плакать.

При свете лампы Юлчи лежал такой же спокойный, гордый и

красивый, каким был при жизни. Глаза, казалось, вот-вот откроются, губы зашевелиятся, и он заговорит...

Унсин рвала на себе волосы, до крови царапала щеки. Но разве это могло хоть чуточку облегчить ее страдания? И разве могли слезы омыть сердце, залитое скорбью?

Обнимая любимого брата — ее друга и единственную опору в жизни, Унсин прижималась щеками к кровавой ране. Не действовали на нее ни уговоры Каратай, ни ласки старухи. Девушке казалось — ее жизнь не стоит и одной минуты жизни брата.

Пришел Шакир-ата. Каратай с Оразом отправились на кладбище. На случай, если бы могильщик отказался ночью копать могилу, они захватили с собой кетмень.

Шакир-ата, опустившись на колени у изголовья Юлчи, долго и горько плакал. Потом обратился к Унсин, по-отечески ласково погладил ее по голове.

— Доченька моя, родная, доченька! Не убивайся так. Ты умница, девушка, поймешь: смерть Юлчи — не простая смерть. За кого пролил кровь твой брат? Не за себя — за народ, за всех обиженных и обездоленных кровь свою он пролил. Эта кровь самая чистая, самая благородная. Это — священная кровь!.. Доченька, брат твой был мужественным джигитом. Честным джигитом. И он честно и мужественно умер. Кровь Юлчи не пропадет даром. Потом ты поймешь, доченька. Придет время, я умру, а ты вспомнишь и скажешь: «Шакир-ата правду говорил!» — Старик тяжело вздохнул. — Не горюй, доченька. Я для тебя — отец. Старуха — мать. В кишлаке у тебя есть брат. Есть у тебя и такой друг, как Каратай. Все мы тебя любим.

Унсин так и не успела передать брату колечко, которое ей когда-то дала Гульнар. Она вынула его из кармана, поцеловала и надела на мизинец Юлчи.

Ровно в полночь Юлчи уложили в табут. Шакир-ата, Каратай и Ораз прочли молитву. Звать джигитов квартала было опасно. Каратай и Ораз вдвоем подняли табут. Бабушку Саодат еле уговорили остаться дома. За табутом шли Шакир-ата и Унсин.

В непроглядной темноте, в глубоком, горестном безмолвии друзья уложили Юлчи в могилу и забросали ее землей, поклявшись отомстить насильникам. Потом, простившись со стариком и Унсин, они ушли. Им нужно было хотя бы на время скрыться.

Унсин долго плакала. Она то клала на могилу голову, то приникала к ней грудью, не в силах утешить безмерную скорбь.

Когда начали тускнеть и гаснуть звезды, Шакир-ата взял девушку за руку, поднял с могилы и повел домой.

Шли они тихо. Когда достигли половины пути, на горизонте загорелись ярние, красные как кровь лучи. Приветствуя восходящее солнце, в зелени садов запели птицы.

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Ай — луна.

«Айна» («Зеркало») — журнал, издававшийся до Октябрьской революции.

Алайхисалам — один из эпитетов Мухаммеда.

Аллак — торговец мукой.

Алиф — первая буква арабского алфавита; в арифметике — единица; в данном случае своеобразная запись отпущенного товара.

Алмисак — символический образ изрванного человека; времена Алмисака — времена Адама, допотопные времена.

Ака (старший брат) — почтительная форма обращения к старшему по возрасту или положению.

Анаша — наркотик для курения.

Ата (отец) — при обращении к старшему употребляется и как приставка, выражающая особое уважение.

Атала — мучная похлебка.

Арбакеш — извозчик.

Аршаала — престол всевышнего.

Аскер — воин, солдат.

Астагфирулла — господь с вами.

Баззамалу — фактурщик.

Базм — пир.

Баккал — лавочник, бакалейщик.

Балахана — каркасная надстройка над первым этажом дома.

Балли — бравó, молодец.

Биби — тетья.

Биби-Фатима — жена пророка Мухаммеда.

Буза — хмельной напиток из закваски проса.

Ваалеюкум — и вам мир.

Вэжудж и Мэжудж — то же, что и Гог и Магог.

Ганч — вид алебастра.

Дада — папа.

Дастархан — скатерть; скатерть с угощением.

Джадид — человек, который хотел преобразовать общество путем культурной реформы.

Д ж а м ш и д — персидский царь, славившийся разгульной жизнью.
Д ж а н ы в а р — животное; в отношении животного ласка, или похвала.

Д у т а р — двухструнный музыкальный инструмент с длинным грифом

Д у с т — друг; браво, молодец.

Д э в — громадное мифическое существо.

Е л л а (х) — о боже!

Е к а з и л х а д ж а т — О свевышний судия!

Е п и р и м — о наставник мой!

Е р а с у л ь у л л а — о святой пророк!

З а к я т — милостыня, в размере 1/40 части доходов, которую баи-му сульмане должны раздавать беднякам.

З а у р — канава.

З и к р — моление с участием ишана.

И м а м — духовное лицо, руководящее молением в мечети.

И с к а н д а р З у л ь к а р н а й и (Двурогий) — Александр Македонский.

И ш а н — духовное лицо.

И ч к а р и — женская половина двора.

И с к и - Д ж у в а — название одной из частей старого Ташкента.

И с р и к — гармола.

К а в у ш — кожаные калоши.

К а з ы — конская колбаса.

К а п — мешок из грубой домотканой шерсти.

К а р в а н — содержатель постоянного двора.

К а р н а й — духовой музыкальный инструмент — длинная прямая медная труба.

К а р ы — человек, знающий весь коран наизусть.

К а р ы х а н а — начальная духовная школа.

К о к а н д с к а я а р б а — арба на двух высоких колесах.

К у м г а н — высокий медный или чугунный кувшин для кипячения воды.

К у м а р (кимар) — азартная игра в альчики.

К у р б а н - б а й р а м — мусульманский праздник жертвоприношения.

К у р т — засушенный творог в форме шариков.

К у р м а к — сорняк.

К я ф и р — неверный, человек нной веры.

Л а ч и р а — тонкие лепешки, употребляемые вместо гренек.

Л у к м а н - х а к и м — древний врач.

Л ю т ф и ц — узбекский поэт-классик.

М а в л ю д — молитва в честь рождения Мухаммада.

М а х а л л я — квартал.

М а ш к и ч и р и — узбекское национальное блюдо, приготавливаемое из маша; каша.

М а ш р а б , ш а х - М а ш р а б — узбекский поэт-классик.

М и р ш а б — полицейский.

М у д а р р и с — преподаватель медресе.

М у л л а — человек, окончивший медресе.

М у с а л л а с — натуральное виноградное вино.

М у х а м м а д — пророк.

М у э д з и н — служитель при мечети, возглашающий с минарета час молитвы.

М ю р и д — ученик ишана, шейха или пира.

- Намаз — совершаемые пять раз в день обязательные молитвы у мусульман.
- Намаз-аср — вечерняя молитва.
- Нас — особым способом приготовленный молотый табак.
- Нарын — национальное блюдо из мелко нарезанного мяса и кусочков раскатанного теста.
- Палван — силач, богатырь.
- Пачча — муж старшей сестры, зять.
- Пир — духовный наставник.
- Рахмат — благодарю.
- Рубай — четверостишие.
- Скобелев — город Фергана.
- Супа — глиняное возвышение для отдыха.
- Супра — подстилка, на которой сеют муку и замешивают тесто.
- Сура — глава корана.
- Сурнай — народный музыкальный инструмент; род кларнета.
- Суфн — служитель мечети, призывающий к молитве.
- Суюнчи — подарок за радостную весть.
- Табишума (перс.) — каково ваше желание?
- Табиб — лекарь.
- Табут — носилки, на которых относят мертвых на кладбище.
- Тавба — восклицание, выражающее крайнее удивление.
- Таксыр — господин.
- Танбур — струнный национальный музыкальный инструмент с длинным грифом.
- Танал — 1/6 часть гектара.
- Тандыр — специальная печь для выпечки мучных изделий — лепешек, самсы.
- Танги — щедрый.
- Тартышмачак — женская свадебная игра в перетягивание, обычно между сторонами жениха и невесты.
- Ташкари — мужская половина дома.
- Тяньга — серебряная монета в 20 копеек.
- Тиллягаджак — позолоченная металлическая подвеска, которую носили в волосах около ушей в качестве украшения.
- Тиллякаш — позолоченная металлическая подвеска, надеваемая на лоб в качестве украшения.
- Тойбаши — распорядитель на свадьбах.
- Тумар — талисман, амулет.
- Тупалан — буян.
- Тура (тюря) — господин, человек высокого происхождения.
- Улак — конно-спортивное состязание, на котором участники состязания вырывают друг у друга козльную тушу.
- Улема — ученый-богослов.
- Фаранг — искусный.
- Фарангистап — Франция.
- Фатиха — краткая молитва-благословение, которой закрепляется сговор между сторонниками жениха и невесты; краткая молитва, приуроченная к какому-либо случаю.
- Хазрат — господин, святой, величество.
- Хайт — мусульманский праздник.
- Хауз — водоем.

Хатамтай — легендарный богач, отличающийся щедростью.

Хуфтан — время для предсонной молитвы.

Чавандаз — искусный наездник.

Чайрикер — издольщик.

Чапан — халат.

Чачван — покрывало для лица, сотканное из конских волос, носимое женщинами с паранджой.

Чилим — кальян.

Чирак — масляный светильник.

Читтак — снопица.

Чияки — ранний сорт винограда.

Шахид — умерший за веру.

Шейх — духовный наставник.

Эликбаш — старшина квартала.

Юнан — Греция.

«**Яр-яр**» — свадебная песня.

Яссави — поэт-мистик.

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Я — ташкентец, родился 10 января 1905 года в старом городе в семье ремесленника-ткача среднего достатка. До сих пор я помню одно яркое впечатление моего раннего детства: молочно-белой лунной ночью я стоял с мамой на низенькой крыше нашего обнесенного глиняным забором дома. Белая-белая луна плыла по небу. Она показалась мне очень красивой. Я протянул к ней руки и стал капризничать: «Мама, дайте мне луну». До сих пор я чувствую то волнение, которое охватило меня тогда.

И еще я хорошо сохранил в памяти тот день, когда я впервые пошел учиться. Ташкентская осень — чудесная пора, когда вечера становятся прохладными, а днем солнце щедро льет свет. Густая листва на деревьях начинает постепенно желтеть. Вот в один из таких солнечных осенних дней дед мой — суфий (со стороны матери) повел меня в школу, находившуюся по соседству с нами, в махалле «Ок, masjid» — «Белая мечеть». А я бережно держал в руке новенькую «тахтачу» — дощечку с рукояткой, на которой написан абжад.*

Домла, как обычно, степенно, но стараясь быть ласковым, не спеша принял подарок и приветы и стал с благодарностью молиться за деда. Старик также любезно сообщил ему, что меня зовут Муса. Домла, конечно, выразил уверенность, что я стану муллой. «Сыночка — вам, а вас богу вверяю, — сказал дед мой домле, — сделайте

* Абжад — условное название восьми искусственных слов (первым из которых является абжад), состоящих из букв в порядке арабского алфавита и придуманных для запоминания числового значения каждой буквы (от единицы до тысячи).

из него человека. Мясо ваше, кости наши», — произнес он обычную формулу, и попросившись, поклонился, приложив руки к груди, и ушел.

Школа состояла из одной большой комнаты с низким потолком, на пыльном земляном полу лежали изодранные циновки. В комнате стоял невообразимый гвалт. Более пятидесяти ребят в возрасте от семи до семнадцати лет учили что-то каждый сам по себе. Самые маленькие беспрерывно выкрикивали отдельные слова, те, что постарше произносили с трудом по складам отдельные аяты из Корана, еще постарше мужественно зубрили религиозные догмы, а самые старшие читали нараспев по памяти газели Навои и Суфийя Аллаёра, а также Хаджи Хафиза и Бедилиа на фарси.

В этом гвалте невозможно было понять, кто чем занимается, но если ребята вдруг умолкали, то домла бил всех без разбора палкой, которая была у него в руке и ребята, снова поднимая шум, продолжали учебу. В такой школе трудно было чему-нибудь научиться. Большинство учеников выходило из нее неграмотными.

В мусульманских школах преподавались только древние классики и религиозная литература. Ученики не знали ничего; кроме трудных головоломок, встречавшихся в этих произведениях: их не учили ни истории, ни математике, ни географии. Когда я в четырнадцать лет впервые увидел глобус в новой школе, он показался мне какой-то удивительной игрушкой.

Но вот грянула революция и началась новая жизнь. Как только свершилась Великая Октябрьская революция, я тут же бросил надоевшую мне старую школу и побежал в новую, являвшуюся источником подлинного знания. Но что поделаешь, из-за того, что мои знания в старометодной школе не пошли дальше религиозных догм и чтения газелей, мне пришлось поступить во второй класс советской школы, называвшейся «Намуна» — «Образец» и сидеть в одном ряду с малышами, овладевающими начальными знаниями. Однако я быстро привык учиться по-новому. Я стал досрочно переходить из класса в класс и нормально окончил начальную школу.

Мой путь в годы учебы — это путь узбекской молодежи в то время. В 1921 году поступив в только что организованный в старом городе Ташкента — на Хадре педагогический техникум имени Навои, я продолжил учебу. Я стал жить в интернате, расположенном возле техникума, и попал под здоровое влияние советской педагогики.

Я очень любил занятия по литературе, языку; переписывал революционные стихи разных поэтов в тетрадки и всегда с удовольствием читал их. Наш учитель русского языка по фамилии Горянов советовал нам читать произведения таких великих русских поэтов и писателей, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой. Вот с того времени я открыл для себя родник русской поэзии. Много раз перечитывал стихи таких, столь любимых мною узбекских поэтов, как Навои, Фузули, Мукими, многие знал на память.

Но в 1935 году наступило такое время, когда я отчетливо почувствовал, что мне необходимо сделать выбор между ученым-экономистом и писателем. И я понял, что в сердце моем живет огромная любовь к литературе, поэзии и, что мое подлинное призвание — литература. Тогда я решил прекратить преподавание экономических наук. Но из-за того, что у меня сохранялось сильное влечение к научно-исследовательской работе, я, став научным сотрудником Института языка и литературы имени А. С. Пушкина, продолжил эту работу.

К этому времени было издано несколько сборников моих стихов и дастанов. Кроме того, я все больше и больше печатался в газетах и журналах.

Все мы начинали наше творчество с поэзии, имевшей вековые традиции в узбекской литературе. До революции прозаических произведений почти не было. Революция преобразила также и поэзию. Советские поэты стали меньше обращаться к древнему классическому размеру «аруз». Наш замечательный писатель, основатель узбекской советской литературы Хамза Хаким заде и другие поэты стали писать стихи размером «бармак», испытанном во всех жанрах поэзии — в фольклоре, народных песнях, эпосе. Я тоже стал писать, используя размер «бармак».

Мое первое литературное упражнение (если его можно так громко назвать) было напечатано в выпускавшейся учащимися техникума, и имевшей в то время большое значение в воспитании наших творческих сил, стенной газете. Стихотворение это выветрилось из памяти, помню только, что в нем изображался пейзаж и называлось оно «Зима».

В принципе я считаю началом своего творчества стихотворение «Рабочему». Не помню, в какой газете оно было напечатано. После этого, выражая в стихах свое отношение к повседневным событиям, я начал активно сотрудничать в газетах.

Одним из самых важных событий тех лет явилась земельная реформа. В результате реформы батраки и мало-земельные дехкане получили землю. Этому событию я посвятил одно из первых моих стихотворений — «Чья земля?»

В первых моих стихах встречалось много противоречий, исканий. В одном ряду со стихами, созвучными важнейшим событиям времени, встречались и абстрактные стихи, пронизанные беспричинно печальными возгласами.

Первый мой поэтический сборник под названием «Чувства» был издан в 1925 году, а в 1929 году вышел второй, который назывался «Наи сердца».

И хотя в начальных моих стихах порой имелись тоскливые, оторванные от реальной действительности мотивы, в них были и твердый взгляд, и точная цель, поставленная перед собой. В стихотворении «Дорогой жизни» я написал так:

Долог путь... И крутые откосы, и камни
Силюсь я одолеть на тревожном пути.
И дорога в горячих песках нелегка мне,
Но упорство и дерзость велят мне идти.
То сквозящая стужа сулит мне объятья,
То весеннего солнца ловлю благодать я,
То мне жизнь преграждает дорогу потоком,
То, ласкаемый ветром, иду я по тропам.
Не сверну! Не устать мне, не сгнуться в потоке,
Жизнь светла, если цель и мечтанья высоки!

Краткое содержание другого стихотворения «Мой голос» таково: «Если борются две волны, буду ли я стоять и смотреть? Нет!»

Я всегда мечтал написать о тех, у «кого в руках молот». В узбекской литературе ничего не было написано о рабочем классе. В конце концов я ввел в литературу образы двух рабочих, боровшихся за советскую власть и погибших во время белогвардейского мятежа в Ташкенте в 1919 году и создал поэму «Кузнец Джура».

Эта поэма написана в 1934 году. До этого я также выпустил в свет поэтический сборник «Факел» (1932 год), целиком посвященный строительству новой жизни. В это время я вправе был так сказать о себе словами моего стиха:

Вы вышли в путь, вчерашние дехкане,
К большим огням, что вспыхнули вокруг.
Штурмуют гордые вершины знани^я
И постигая таинства наук.

В то время меня также чрезвычайно интересовала тема освобождения женщин. Начатая Хамзой, эта тема стала сформировавшейся традицией, ни один узбекский писатель не смог остаться в стороне от нее. После небольших стихов, таких как «Неграмотной девушке», «Из воспоминаний молодости», «Счастье узбекских девушек», «Самаркандской девушке» и многих других, я принялся писать поэму «Дильбар — девушка эпохи». В ней я попытался описать то новое, что появилось в жизни узбекских женщин, освобожденных революцией, трудности, встречающиеся на пути их полного освобождения, семейные обычаи и привычки. Поэма, безусловно, была написана своевременно. Интересно получилось то, что после напечатания поэмы очень редко встречавшееся имя Дильбар широко распространилось.

В очередной моей поэме «Мечь» (1933 год) описывалось дореволюционное прошлое. Я понимал: чтобы почувствовать, осознать революционные достижения, необходимо раскрыть все страшные, трагические страницы прошлого. В этой поэме я хотел показать, сколь прискорбной была судьба девушки, насильно выданной замуж за нелюбимого человека. Моя героиня — дивная Лейли погибает в пору расцвета в результате жуткой трагедии.

В моих произведениях стали появляться также и другие образы прошлого — образы борцов за свободу. Я сохранил в памяти множество песен и преданий, услышанных в различных уголках родного края, в Казахстане, куда мы частенько ездили с отцом. Особенно те чувства, которые пробуждались во время конных переездов по степям Казахстана, вдохновляли меня рассказать об этом. Услышанная в то время замечательная сказка о прекрасной девушке, купленной ташкентским купцом, и народном акыне, поднявшем в Ташкенте ремесленников и батраков против баев и освободившего свою возлюбленную, также вдохновила меня на творчество. В результате этого в 1934 году родилась моя поэма «Бахтыгуль и Сагындык».

Таким образом, в первой половине 30-х годов я написал ряд поэм. Теперь я почувствовал в себе сильную потребность создать произведение, широко обобщающее тему сегодняшнего времени. Это в один прием не получалось. Я начал роман из жизни студентов середины 30-х годов. Написал около десяти-пятнадцати страниц. Мне они показались весьма приемлимыми. Каждый день с утра я отдавался этому занятию, но писать стало трудно.

Событий, мыслей было много, и я чувствовал трудность в том, чтобы охватить их все, привести в порядок, создать живые образы. Осознав, что для того, чтобы написать его, мне необходимо идти своим путем, расширять свой жизненный и литературный опыт, я совсем забросил роман.

У меня появилась новая склонность: я стал заниматься самой важной в это время для Узбекистана работой. Почти все узбекские писатели переводили на родной язык художественные и научные произведения, вошедшие в золотой фонд достижений мировой культуры. Я тоже начал заниматься переводом. Я взялся за перевод отрывков таких произведений, как «Фауст» Гете, «Божественная комедия» Данте, «Каин» Байрона, перевел несколько глав из «Капитала» Карла Маркса. Но я знаю, что самой трудной частью моей переводческой деятельности был перевод «Евгения Онегина» Пушкина.

Я многому научился у великих русских писателей. Пушкин же стал для меня на всю жизнь дорогим и любимым учителем. Через несколько лет, после моего первого знакомства с ним, я писал в одном из стихотворений, посвященных Пушкину:

Поэзии солнцем назвали певца:
Как солнце, он щедро льет свет с вышины.
Лучами его осияны сердца,
Созвучья дыханьем весенним полны.

Занимаясь переводами, я решил написать роман. Я собрался рассказать в романе о жизни узбекского народа до революции, о стремлении его к борьбе за свои права и о присоединении этого движения к знаменитому восстанию 1916 года.

И хотя во время событий, разворачивающихся в романе, я был маленьким мальчиком, я видел жизнь народа, видел темные и душные лачуги бедняков, роскошные хоромы баев, укрытые за высокими заборами, сады их с прохладными хаузами. Многие стороны жизни и общественных отношений, описанных впоследствии в моем романе, я жадно наблюдал и понял именно в то время. В облике своих героев я заметил будущих бойцов революции, строителей советского общества. Для написания романа «Священная кровь» я не собирал материал, материал для романа я черпал из своего сердца, из памяти; таким образом за короткое время — лето 1938 года роман был закончен. В 1940 году он был издан и в том же году был

напечатан на русском языке в журнале «Литература и искусство Узбекистана». Позже роман несколько раз переиздавался в Советском Союзе и за рубежом.

Размышления о судьбе своего народа рождали во мне все новые и новые темы. Я давно уже мечтал написать произведение о великом поэте-классике узбекского народа Алишере Навои, чьи произведения я любил читать с детства. Образ великого гуманиста, словно яркий факел освещающий темную ночь средневековья, завладел моими мыслями. Сперва я написал поэму «Навои». Облик Навои воплотился также во многих моих лирических стихотворениях.

Наконец, я принялся за написание романа «Навои». Роман этот я писал в военный год, зимой в холодной комнате в тусклом свете коптилки. Я закончил этот роман в 1942 году. В 1944 году он был издан на узбекском языке, а в 1945 году — на русском.

Собирать материал о великом поэте Навои я начал с 1928 года, изучал бессмертные произведения поэта и его время, написал о жизни и творчестве Навои немало художественных произведений. В 1935 и 1936 годах я написал произведение, озаглавленное «Биография и творчество Навои», оно было напечатано в журнале «Узбекский язык и литература». И еще несколько статей выйдут сейчас под названием «Цветник». Мои произведения о Навои и исследования, посвященные творчеству живших и творивших в конце XIX — начале XX веков узбекских классиков Муками, Хамзы и других, явились основанием для избрания меня в 1944 году действительным членом Академии наук Узбекской ССР. В 1946 году за роман «Навои» я был удостоен Государственной премии.

В тяжелые годы войны я начал работу над романом «Солнце не померкнет». В нем я попытался показать узбекских воинов, сражающихся на фронтах Великой Отечественной войны. Хотя я поехал на фронт с бригадой артистов, там я отделился от бригады. Ибо я понимал, что только глубоко изучив условия, людей, можно написать произведение о героизме бойцов и командиров, и пробыл на фронте три месяца.

Во время создания романа, некоторые отрывки из него были напечатаны. Однако я отложил его, не докончив. Ибо я не мог не сказать о людях в тылу, о героическом труде женщин, на долю которых выпали особо тяжелые трудности. В результате я написал взволнованную поэму «Девушки», героизме пяти девушек, которые объеди-

нили свой самоотверженный труд с трудом миллионов советских людей, помогали приблизить победу над врагом.

И вот пришла победа. Восстановление разрушений, вызванных войной, потребовало новых огромных усилий. Еще не оправившиеся от войны люди с великой энергией принялись за работу. И разве может молчать об этом писатель, являющийся современником и свидетелем такой великой работы? С таким чувством я написал роман «Ветер золотой долины». Через образ Уктама я хотел показать наших инициативных, героических парней, вернувшихся в свои колхозы с войны.

В послевоенные годы я много путешествовал, побывал, в частности, в Пакистане. Я видел бедность пакистанского народа, прогрессивных интеллигентов, борьбу рабочих и всех трудящихся за свободу.

Я написал очерки «Пакистанские впечатления», ряд стихотворений, дастанов и повесть «В поисках света». Повесть вышла в 1958 году на узбекском языке, а в 1959 году — на русском.

Наконец, в 1958 году я закончил роман на военную тему — «Солнце не меркнет».

Меня все время волновал образ моего замечательного современника Хамзы Хакимзаде. Свои мысли о поэте, свои чувства к нему я воплотил в моих стихах и поэмах.

В 1963 году была опубликована на русском и узбекском языках моя повесть о своем детстве. За повесть «Детство» я получил в 1964 году премию имени Хамзы, учрежденную за искусство и литературу. Моя маленькая поэма «Мой дедушка» тоже имеет автобиографический характер.

Голова моя полна новыми идеями. Я закончил писать роман «Великий путь», в котором описывается первый год Великой Октябрьской революции, то есть 1917 год. У меня давно было желание рассказать об этом.

Служить для моего народа, показывающего примеры удивительного героизма во всех областях строительства коммунистического общества, творить для него — самый славный мой долг!

Народ и партия всегда даровали мне силу и вдохновение и весь свой труд, всю свою любовь посвящая строителям коммунистического общества.

М. Айбек.

24 апреля 1967 года.

СОДЕРЖАНИЕ

5

Х. Якубов.
Духовный мир Айбека

25

Священная кровь.
Перевод Н. Ивашева
Пояснительный словарь

326

Краткая биография

АЙБЕК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ I

СВЯЩЕННАЯ КРОВЬ

Роман

Перевод с узбекского

Редактор С. ЛАРЧЕНКО

Художник В. ШУМІЛОВ

Художественный редактор М. КАРПУЗАС

Технический редактор Е. ПОТАПОВА

Корректор Л. ЛЕБЕДЕВА

ИБ № 2956

Сдано в набор 8.08.84 г. Подписано в печать 10.11.84
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага типографская № 3. Ли-
тературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л.
17,64+0,53 вкл. Усл. кр. оттисков 18,32. Уч.-изд. л.
20,08+0,29 вкл. Тираж 45 000. Заказ № 1744/867. Це-
на 1 р. 50 коп.

Издательство литературы и искусства имени Гафура
Гуляма.

700129, г. Ташкент, ул. Навои, 30.

Г. П. ТППО «Матбуот» Государственного комитета
УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Ташкент — 700129, ул. Навои, 30.

Полиграфкомбинат Госкомитета Таджикской ССР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
734023. Душанбе, ул. Айни, 126.

www.ziyouz.com-kutubxonasi

Айбек.

Собрание сочинений: В 5-ти т. (Сост.: З. С. Саиднасырова, Н. Ф. Каримов; Редколл.: С. Азимов и др.)—Т.: Изд-во лит. и искусства, 1985.—

Т. 1 Священная кровь: Роман, 1985, 336 с.

В 1985 году исполняется 80 лет со дня рождения великого узбекского советского писателя Айбека (Мусы Ташмухамедова).

В первый том пятитомного собрания сочинений вошел роман «Священная кровь». В нем прослеживается судьба узбекского народа в предреволюционные годы, рассказывается о его трудной жизни, о любви и страданиях, о борьбе за светлое будущее народа.